84(2=411.2)6
З-81

Леонард Золотарёв



Орловская лавра

Орёл – 2014

Леонард Золотарёв

ОРЛОВСКАЯ ЛАВРА

Очерки и рассказы

Орёл – 2014

УДК 82
ББК 3(2)
З 80

ISBN 978-5-9708-0431-5

З 80 Л.М.Золотарёв / Орловская лавра. Очерки и рассказы разных лет / Орёл: ООО ПФ «Картуш», 2014. – 408 с.

Известный русский писатель Леонард Михайлович Золотарёв, прежде чем стать профессиональным писателем, был профессиональным журналистом, членом Союза журналистов СССР. Работал в областных газетах «Орловский комсомолец», «Орловская правда», публиковался в центральных газетах и журналах. Он объездил и обошёл всю Орловщину, другие места нашей Родины, встречался со многими людьми интересных профессий и биографий. В результате появлялись художественные очерки, которые порой трудно отличить от рассказов. У Леонарда Золотарёва свои темы, любимые герои, это литературная Орловщина, щедрая на имена: Лев Толстой, Тургенев, Лесков, Фет и др.

Однако Леонард Золотарёв — современный писатель и журналист, а значит, автор всего, что характеризует наше время и близкое к нему прошлое. Он обладает не только художественными способностями, но и горячим публицистическим, аналитическим пером. Излюбленные его темы: русское поле, люди земли, малая родина — фронтовой городок Малоархангельск, Великая Отечественная война, которую он пережил в детстве и на которую смотрит глазами детей войны. Люди поколения Леонарда Михайловича — это строители БАМа, широких сибирских просторов. Он всегда там, где интереснее и труднее.

В областных газетах он был в числе руководителей практики студентов факультетов журналистики Московского и Петербургского государственных университетов. Награждён Союзом журналистов России высшим знаком «300-летие Российской печати». Людям и их делам и посвящена книга очерков и рассказов разных лет Л.М.Золотарёва «Орловская лавра».

ISBN: 978-5-9708-0431-5

© Л.М.Золотарёв, 2014
© ПФ «Картуш», 2014

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Имя твоё
Симфоническая личность

Профессор Сорбонны Жюль Легра в книге «Русская любовь» (1934) высказывает мысль, что русские отличаются смутным влечением к высшему, что они более мистичны, чем народ Франции. Для него лично примером истинной религиозности русского человека является св. Серафим Саровский. В религии, в православной вере христовой, чаще других звучат в храмах слова «любовь», «радость». Вот что на этот счёт пишет Алексей Лосев в своём объёмном труде «Философия имени»:

«В любви мы повторяем любимое имя и взываем к любимому через его имя… Именем и словами держится мир. Имя носит на себе каждое живое существо. Именем и словами живут народы, сдвигаются с места миллионы людей, подвигаются к жертве и к победе глухие народные массы. Имя победило мир». Академик О. Н. Лосский считает такого русского «симфонической личностью».

Так писали об имени, о любви и радости личности, лучшие умы нашего Отечества и всего человечества. Что же мы видим ныне в своей натуральной жизни, в самом своём бытии? Тот же св. Серафим Саровский, встречая людей, простирал руки к каждому, улыбался во всю глубину своей натуры: «Ты пришёл ко мне, радость моя, свет моих очей и любовь!»

Так с распростёртыми объятьями и стоит он в Коренной пустыне, что под Курском, на высоком крутом откосе, перед зелёным морем лесов и полей, где живут русичи в любви и страданиях, в верованиях и надеждах. И я хочу сказать своё слово о тех лучших людях, что встретились мне на моём теперь уж немалом жизненном пути.

Вот Серёжа Пискунов – бывший ректор Орловского пединститута, мой друг. Почему друг? Да потому, что дружили мы семьями, наши жёны с детьми ездили на Азовское море, а мы с ним да ещё со скульптором Валей Чухаркиным две недели путешествовали в автомобиле по Прибалтике. Родился Серёжа и жил в хотынецких Горках, что на трассе из Орла на Брянск, и потому, видно, чувствовал себя в какой – то мере человеком, который в свои последние годы жил в селенье с тем же названьем. Где бы ни бывал, какие бы посты ни занимал Серёжа, он был всегда прост, как правда. Ректор ведь, а, бывало, возьмёт гармошку и с нею в горсад. Растянет мехи от плеча до плеча да как врежет русского или вальс заиграет, а люди танцуют и улыбаются ему, и всем хорошо.

А то, помню, едем тоже втроём (Серёжа, Валя Чухаркин и я) в глазуновское Тагино, везём в багажнике бронзовый бюст Чапаева, а Серёжа и говорит обо мне Валентину:

– Медленно идёт он по литературе. (И оборачиваясь ко мне). Верной дорогой идёшь, товарищ.

Тёплый, человечный. Так и стоит он у меня перед глазами.

И уже сейчас, в наши дни, живёт у нас в Орле человек с таким именем – Владимир Ильич. Даже назвать его так неловко как-то. Думаешь, как это можно? А приглядишься к нему во времени и обстоятельствах и видишь, что, хотя он и чиновник, а простых человеческих качеств, таких, как совесть, порядочность, не теряет. Давно его знаю, с руководителя маленького района дорос до начальника областного департамента сельского хозяйства. Трудолюбив, точен, слова на ветер не бросает. Бережно несёт Коротеев Владимир Ильич имя своё.

На днях, сразу же после того, как по Орлу пронесли Олимпийский огонь, звоню ему по мобильнику.

– Где вы? – говорю я. – Телефон ваш что – то молчит.

– В отпуске, – отвечает. – В Адлере.

И я рад, что хоть раз за три года человек отдохнёт, поправит здоровье там, где проходит зимняя Олимпиада. Если не я, так хоть он побывает на Олимпиаде. Приедет, расскажет о своих впечатлениях.

И ещё знаю человека с непростым, значащим именем. Это Александр Сергеевич – мэр моей малой родины, города Малоархангельска Александр Сергеевич Трунов. Что интересно, кабинет его находится на втором этаже, окнами напротив памятника Пушкину на противоположной стороне улицы. Нет – нет да и взглянет в окно Александр Сергеевич на Александра Сергеевича.

– Ну и как, Пушкин, живётся тебе?

А Пушкин ему:

– Да, так как – то. Как во времена Гоголя и «Ревизора».

Подмигнёт Пушкину городничий – по-современному мэр, потянется к томику Пушкина или ко «всероссийской» комедии. И начнёт читать то Пушкина, то Гоголя, то пушкинские стихи из томика, а то наизусть «Мороз и солнце. День чудесный…». «Ах, лето красное, любил бы я тебя…», «Я помню чудное мгновенье….».

И так светло становится, так радостно. Радость переполняет душу Александра Сергеевича. С такими чувствами и идёт он к людям, к мирным жителям городка. А забот тут немало. Звонок за звонком: то бурей дерево на дом повалило, то кто – то ушел из жизни и кто-то стал одинок. И Александр Сергеевич спешит к человеку, несёт ему слова утешения, хотя самому бывает не очень легко. Имя такое– пушкинское, не даёт пасть духом, поколебать веру в русское слово.

И это так, конечно. А есть и другое. Хоть у кого-то и есть «симфоническое имя», а музыки оттого ни себе, ни людям. Третье «до» не берёт, о четвёртом – и мечтать не приходится. Стало быть, надо задуматься о жизненных перипе-

тиях, о своём добром имени, которое многое что значит в нашем мире бури и натиска.

Вот и я, Леонард, сижу и думаю: да разве бы что-либо получилось, если бы и у тебя было бы не это имя, а какое попроще? И, допустим, фамилия не такая? А она у тебя от солнца. «Солей»– это солнце, а солнце – от Бога. Имя твоё такое, с которым ты – человек. «Человек звучит гордо!» – это у Горького. Человек звучит как радость, любовь, как свет от самого Солнца. Мы все дети Солнца, так звучит и у Горького, хотя его имя и горькое от жизни нелегкой, однако не тёмной. И всё равно мы – люди, мы все дети Солнца.

Вот так, дорогие мои учёные Лосский и Лосев, преподобный святой Серафим Саровский, чьё имя не покрывает идей. Так и звучит во мне его слово:«Ты пришёл ко мне, радость моя, любовь!»

Пока мы тут, пока вокруг цветенье,
Когда в мороз вдруг роза расцвела,
Живите, люди, в розовом кипенье,
Не говорите, что она была.

Не чёрное, а белое под Богом,
Серебряное с белым без венка.
Как Бога не бывает слишком много,
Как розы у зелёного цветка,
Как мастера, где камень и рука.

14 января 2014 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Орловская лавра. Школа при монастыре

Когда я еду троллейбусом в Орле по Герценовскому мосту, то, как в Москве, когда иду по Каменному мосту и гляжу при этом на Кремль –красавец, я тоже поневоле кошусь тут налево и что вижу? А вижу опять-таки острые церковные купола за каменным забором, это на самом высоком месте Орла монастырь. Свято –Успенский мужской монастырь. Где-то внутри его за монастырскими строениями и ютится Православная школа. Полностью она называется так, на двухэтажном зданьице вот что начертано золотом:

«Орловская православная гимназия
во имя священномученика Иоанна Кукши,
просветителя вятичей»

Основана она в августе 1998 года, о чем свидетельствует «Архиерейская грамота» на стене в кабинете зам. директора (завуча по учебной работе) Антонины Николаевны Котиковой. Грамота выдана ей 26 июня 2013 года в честь 15 –летия образования гимназии, «в благословенье за усердные труды во славу Святой церкви».

Чем же эта школа отличается от общеобразовательной, что в ней особенного? Директор Православной гимназии Елена Геннадьевна Овчинникова знакомит меня с разработанным положением о школе. В полном наименовании её существует сложная, но краткая иерархия слова, составлена из них мысль о том, что гимназия – это негосударственное религиозное и в то же время образовательное учреждение. Иными словами, мысль на лицо о раздельном существовании церкви и государства, о религиозной и общеобразовательной школе. А завуч Антонина Николаевна Котикова говорит:

– Вся духовная жизнь гимназии, весь её духовный уклад был устроен, продуман, введён и реализуется духовни-

ком гимназии протоиереем Николаем (Николаем Игоревичем Евдокимовым). Отличаясь своим духовным устроением, живёт у нас такая система воспитания, создана и поддерживается такая воспитательная среда, где детки наши по – настоящему ходят на службу в церковь, постятся, молятся, причащаются. Благодатная среда при монастыре поневоле рождает всё это в самой душе…

– Как построен день у вас, неделя,– интересуюсь я,– каков учебно –воспитательный процесс, каковы предметы, учебники.

– Вот этим –то,– всё так же доброжелательна Антонина Николаевна,– православная школа не очень –то отличается от общеобразовательной. Скажем так, это тоже гимназия, то есть школа с гуманитарным уклоном. Однако ведётся у нас и алгебра, физика, биология, химия, то есть общеобразовательные предметы.

– А специальные предметы?

– В учебном плане есть, конечно, закон Божий, церковнославянский язык, основы латыни, греческого языка.

Проходим по длинному коридору школы. Всё чистенько, аккуратно, прямо –таки сияет, как новенькое. По сторонам застеклённые двери, за которыми в классах занимаются школьники с первого по десятый класс. Это они своими руками приводят в порядок коридоры и классы, клеют обои, красят стены.

– Сколько же у вас учащихся? – спрашиваю. – Что за контингент педагогов?

– Классы у нас небольшие, – отвечает Антонина Николаевна. – Наполняемость в среднем 12 человек. Музыку преподают совместители из школы искусств имени Кабалевского. С утра до вечера, как говорится, работа кипит у нас по всем направлениям. У детей – группы продленного дня, у педагогов – уроки, конечно, плюс подготовка к бесконечным мероприятиям. Победы на международных, всероссийских,

областных олимпиадах по русскому языку, биологии, истории, на различных конкурсах Рождественских чтений «Краса Божьего мира», в Санкт-петербурге «Александровский стяг», в Москве «Святые заступники Руси», на областном конкурсе о жизни и деятельности А. П. Ермолова, хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия», выступления на православных праздниках в Орле, на Бородинском поле, кукольные спектакли…

– И когда же ваши ребята, – говорю я, – успевают учиться?

– Вот смотрите, – показывает Антонина Николаевна, – по итогам успеваемости за прошедший год средний балл 4,5.

Стою и смотрю в окно: со второго этажа весь монастырь со всеми его храмами, строениями, территорией, окультуренной цветниками, деревьями, видать как на ладони. Поневоле вспоминаются текущие окрест по Монастырке колокольные звоны и очередь за святой водой на Крещенье, и поминальные свечи в храме, по стенам которых иконы со святыми: слева, как всегда, – княгиня Ольга, справа – князь Владимир, крестители Руси, сами крестившиеся в Константинополе и в Крыму, где-то в Херсоне, ныне у Севастополя… В Свято –Успенском монастыре и наш семейный приход, мы ходим сюда за святой водичкой…

Тут поблизости, в зелёных кущах монастыря, могилка архиерея отца Паисия, в похоронах которого, помню, участвовали и мы всей семьёй. Высокое место Руси над Окой – рекой, обдуваемое ветрами. Поневоле дух настраивается на мысли о Родине, о Руси, о русичах – наших предках, о русском языке, о нашей прекрасной литературе. Где-то ниже по течению Оки, во мценских местах, и хранится память о священномученике Иоанне Кукше, крестившем тут вятичей, имя которого носит Православная школа. Стою и смотрю отсюда, с этого высокого места, туда – до самого Кукши. И шепчу про себя свои слова.

Вятичи

Иоанну Кукше

Как от молнии вздрогнет, очистится сердце,–
Упадёт в людях слово, аж пыль зазвенит
Где-нибудь в электричке, автобусе сельском,–
И всего откровеньем тебя озарит.

Языкаст мужичишка, язычник с рожденья,
Непритоптанной речью возвысится вдруг.
Тут жуёшь как с ножа, тут живёшь с его тени.
Он мне Кукша, он Вятко, соратник и друг.

Оба вятичи мы, оба древнего рода,
С побережий Оки, их языческий грех.
И в обоих хранима кровинка народа,
Что кострища свои сберегал дольше всех.

И, когда на коне, очеканенный, мерный,
Киев стольный явился с мечом и крестом,
Он цеплялся, мой край, за обломки той веры,
Что была рождена не на месте пустом.

И приходит весна. И играют веснянки.
Вновь по душу живую гремит соловей.
Соловей, соловейко! Сижу у дуплянки,
Под могучую песнь поджидаю людей.

Я иду с ними в ногу по вещей дороге,
Я глотаю слова из травы, из огня.
Помогите же мне, наши первые боги,
От беспамятства дней оградите меня.

Проведите, промерьте широкою степью,
По Руси молодой расстелите платком.
Расстелюсь, обновлюсь этой великолепью
И уйду, и уйду далеко –далеко.

Вот с роднёй и роднюсь, что забыть не сумели
Своё древо, пракорень в родимом краю.
Соловей из лесной, из разбойной артели,
Мой языческий дух,– грянь октаву свою!

А вот и девятый класс Православной гимназии. Вот и учительница русского языка и литературы Наталья Васильевна Стёпина, она к тому же ещё и классный руководитель у девятиклассников. Девочки – в платках, ребята, естественно,– с непокрытой головой. Что заметно с первого взгляда, так это то, что я подметил когда-то в Москве, у консерватории имени Чайковского. Когда мы с сыном сидели, находившись по центру города, и чего –то там ели из запасцев своих. Так ребята-студенты проходят мимо и улыбаются этак мягко, по-человечески и желают приятного аппетита, предлагают пройти тут рядом, в их студенческую столовую. И сам ход их, походка у них какие –то мягкие, человеческие. Нет жёскости в движениях, в теле, сами они этого не замечают. Мы с сыном это заметили. Так и тут.

Сижу я на задней парте. А у них как раз идёт урок русской литературы. И читают они Гоголя, его «Русь –тройку», отрывок из «Мёртвых душ».

Как выходят они, как идут к доске. Всё вижу, словно возвращаюсь в своё прошлое, когда и сам был сельским учителем в Малоархангельском крае. Ну кто первый к доске? Кто насмелится первым сказать тут передо мной эти священные, вечные гоголевские слова?

Первым, как всегда, встаёт Коля Борисов. Всегда и во всём первый, на всё паренёк способен. И в гуманитарных

науках, и в математических. Крепкий, светлый такой, симпатичный парнишка. Ну не обязательно надо быть религиозным или, наоборот, нерелигиозным, как и родителям, просто надо быть человеком. И паренёк читает Гоголя, а я шепчу ему вслед, как врубилось это в меня на годы, на всю мою теперь уже долгую жизнь. Вот такое слияние: он – как молодость, входящая в обетование, а я на склоне лет, а между нами – Гоголь, тройка Русь несётся меж нами.

«И какой же русский не любит быстрой езды?» Какой? Кто не любит её? Уж во всяком случае не он, не Коля Борисов. И не Настя Черногорова – девочка в скромном платочке, вслед за ним и другие ребята читающие ту же птицу – тройку, того же Николая Васильевича Гоголя. И я с задней парты, и учительница Наталья Васильевна у учительского стола смотрим, как-то внутренне, глубоко улыбаясь ребятам за это гоголевское, которое врубится в них тоже, может быть, навсегда. Как и в нас. Гоголя читают ребята, его птицу –тройку, про Русь, летящую в вечные времена. Вот отрывок из «Мёртвых душ».

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстает и остаётся позади! Остановился поражённый божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? И что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несёшься ты, дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; ле-

тит мимо всё, что ни есть на земли и, косясь, посторанивают и дают ей дорогу другие народы и государства...»

– И что, ребята, за жанр эти «Мёртвые души», роман?

– Поэма.

– И если поэма, то кто же тогда Гоголь?

– Поэт. Отрывок этот как стихотворение в прозе Тургенева.

– Поэт! Какая лирика, сила духа какая! Символы фантастические, какая вера в Русь, в нашу силу.

А вот другой отрывок из того же Гоголя.

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно несёт сквозь леса и горы чудные воды свои... И какая же птица не долетит до середины Днепра...»

Какая мощь великой реки в самом Гоголе, авторе этих строк. Гоголь – сам птица, это его псевдоним, его фамилия Яновский. А гоголь – это птица степная, упоминаемая ещё в нашем эпосе «Слово о полку Игореве». И этот памятник Гоголю –птице находится поныне в Москве, во дворе, где в доме графа Алексея Петровича Толстого уходил когда-то из жизни Гоголь. И хотят, сказали по радио, этот памятник Гоголю –птице перенести тут на Гоголевский бульвар со двора на всеобщее обозрение, а памятник, что на Гоголевском бульваре, перенести в Санкт-петербург, где писатель тоже создал немало произведений... «Чуден Днепр при тихой погоде». К чудной Неве при буйной балтийской воде...

– Так чем же все –таки ребята из Православной гимназии отличаются в этом смысле от ребят общеобразовательных школ? – задаю я вопрос классной даме, классному руководителю Наталье Васильевне Стёпиной.

– А ничем, – пожимает она плечами. – Как и я, любят книги, любят читать.

А сама любит своих ребят, любит тоже книги, тоже любит читать. Закончила в 1999 году Орловский пединститут, филологический факультет. Училась изящной словесно-

сти у хороших людей, больших мастеров, известных учёных, таких, как Курляндская Галина Борисовна, Гусманов Игорь Галимович, Конышев Евгений Михайлович. И передаст теперь новому поколению то, что они передали ей… «Русь – тройка», «Чуден Днепр при тихой погоде…»

И выпускники Православной гимназии, как и выпускники орловских школ словно птицы, улетают из родного гнезда в орловские, московские, санкт-петербургские университеты. Присылают оттуда весточки: из МГУ, Санкт-петербургской академии железнодорожного транспорта, из других вузов страны, куда привели их знания, духовная сила, судьба. Пускай же летят они кому куда надо. Летите, орлята, летите! В божественно чудные высокие небеса.

7 февраля 2014 года

Земля моя добрая

По старинному русскому поверью, дом построят — пускают на ночь кошку. Где кошка ляжет, там и ставят кровать. Добрейшие будут сны, полезные человеку. Планета наша являет собой магнетический комплекс. Через каждые два –три метра, по широте и по долготе, идут силовые линии. В местах пересечения, как пятна на шкуре леопарда, находятся «узлы» с повышенной энергетикой. Стимулируя живой организм, они поддерживают жизненный тонус. А что говорить о местах на Земле с исключительным магнетизмом, о так называемых «аномалиях» (например, КМА– Курская магнитная аномалия)? В регионе горы Магнитной, что на Южном Урале, по гороскопу астрологов, находится Разум Земли. С незапамятных времён это «умное» пространство было избрано для местопребывания нашим пранародом, тут родился первый Мессия мира Заратустра.

Энергетика Земли таинственна, многозначна, кажется невероятной. Куда вероятнее её чудеса.

Прошлым летом на Тургеневском празднике во Мценске, у памятника писателю, в слове перед народом я раскрыл некую тайну, в которую удалось мне проникнуть за многие годы. Если уж Орёл «вспоил на своих мелких водах и поставил на службу Отечеству» столько литературных талантов, то, что тогда говорить о северном фасе Орловщины — Мценском крае? Тургенев, Фет, толстовские места. Да любого из них и одного хватило бы на какую –нибудь страну.

Вот они — эти наши «бермуды», если судить по таинственной энергетике недр,– «золотой треугольник» среди берёзок средней полосы. Это тургеневское Спасское Лутовиново, толстовское Никольское — Вяземское (тут поблизости, на юге Тульской области, бывая у брата, Лев Толстой и написал повесть «Казаки») и наш посёлок Абрикосово — Синяевский. Это немного юго – восточнее, в районе слияния речек Зуши и Алёшни. Чудо – ландшафт, одно из красивейших мест Русской земли. Здесь мы и обитаем с артистом Лановым, друзьями моими крестьянами. Звучат в душе народные песни, неискоренимо образна русская речь. Мелькнёт незаёмное словцо и исчезнет в пучине бытия, и куда оно ляжет, где вынырнет? А вынырнуло оно, как видим, в осознании того, что ярче всего сила земная, магнетизм наших недр, выразились, прежде всего, в речи народной, в слове природном – талантом, а уж на такой почве и встали, поднялись на весь мир наши писатели – классики. Гордость нации, её мощь. Век за веком всё это копилось в народной судьбе. А всё от Земли, от тайн её магнетизма.

Я искал эту свою «страну» много лет. Работая в областных газетах, исходил — изъездил всю Орловщину по книге Н.М. Чернова «Литературная Орловщина». Что и говорить, прекрасна наша Орловщина, сердце Русской земли! В любом из разведанных мною мест бросай якорь, жи-

ви.Чудны места в Малоархангельском, Колпнянском районах — это «святые колодцы» Девятая пятница, Андреевский колодец, ключ «из –под трубочки», ключ в Никитском саду, это посёлки Онегино, Ливадия. В Хотынецком районе — это Жудро, Булатово, где ныне природный заповедник; в Дмитровском — Соломинский кордон, Селькин пруд, Чернечик; в Залегощенском — толстовские Кочеты...

И пришёл я сюда, в эту свою страну Абрикосию (на Абрикосову пасеку — хутор Затишье — посёлок Синяевский), не только по книге Чернова, но по народной молве. Как увидел места, так тут и присох. И живу вот уже тридцать лет и три года. Как в русской народной сказке. Когда плохо человеку в современном мире, что нужно для восстановления сил? Три фактора, три ипостаси: природа, люди хорошие, добрые книги. Ну и песни, конечно, искусство. И всё тут у нас, как говорится, воедино слито, взаплот. Природа — ну как «русская Швейцария», так называют наши места иные из тех, что за границей бывали, не ниже по красоте, по какой –то изюминке, «русскости», сравнимо разве что с пушкинскими Святыми Горами. А «заграница» и сама сюда едет, например, французы. На природу, к людям хорошим. А люди хорошие — это друзья мои, крестьяне и сельская интеллигенция во всей этой нашей синяевской округе.

Зимой всегда вспоминаешь о лете. А как весна, так, глядишь, вслед за гусями и сам потянулся из Орла — к Зуше, в свои синеглазые алешненские места. А тут уж Виктор Викторович Кузьминов со своими песнями, с баяном, природный талант, бывший агроном. «Воробушки» кузьминовские, певуньи наши: – это Люда — жена его, зав. медпунктом, а ещё Надежда — библиотекарша, продавец магазина Таня... Родился я в городе, в городской, как говорится, рубахе, а земное в генах у меня, во глубине. Так вспомним, как я попал сюда, что меня сюда привело? Места фетовские, толстовские, тут бывал Лев Толстой. По пути в Кочеты, к дочери своей млад-

шей Татьяне Сухотиной, он через Лыково заезжал, бывало, и к нам сюда, на Абрикосову пасеку. Сиживал тут под дубом с учёным –пчеловодом на Жановой горке...

А пишется тут в Синяевском хорошо, даже замечательно. Труды праведны, живу как в раю — воздух пью, с соловьями пою. Странствую по своим и книжным страницам, очарованный странник. Фетовская поляна, само Козюлькино – Новосёлки — всё это нашего «микрорайона». Однако не забываю и о Малоархангельске, где жила моя мать Мария Герасимовна и где покоится дедушка мой Герасим Макарович. Из всех писателей – орловцев только мы с Тургеневым и преуспели, так сказать, в «двойном» землячестве: мы и мценские, мы и малоархангельские. В самом деле, у Тургенева были земли ещё и в Топках, с детства помню это поле малоархангельское, называемое «тургинкой»...

Решил я книгу написать, очерки под названием «Орловская лавра» о людях, встреченных мной на пути.

Летом к нам сюда, в посёлок Синяевский, опять приезжали французы. Из бунинского Грасса, члены французского общества «Друзья Бунина».

Такова притягательность наших чудных биоэнергетических мест.

24 июня 1966 года

Берестяные песни

По утрам дымится река — значит, бабье лето кончается, нет уже той теплыни, что прежде. «Да ить дело не к петрову, а к покрову, – лениво судачат в автобусе. – Цыган, гляди –тко, покупает шубейку...» Невесть какая сила подхватила меня с постели, привела к этому рейсу с третьими петухами, в экую рань заставила поспешать на далекий ху-

тор Одинок, к Бояну Ипатычу Павину, о котором наслышан и к кому давненько тянет на песни, на его берестяные песни.

Юлит торопыга-автобус. Всё берегом. И бугор не бугор – медведица придремнула за речкой, выгнула свой лесистый бок; по зелёной крепи дубов – золотистые свечки, берёзы. Берёзоньки... Если глянуть с горы, так и Зуша утрами не Зуша, а вроде берёза; по руслу сизоватым стволом улёгся туман, по туману — тёмные пятна разрывов, а над всем этим маковки ЛЭП, и поют провода свои песни где-то в теле «берёзы».

– Ну, и как там Павин, играет?

– Ещё как... играет, – кокетничает молодайка.

– Будет скоморошничать –то,– останавливает её та, что постарше, и смягчается, поворачивает ко мне лицо: – Он намедни жоровлей остановил...

А было всё утром, вот так же на зорьке. Вышел Павин за порог под ракиту: хутор вроде на месте, сады и прудишко тоже. Через дорогу калины –рябины гнут долу ядрёные кисти. Тянуло отволглой тиной, лежалым хворостом. Павин отыскал в сенях топор, подошёл к возу, подтащил к колоде крутую охапку разной хворостяной мелочи.

Солнце, едва оторвавшись от горбунцовского верха, уже высветлилось, сделалось суше. Павин всё махал топором. Вдруг он остановился, отложил топор и прислушался: над леском бродили неясные крики. Павин слегка побледнел, смахнул пот со лба, снял форменную фуражку– свою старенькую «почтарку».

Так и стоял. А крики крепчали, бились о крыши, о рябое зеркало пруда, о плечи; тревожные – отдавались в садах. Вожак вёл караван. На подлёте обозначились два каравана. Темные нити их выгибались, завивались друг к другу хвостами, вытягивались за вожаками.

– Журавли –и –и! – бежал по юру соседский парнишка Славик, и в голосе его, утонувшем в журавлином кур-

лыканьи, было столько восторга, столько юного восхищения и золотом осени, и крепнущей силой своей, подступающей жизнью, когда всё только лишь начинается. А Павин стоял и грустил: журавли уходили, махая широкими крыльями, вот и кончилось лето, прожит ещё один год, это его семидесятые журавли. Когда вожак, словно прощаясь со сжатыми нивами, с лысеющим лесом, с посвинцовевшим прудом, со всеми родными холмами и балками, в низком поклоне поднырнул над Павинским хутором, а за ним закачался и весь караван, Павин не выдержал, поднял руки к губам.

– Курлык-курлык-курлык, – полетели с хутора одинокие крики.

Вожак с минуту парил в блеклом небе, как бы прислушиваясь, потом пошёл вниз – караваны смешались, заходили винтом, стали опускаться на землю.

Хутор уже совсем пробудился, за прудами проснулись и Горбунцы. Горбунцовские высыпали на бугор, кричали хуторским, показывая на журавлей:

– Чего это с ними, а?

– Своего, думают, потеряли, – отвечал Славик с этого берега. – Ослаб, думают, или так... приотстал.

Когда журавли почти уже стригли крылами елину, Павин смолк. Повертевшись, птицы кругами стали набирать высоту. Снова выстроились в караваны, завели свою длинную песню – прощание с родиной. Павин глядел, чуть подавшись вслед, про себя повторяя извивы тускнеющих звонов, и светлел от мысли своей.

Подошёл Славик, грудью приналёг на колоду:

– Чего ж ты не посадил их, дядя Ипатыч?

– Не посадил, – вздохнул Павин. – Да ить не надержишься. Пущай летят кому куда надо. Хорошо, Славик, птице, когда ей летится...

Мы сидим с дядей Ипатычем на том самом месте, где недавно он «закликал» журавлей. Лицо его сухо и выбрито, с

прорезью неглубоких морщин. Седина над ушами, тонкая оправа очков и блуждающая улыбка делают его мягким, смиренным. Но, побыв с ним подольше, начинаешь замечать в нём подвижность, даже резкость в движениях, чувствовать иногда какую –то жёсткость. Не оттого ли, что жизнь так трясла, колотила его так безбожно? Да не отбила от песни. Павин так и сказал: «Я пою». Не свищу, не играю – «пою». Словно бы и родился с голосом птицы, словно это просто для него и естественно, точно так же, как петь кому –либо русскую песню про рябину или про ямщика. Ребёнком становится дядя Ипатыч, когда начинает о птицах,– доверчивым и наивным. Затихая до шёпота, рассказывает, будто есть где-то в Америке женщина, что поёт соловья в два колена, да «кенарку индейскую», да попугая.

– Это мне как семечко слущить... Пою и синицу, и скворца, и перепела, и жаворонка, соловья о шести коленах... На двенадцати языках пою.

Дядя Ипатыч снимает с головы «почтарку», достаёт из-за подкладки заветную берестинку, закрывает глаза. Кажется, где-то в роще встряхивается соловей, осмелев, рассыпается звонкой дробью. И не осень – май шелестит в садах клейкими листьями. А соловей и трещит и туктукает; то защёлкает, а то, обмирая, запленькает, то опять, оживая, запулькает. Дядя Ипатыч лишь перебирает губами, улыбается про себя. А соловей ещё раз плень –плень – плень –плень, вильнул и умолк. Тишина.

Дядя Ипатыч хмельно оглядывает окрест, словно бы удивляется, да не собственной щедрости– щедрости этого края, где по чистым берёзовым рощам и косогорам рождаются песни. «Да ведь здесь в десятке километров Алябьево,– мелькает догадка.– Не отсюда ль пошёл знаменитый алябьевский «Соловей»? Это же к соседям, в Спасское – Лутовиново, наезжают веснами из киностудии записывать

соловья. Вот она передо мною, Россия!.. Да знает ли дядя Ипатыч, какой у него редкий дар, какое богатство?»

А осеннее небо просторно. Кружатся, собираясь в отлёт, грачи. Дядя Ипатыч напрягся, закричал резко, по – ихнему. Грачи продолжали летать.

– Совещаются,– замечает Павин.– Шумят, как на колхозном собрании.

– Где вы всему этому... дядя Ипатыч?

– Э, милой, нешто враз такому научишься? Сколько живу, столько пою. Коли хочешь– слушай историю моего, стало быть, пения...

Родился я ещё в прошлом веке здесь, на этом корню. Отец мой крестьянствовал, на Мишку Домогацкого робил. Всю жисть свою жилился, семьищу кормил. Старший, Афонька, пошел по портняжной и плотницкой. Егорка тоже был дому подпорой, сапожничал. Только я сыздетства к песням, стал быть, привадился. Ну, а что от песни в крестьянстве? Бил меня батя нещадно, отучал от песни.

Помню, сижу у лесочка, прислушался: дрозд! Вот затевает,– мудрено мне. А корова тем часом возьми да и скройся. Пришёл ко двору, батя соскрёб меня и под себя:

– Ах, родимец тебя задери!

Насилу сосед отнял. Цельную неделю после жил под омшаником, а сестрица, Прасковьюшка, приносила мне хлеба... Беззащитный был. Я к мамке, бывало, а она мне:

– Ты подальше от всех. Сторонись.

Пойду к лесу, берестинку зачищу, посвищу да послушаю иволгу али синичку. Послушаю да опять посвищу. А осенью определили меня в приходскую школу. Любила меня учительница, без обеда не оставляла. Я, бывало, ей по – вороньему каркаю, по-коршуниному торкаю, а ей интересно. На другой год батя забрал меня: пусть, мол, по хозяйству толкается. Так всего один класс я и кончил. Ну, и тоже кре-

стьянствовал, да неважно, видать. Больше к лесу тянуло. По хутору меня так и кликали то «Дроздом», а то «Перепелом».

Подступило время– пришла революция. Батя к той поре помер... Приволок я из лесу яблоню, корни почти все обрублены, а поди ж ты – взялась, зацепилась. Дождишком, стало быть, отлило. «К новой жисти, гляди-ко»,– подумал я и сказал старшему брату:

– Теперича мы с тобой равные.

А он собрал всю семью, брякнул по столу лапой, да и решили все следом за ним отправить меня в примаки через овраг, на Горбунцы. Там и жил я с Апросьюшкой до самой Отечественной... Ну, а дальше сказывать некогда, надотъ почту везти.

Дядя Ипатыч проходит в сени. Снимает старую, надевает новенькую фуражку –«почтарку»: на люди ж. Идёт запрягать мерина в тележку –двуколку.

– Сам сотворил,– подымает оглоблю дядя Ипатыч,– подобрал рессору по вкусу. Двадцать один годок езжу, вожу, стало быть, почту...

Бросает па деревянное сиденье внатруску клеверу и ячменной соломы. Взбираемся по пружинящей оглобле на двуколку, катимся на куцей оси, чуем животом колею и колдобины, каждый думает про своё. Я, к примеру, про то, сколько вёрст (до Погорельца, где почтовое отделение – четырнадцать) промерил за долгие годы дядя Ипатыч. Погода иль слякоть, мороз иль пуржища, а дело не ждёт, не отложишь. Вспоминаю похвальбу дяди Ипатыча резиновыми сапогами и плащом, купленными ему дочерью в «кооперации» где-то за Тулой, и соображаю, значит, крепок ещё Павин, ещё поездит, послужит людям... Как, должно быть, приметен теперь его павинский дом всей округе. Сюда, к яблоне, посаженной дядей Ипатычем в честь «новой жизни» и которой теперь за пятьдесят, сюда, к этой резной веранде, к почтовому ящику, несут сельчане письма, посылки, телеграммы и деньги; несут все– и с хутора, и с Горбунцов. Да гадал ли,

думал отец его, Ипат Поликарпович, что его сын «неудельный» таким нужным окажется людям?

Двуколка идёт ходко. На Горбунцы, затем на Борисово. Павин останавливается у голубых ящиков с гербом; завидев двуколку, на крыльце появляются люди, суют свеженаписанные открытки и письма, наказывают привезти конвертов и марок, подписать на журнал и газету.

Павин складывает письма и телеграммы в поднабухшую сумку. Запоминает, что кому нужно. С полчаса едем молча. Наконец, дядя Ипатыч оборачивается ко мне:

– Так вот история моей жизни... что, стало быть, дальше –то было.

Попал я перед Отечественной в Красную Армию. Везли, везли нас аж до самого Бреста. Выгрузили и в рощу. Мать честная,– берёзы! После всего ровно сроду не видел их. Обхватил одну, прижался щекой. А после зачистил берестинку, отошёл в сторону, да и запел. Пел и про хутор наш, и про дом, и про своих ребятишек. Ну, что языком говорю, то и ей, берестинкой... Командир батареи услышал и спрашивает:

– Что это? Осень и вроде как жаворонок?

А ему двое, тоже с наших краев:

– Так это же Павин...

Попросил командир меня– спел. Так и пел я по клубам соловья, и синицу, и скворца, и жаворонка. Пел и в Польше, и после в Финляндии. Нет там таких берёз, как у нас. Слабая, водянистая шкурка. А береста бересте, скажу, рознь. И её, стало быть, надо воззнать, выбрать какую. Походить, поискать в лесу надоть. Сильно тонкая – свистит резко. Сильно толстая – тянуть силы много, даже в пот тебя кинет. В самый раз нешироκая, несухая, нетолстая – на такой хоть слова выговаривай...

Дядя Ипатыч снимает «почтарку», достаёт заветную берестинку – свой единственный инструмент. Запевает «Страдания», так и слышишь:

Ах ты, дружечка ты, мой голубочек...

Потом идёт весёлый наигрыш «Русского», за ним грустная «Ночка».

– А в Отечественную,– опять затевает Ипатыч,– за Москву кровь свою пролил. Отбили, помню, атаку, приткнулись кто как с устатку, а тут, гляди, вот-вот попрут снова. Ну я и запел. Зашевелились, заулыбались ребята, потянулись к винтовкам. А он как зачал минами в шахматном, стал быть, порядке. Тут-то ногу мне в небо швырк. Чую: вроде пчела укусила. Вижу: полстопы отвалило. На соловья, сволочь, бил...

Дядя Ипатыч, не жалея слов, всё рассказывает. И про то, как над его детишками здесь издевались фашисты, и про то, как вернулся инвалидом на погорелое, как всей семьей бедствовали, как из тринадцати «ребятёнков» у него осталось лишь семеро, как работал на колхозном свинарнике, где и получил первую в своей жизни Почётную грамоту.

Тяжко было, куда уж трудней. И у меня закипает в груди, и я думаю: «Да какую же нужно силу, чтобы пройти через всё это и тянуться по –прежнему к песне, петь её берестяным голосом светло и прозрачно, как поют птицы в наших лесах! Сколько надо любви к этой песне, к отчему краю, чтоб оставаться всё тем же, из которого выбивала жизнь кулачищами песню, выбивала– не выбила».

Как бы сразу после войны не было лихо, он затягивал туже опорки, собирался в клуб — не близок свет, аж в Алёшню. На концерт. К людям. Потому что в самое трудное время люди всё равно должны помнить, как поют соловьи. Павин пел и в агитбригаде, и в районном Доме культуры, и даже в Москве. На сцене Большого театра...

Мы скрипим на двуколке. Изволоки и спуски. Перед нами, конечно, не рампа Большого — мы у Байдина леса, где дядя Ипатыч когда-то подслушивал «индейскую птицу – кенарку».

– Сейчас я тебе тут театр и представлю,– загорается дядя Ипатыч и натягивает вожжу:– Тпру –тпру!– Останавливаемся.– Только слушай да разумей. Я пою, а лектор, стал

быть, рассказывает. Что и как... Грубые голоса иль высокие. Про природу.

Дядя Ипатыч берёт в руки палку, начинает выстукивать ею о колёсную спицу. Дерево о дерево, сухое о сухое. Так и видишь: идёт ночной деревней сторож– человек весёлого нрава, колотушка в руках его так и пляшет; слышу в такт принашептывает дядя Ипатыч:

Эх, как старинушка бывала,
Жена мужа бивала.
Ходи в пуньку –то спать...

Удаляется сторож, колотушка слабеет. Раздвигая ряску, вскидывается лягушонок:

– Турл –турл –турл...

И сейчас же ему отвечает мама –лягушка, турлычет со дна басовито и глухо. Спросонья крякнула утка. Где-то тонко и жалобно, однообразно закричала сова, сухо зашлёпала языком. Сову заглушил старый филин, заухал с подвывом, рассыпал частое токанье...

И вдруг грянул соловушка. Всё смолкло. Только и слышно, что где-то на другом краю пруда бродит с колотушкой сторож:

Эх, старинушка бывала...

Потом – у дяди Ипатыча– наступает рассвет. Проснулся певец утра– жаворонок. Его сменили скворец и синичка, и перепел...

– Трюк –трюк –трюк,– мягко и нежно зовет перепёлочка.– Пить –пить, пить –попить.

– Мава –мава,– монотонно откликается перепел.

– Мава –мава,– передразнил его насмешник –скворец и пошёл рассыпаться по –всякому. Прислушаешься– уловишь и кудкудахтанье, и соловьиное щелканье. И артист же!

– Любую птицу прикличу,– разглаживает дядя Ипатыч на коленке берестинку.– И сова начнёт надо мною кружиться, и перепел на меня нахохлится, как на соперника. Только

жаворонок... Этот свой язык твёрдо знает. Раньше с ночи не подымешь. Головенка, не как у совы, поменьше, а умишка побольше...

И поёт жаворонком– светло и просторно, и радостно от раскатистых трелей, будто не осень и поле не сжато, и березняк не изрежен от опавшей листвы.

Просзжаем хутора и посселки: Братский, Обвал и Победа... От Погорельца повернули обратно. Раздаём газеты, посылки, письма и пенсии. Встречаем улыбки и доброе слово, и просто приветливый взгляд. Замечательно это– быть на земле почтальоном!

– Одно слово– связь,– раздумчиво говорит дядя Ипатыч.– Что фронт не шёл вперёд без связи, что мирное время...

Мы едем. Молчим. О людях, о жизни. Я думаю: кому дядя Ипатыч передаст своё мастерство, свой редкий талант?

Скоро и хутор наш. Да вот уже и Горбунцы. В одну улицу, ровным гоном до самых ракит. Перед хатами пуньки, погребицы; за одной из них ребятишки, затевающие чехарду.

– Деда!– бегут они к нам.– Что привёз? Покажи!

Скрипнув рессорой, дядя Ипатыч слезает наземь, на подорожник. Роется в своей толстой суме. Достаёт книжонку, расправляет её на коленке, поискав местечко, усаживается под калину –рябину. Обступают его ребятишки.

– А ты чего, Петька?– замечает дядя Ипатыч карапуза, выглядывающего из –за яблони. Тот мигом ныряет за ствол.

– А он без штанов,– наперебой объясняют ребятишки.– Порвал о гвоздь, а мать говорит: не барин, походишь теперь и так.

– Дедушка, голубчик,– водит дядя Ипатыч по странице своим заскорузлым пальцем,– сделай мне свисток.

– Посвисти лучше сам,– раздается голос за яблонькой.

– Спой нам, деда,– встряхиваются ребятишки.– Спой синичкой, скворцом... и русской кенаркой... и журавлём...

Дядя Ипатыч снимает «почтарку», что всегда одевает на люди, достает из нсё заветную берестинку и, подняв голову, курлычет ввысь, за калины – рябины, за острые ели, в большое и гулкое небо, кажется, на всю Россию. И слышу я, как, проходя на юг, подворачивают к хутору караваны. Шелестят, шелестят, шелестят... Пускай же летят, кому куда надо. Хорошо птице, когда ей летится.

5 декабря 1967 года

«Как молоды мы были»

Ничто на земле не проходит бесследно.
И юность ушедшая также бессмертна.
Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как искренне дружили, как верили в себя.

Из песни.

У каждого, вероятно, есть на земле своя особая точка. В Питере для меня, например, это место между улицей Росси и театром Товстоногова, у памятника Ломоносову, с обозрением через арку «Храма на крови». В Курске– крутой откос с видом на Дикую степь, перед бывшим Дворянским собранием, где некогда пел Карузо. Есть такая любимая точка у меня и тут у нас, на главной площади Орла, поближе к курантам, откуда взгляд, по двум лучам передвигаясь, скользнув правым из них по бывшей Болховской — ныне Ленинской, упирается в златокипящий купол храма Смоленской Божией Матери на Песковской. А левый луч, перекинувшись через Оку-реку, достигает острого, златоверхого шпиля кафедрального собора, что на улице 5 –го Августа.

За спиной у правого луча – Белый Дом, здесь когда-то на пятом этаже размещалась «Орловская правда». А по ле-

вую руку – в направлении мэрии, к памятнику Бунину, и если направо ещё– придёшь, бывало, к редакции молодёжной газеты, что была тогда тут на Почтовом переулке. Тоже откос, тоже высокое место. Тут же когда-то и начиналось всё у нас в «Орловском комсомольце» (ныне «Губерния»), у молодых журналистов, – славного, раскованного поколения шестидесятников. Кто не помнит той «оттепели», связанной с именем Хрущёва? Всё было здесь и тогда.

Безусловным лидером являлся Геннадий Харитонов – наш редактор, «генератор идей», да и просто симпатичный парень. Он высекал идеи в неимоверных количествах, а мы брали те искры и несли уже пламенем в массы. Золотой век всегда позади. Чего, право, стоили наши «лошадки», надёжные «идеологини» Аня Безденежных, Алла Карасик, Света Мезенцева. А наш отдел молодёжной жизни – «коренники», без которых не вышел бы ни один номер газеты,– это мы с Васей Савкиным, Иваном Закаблуком. А фотокор Серёжа Шабалин, а Коля Калганов– шофёр? Молодой, умелый, рисковый народ! Скольким людям помогли, бросаясь в любое пекло очертя голову? Сколько кадров выковали, фундаментов заложили, аргументов и фактов извлекли на свет божий? Недаром среди молодёжных газет страны были мы из самых первых, базой журфака Московского университета.

Неделю в командировке, после неделю отписываешься, материал в номер, и снова в командировку. Приедешь из района – ввалишься в сапогах кирзовых, из грязи только что выбрался, а то в пылищи весь, под солнцем спекшийся, рот до ушей, а в отделе у нас какая –то женщина, это доцент Вика Учёнова, руководитель студентов – практикантов. И возглас её неподдельный:

– А, вот он какой, Лёня, оказывается, наш очеркист!

И радость в сердце моём, глаза брызжут зеленоватостью неба, а от всего самого веет ромашкой с лугов ливенских, малоархангельских, всеми запахами левад из цветущих

мценских, новосильских перелесков. Тут же, в перерыв обеденный, выйдем, бывало, из дверей да сюда, к откосу, а он прямо у ног наших – внизу домишки поречные, частные, неказистенькие такие, а чуть дальше – Орлик, Ока, это у слияния «Стрелка», историческое место, основание города,– красота вероятная, предугадываемая, как будет это место облагорожено, предугадываем будущее. Однако пока что песок на зубах хрустит, в городе мало асфальта, белая рубаха чернеет на шее за каких –то полдня, по бывшей Болховской – ныне Ленинской – грохочет трамвай. А мы тут, на откосе, взахлёб, перебивая друг друга, вслух рисуем картины преображения: какой будет «Стрелка» к 400 –летию Орла, детский парк – сад «Аквариум», подвесные мосты через речки. И там, за спиной, на бывшей Болховской, пока только в воображении нашем, уже ни трамвая, ни потока автомобилей – символ города, пешеходная улица. Вроде Арбата в Москве и в чём –то Невского в Питере. Но существует ведь и иное мнение: расширить бывшую Болховскую, сломав ту сторону, что напротив кинотеатра «Победа», сделать улицу магистралью века, пусть рванутся авто и мото к техническому прогрессу. Плюс не нужно будет другого моста через Орлик – Тургеневского – зато, как минус двойная нагрузка ляжет на этот Ленинский – Александровский мост… О, как мы сражались за свою точку зрения и на летучках, и на газетных полосах, возбуждая общественность…

Отбывая с практики, Женя Крылов оставил в столе у меня бутылку шампанского от имени всех практикантов и записку: «Спасибо, ребята! Мы с вами, за ваш энтузиазм!» И вот смотришь, слушаешь, читаешь центральные СМИ, а там лица угадываемые, знакомые имена. И декан журфака в Москве всё тот же – вечный декан Ясен Николаевич Засурский…

И вот я стою на Главной Площади города, на любимой, высокой точке. И, по двум лучам передвигаясь, город

надвое раскидывает передо мной свою красоту. Чудо это – цветники, перспектива. Город нашего испытания, осуществлённой мечты! Нет, вы только подумайте: в наше время что –то удалось, произошло, осуществилось при жизни! В город приезжают гости и говорят: «Вы счастливые люди, вы живёте в красивом городе!»

Видим, воображаем. Однако как жаль, что красоты этой уже не видят иные из сверстников. Как не хватает нам их. Города красивы не только внешне, но, прежде всего, людьми, изнутри. Объявляем себя третьей литературной столицей России, это после Москвы, Петербурга. И что? Классиков у нас, дескать, хоть пруд пруди. Хотя, по словам одного нашего современника, писатели тут лишь рождались, классиками они становились где-то. В ту «оттепель» у нас в редакции создалась уникальная генерация, костяк такой, откуда затем черпали столичные печатные органы, вышла целая плеяда писателей. И это всё судьбы, таланты, огранённые и опалённые, прошедшие через всяческие горнила, пешком исходившие километры, испытанные борьбой, познавшие цену жизни и людям.

А то в сборнике одном напечатали сразу 31 –го автора. Раньше у нас такие сборники назывались «братской могилой». Один человек и говорит по этому поводу: «Вот кто будет на пятки вам наступать». Это о том, что все сразу под «зонтик», что ли, берутся, остальное уже не причём. Вот мы и говорим о тех, кто в кущах листья куёт, делая дело кузнечное, а ведь наше дело – ажурное, штучное, чувствилище нервов.

Так вот, стою я на точке своей обозрения: город красив, смотрит прямо в тебя. Да ведь не сразу таким стал, за красоту мы души клали. Помню, подъезжаешь, бывало, с утра на работу трамвайчиком к кинотеатру «Победа». Идёшь в редакцию, а по Пролетарской горе уж гуляет, руки за спину – кулаки на крестце, писатель Иван Михайлович Патенков,

редактор «Орловской правды», автор «Макара Навли». Это он так мысли чувствительные перед бюро в узел сбивает. Тут же встретишь и Евгения Константиновича Горбова, автора «Куриной слепоты». Тоже с позицией журналист и писатель. Но это – отцы, старшее поколение.

А вот эти, можно сказать, наши ровесники – поэт Дима Блынский, художник редакции Слава Пуршев. Молодые люди, красивый народ. Приходили к нам сюда на откос,– по левому лучу. Дружбы, сообщества искали, видно, там им нехватало чего –то.

Сначала о Дмитрии Блынском. На дежурстве вместе иной раз попадали. Старенькая типография прижималась к Александровскому мосту, тут печатались областные газеты. Хрущёв речи держать обожал! Однако заранее по телетайпу, как потом при Брежневе, тексты не передавались, а вечером дуют, бывало, напрямую частенько часов до двух ночи. До рассвета тогда и газеты делались. Блынский – «свежая голова», а я просто дежурный, у нас в газете дежурный один полагался. Вот сидим мы и ждём от рабочих отливки свинцовые. И разговариваем на всякие животрепещущие темы, стихи читаем. А спим на продавленном диванчике по очереди, когда сон совсем одолеет. Это когда обо всём наговоримся.

Стихи Блынского мне нравились. Запомнилось это вот – о яблоне, о гнезде его родовом в покровской деревне Васютино. Красивые стихи, задушевные, как и сам он был, Дмитрий Блынский. Это уж когда, после смерти его, побывал я у него на родине, в «Заветной мечте», и посвятил ему такие стихи.

Здесь жил поэт есенинский. И вот
Весной однажды, в перехлёсте чувств,
Увидев сад, он выдохнул из уст:
– Смотрите же, как яблоня цветёт!
А та белела, жаркая такая!

В его двери, у хаты, за окном.
И всё переворачивала в нём,
От щедрости души изнемогая.
В тот самый год, когда ушёл поэт.
Едва за тридцать, в возрасте Христа, –
Упала и она во цвете лет.
Как капля крови с белого холста.

А со Славой Пуршевым помнились встречи и в нашей молодёжной редакции, и, например, в дружеской журналистской поездке в Ясную Поляну, к Толстому. Мы, борзописцы – крючкотворы, всё ходим, бродим, примеряемся, рассматриваем экспонаты, а он, художник, как сядет, рад местушку, так и рисует, рисует. Запечатлевает. Чтобы каждый мог сразу принять натуру. И красив же был парень: серебряные волосы, в кольцах, профиль как у какого –нибудь римского цезаря, хоть на монетах чекань. Вот и думаю: если бы не было красоты такой в людях рядышком, да разве же возжаждала бы душа этой высокой точки, разве сражались бы так мы в нашей жизни варварской за её Красоту!

И если идти по другому лучу – по левому, всё к той же нашей редакции, если помянуть кого из нас добрым словом, так это беззавстного Васю Савкина. В холод, зной, в дождь – в районе мы вечно, в командировке. Однажды Вася, в шутку сказать, «трактор в мешке» притащил, так его фельетон назывался. Это о том, как на ремонт в «Сельхозтехнику» из своей деревни механизатор весь трактор в мешке, по запчастям, на горбяке своей в райцентр перетаскал.

А то помню, как новую типографию «Труд», какая по сей день в добром здравии, под Новый год открывали. И мне дежурить досталось. В семь часов вечера – столпотворение, всё начальство. В восемь – только типографское, да ещё Харитонов. В девять – Харитонов да я. В десять – Харитонов да я. В одиннадцать – я да жена моя. О боже! Ну всё, Новый год пролетел! В одиннадцать сорок пять, наконец, застучала,

завыла «ротация», замелькали газеты. Подписал я номер да бегом, а куда? К Васе Савкину, он жил тут поблизости. В дверь ломлюсь, а куранты уж полночь бьют. Вася мне и жене моей в руки бокалы! Первый тост, кажется, за орфографию, монографию и типографию, где теперь не только газеты, но и книги печатают, в том числе и мои.

И ещё, если пойти по этому лучу, к нам в редакцию, то придёшь, бывало, к «уазику», частенько дежурил у нас тут у входа. А возле «уазика»– Коля Калганов, водитель наш. Мы однажды с ним в Дросково по письму прикатили. В самую пуржищу, аж жуть. Снег винтом, ничего не видать. А у меня же серьёзное дело, крик души, зов на помощь. Мы лопату в зубы и вперёд. Метр едем, два — буксуем, три — шуруем лопатой. Всё же добрались. Председатель вывернулся из –за крайней хаты: «Вы откуда, ребятки? С неба свалились?»

* * *

Такой калейдоскоп мелькает передо мной — лиц, фактов, эпизодов, когда я стою на этой высокой, любимой точке — на Главной Площади Орла. «Как молоды мы были … как верили в себя...» Если бы каждый сравнил себя в молодости с тем, каким стал сейчас. Если бы каждый вспомнил, к чему себя призывал. «Ты что — герой?– сдвинуло брови начальство, когда я работал уже в «Орловской правде».– «Да, а что?»– подумал я, но вслух не сказал. Героев очерка уже нет, некому руку на плечо положить. Но я помню их всех поимённо, как и время то– шестидесятые. И оно для меня с годами всё возвышеннее, всё гармоничнее как-то, на первой фазе напряжения сил. В сочетании справедливость с пробой пера за высшую истину в настоящем и будущем, за лучшую жизнь.

Вместе и навсегда,– будто по сей день стоим мы тут на этой высокой, любимой точке города, лучшей точке планеты.

21 июля1998 года.

Праздник в Синяевском

Знает в России интеллигенция, как спасаться от глада и хлада. По рецепту доктора Живаго, припадаем к земле, картошкой родимой и кормимся, не растляя души, поддерживая своё бренное тело. У меня давно уже в собственности крестьянский домишко во Мценском тургеневском крае, в фетовских духовитых местах, в непосредственной близости к Абрикосовой пасеке, где бывал Лев Толстой. Уж какое лето живу тут в разнотравии — весь в духáх и дýхах, путаю прошлое с настоящим...

С веничка полынового брызгаю по картошке какой –то вонючей японской дрянью, воюю с колорадским жуком. Вот в какое «окно» Америка въехала, при Толстом «колорад» не летал...

— Михалыч, эй, Михалыч!

Вздрагиваю от резкого, командного голоса за спиной. Это, я вижу, директор Тургеневского музея –заповедника в Спасском –Лутовиново.

— Здорово, Михалыч! — приближается он. — Ну что — совсем опростился? Слушай, я вам французов сюда, на посёлок, привёз. Слышь, баян возле Тихоновых, идём...

Слышу, конечно. И вижу, конечно, себя опрощенного — в выцветшей штормовке, в калошах резиновых.

— К –каких ф –французов? — говорю я медлительно, чтобы потянуть время.

— Да Полину Виардо! — пресекает всякие мои смущения директор своей широченной улыбкой. — Ну да, из тех самых, тургеневских... Вылитая! А смугла, а чернява — испанка!..

— Жарких испанских кровей? — говорю я, оживясь. Это меня интригует.

Топчусь на месте, всё оглядываю себя такого — с полыновым веником — истинного борца с «колорадами» за нашу национальную безопасность.

— Я говорю, — смеётся директор, — тут у нас палку ткни — вырастет тарантас, а писателей — пруд пруди...

— Ну нет! — возражаю я твёрдо. — Талант– явление редкое, национальное достояние...

И сомнения прочь. А пойду –ка я оденусь во что получше, — всё –таки заграница!

Посередке посёлка, на вершке за Тихоновыми, — кучка народу, смех людской и баян. А перед всеми нами красотища какая! «Орловской Швейцарией» называют наше местечко: высокий зелёный бугор за речкой, ниже речка Алёшня по лугу, припойменные места...

...А лето в самом разгаре. Солнце парит вовсю, сеном пахнет! Востроватые коврижки стожков, свежескошенная трава уж чадит, на земле распушенная. Зайчик, — конь – нутрец, работяга хозяина, — ходит тут же, вздрагивая, каждый раз прядая ушами от сильного взрыва смеха...

Баян рыкнул и, сведённый, заглох.

— Это Михалыч наш,— знакомит нас Тихонова Нюра, хозяйка. — А это наши дорогие гости: Полина и Ален...

— Меня зовут Поль, — с трудом, но по –русски говорит француженка, подавая мне руку.

Все только что из –за стола — хорошо посидели! Французы пляшут «Русского» — под баян, под балалайку. А сестра Нюрина — Нина даже голосит частушки. С год назад она похоронила мужа и этот год молчала, совсем думали уж, говорить разучилась. Нина только что тоже с огорода, в вязаных чулках и калошах; после смерти Володьки хоть рот – то раскрыла.

Зато легка, прямо –таки летает эта Полинка, — челнок. В самом деле смугла лицом, волосом черна, — неужто отпрыск, какая –нибудь правнучка по линии Виардо? Сейчас

это в моде — ехать из –за границы, искать свои корни, владения, титулы...

И тут же стоит, улыбаясь, перегибчивый такой, муж Полинин — Ален, художник –витражист. Это им получен заказ на изготовление витражей в тургеневском музее во Франции — в Буживале. И вот он тут у нас, приглашён с женой для встреч с людьми — потомками тургеневских героев, для впечатлений. А жена его Поль — тоже писательница, пишет прозу... И праздник сегодня в Синяевском, надо же, международный тургеневский праздник...

— Мой отец был крестьянином, я — крестьянского рода! — с гордостью заявляет Поль –Полина, обнимая Нюру за плечи.

Отсюда видать белую цинковую крышу — владение Ланового. Брызнули все из Москвы. Василий Семёнович строит не дачу — целый театр. Может, к нему и везли заграничных гостей, к проверенному человеку, а, за неимением, попали к нам сюда, к Нюре, в самый народ. Я давно знаю, что, если бы Лановому вздумалось набирать труппу, Нюра была бы у него «примадонной» — настолько талантлива в жизни, естественна и умна.

И стою вот и думаю, глядя на Поль –Полину, отчего – то о ней же — о Нюре. Да не может она быть артисткой, не может! Даже и самой первой, наивысшего класса! И именно оттого, что никогда никого не играет, она сама такая, как есть, существует, живёт. Она знает себя, свой талант — кормить людей, большой рассеянный род, и всех, всех нас по городам. Она любит это, ей это нравится... И вот, глядя на Поль –Полину, у меня отлетает одно из главных моих сомнений в мыслях о Тургеневе. Вот и он жил там у них, за границей, в Париже, а крестьяне в Спасском тут, думалось, вкалывали, кормили его... Да, кормили! Но, если так и такие, как Нюра, то — с удовольствием, знали кого, — за талант!

А вот и сейчас, не в пример многим, одуревшим в периоде первоначального накопления, Нюра не дрогнула; без неё не было бы ни этого праздника, ни нас тут на празднике, ни этих частушек, ни встречи моей с Виардо...

Знает Нюра, как нужны людям праздники после тяжких трудов сенокоса, пусть играет гармонь.

И стоит Нюра бок о бок с Поль — русая, с обветренным, засвеченным солнцем лицом, под клонящимся за ракиту светилом. И Иван, муж Нюрин, наяривает на балалайке, и частит свои частушки с картинками сестрица Нюрина — Нина, а из –за копны выглядывает, спеша сюда, баба Дарья — старейшая на посёлке: вот диво –то! В последний раз из заграничных были тут немцы непрошенно в году сорок третьем...

А Виардо подлетает ко мне, вызывает — увлекает в круг. Топнет ножкой, сверкнет взором — какой темперамент! Срываю самую крупную красную розу с куста и в волосы ей — Кармен –сита! И она дёрг меня за нос слегка, смеётся. Берёт балалайку у Ивана да по струнам:

— О, и я когда-то играла на дудке! В Париже, прямо на улице. Была уличным музыкантом...

Праздник сегодня в Синяевском! Люди так хотят, людям праздники очень нужны. Кто-то пенный квас несёт в кружке, кто-то в чаше царицу –клубнику, а кто яблоки в чистом переднике… «Как все они рады жизни, естественны как!» — вот о чём думаю я, глядя на них, на всех этих нынешних — потомков тех и оттуда, из недр межвременных и пространственных, что свели нас сюда...

Через неделю я отправился в Спасское –Лутовиново. Захотелось продлить вспыхнувшее ощущение близости. Однако кино в кинозале настраивало на иное. Аллеи, образующие римские цифры — XIX век, веяли прохладой, большие липы явно не допускали к солнцу подрост. А голос директора — строг...

Мы прошли к пруду Савиной, и я всё ждал, когда же снова между нами возникнет прежнее ощущение. Может быть, и это уже всё в прошлом? Миг в Синяевском не возродить...

— Он и вам сказал, что я — Виардо? — придвинулась Поль ко мне и стояла, смотрела на меня откуда-то снизу, из –под ресниц.

— Кто — директор?

— Он всем, наверно, так говорит, — взглянула она понимающе, приложив пальцы к губам.

Рыжая белка мелькнула на липе, перенесла с ветки на ветку свой пышный хвост. И тут же рядом зашлёпали капли — в те же самые лунки на пыльном асфальте, на красновато –коричневую, песчанистую подушку аллей.

— Что вы пишете?

— Я пишу письма Тургеневу, роман в письмах, всю свою жизнь...

Не рыжая белка — солнечный луч мелькнул откровенно в старой, возможно, ещё притургеневской, липе и исчез навсегда.

И всё это было в начале, в самом начале. И это очень и очень важно. И я вернулся к своим колорадским жукам, директор — к своим обязанностям. А Поль под шутливым псевдонимом Полины Виардо провезли по тургеневским местам, по потомкам — для впечатлений. И были они у портретистов –художников, были в тургеневском Льгове.

И когда я приехал из своего Синяевского проводить Поль с Аленом домой во Францию, она и сама уже верила, что она тургеневская Полина. Вот что делают с нами люди, которые всегда ведь именно на земле сотворяют себе небесных кумиров.

И жаль мне, что при прощании в Тургеневском музее в Орле она уже не взяла меня за нос так шутливо, кокетливо.

А когда всё же я насмелился сам, чтобы что –то напомнить, она взглянула на меня из –под ресниц и слегка удивилась.

А из Франции пришло в Орёл недавно письмо. Гости благодарили за всё. А Поль –Полина, после общих с Аленом строк, сделала приписку: «Особо спасибо за праздник в Синяевском, за любовь, естественность и простоту». И я вспомнил взгляд её из –под ресниц и глаза при последнем прощании — слегка удивленные.

Да, всё в жизни бывает лишь раз, только раз, миг прошедший не повторить.

24 июня 1995 года

В роще Платона

И вот что интересно: «академиков» всяческих в стране сейчас хоть отбавляй. Собрался междусобойчик, обозвали себя как покруче, зарегистрировались в собственном совете– и нате вам. «член-коры», «академики». Утром– деньги, вечером– стулья. Галина Борисовна долгие годы строго несла свой профессорский титул, пережив многих настоящих академиков, научных светил. Так кто же она тогда, если мода ныне такая на «академиков»? Вспоминается фрагмент из путевых очерков по Японии известного публициста Владимира Цветова. В Токио на витрине выставили картины. Народ течёт, видит баснословные суммы в йенах. Наутро все картины целёхоньки, кроме одной: она похищена! А ведь суммы на ней не было никакой. Да и какая может быть сумма, когда картина не имеет цены, бесценная реликвия.

Ценность Галины Борисовны до конца нами как-то даже не осознается. А ведь Орловщина– край литературный, земля коренная, созидавшая и созидающая наш русский язык, отечественную литературу, культуру. Это родимые корни Тургенева, Лескова, Фета, толстовские, бунинские

места. И ко всему этому ею был подобран научный ключ– эстетический, литературоведческий, философский– на базе российского и мирового сознания. Взгляните только на перечень стран, городов и имён, откуда приезжали в Орёл на симпозиумы, научные конференции, на степень участия в них профессора Курляндской.

Такие люди, как Галина Борисовна, уникальны, это наша гордость, национальное достояние.

Она давно была в роще Платона– в мудрообильных кущах, шла стезёй, протоптанной бессмертными именами. Не в том ли и состоял секрет её неувядаемости, удивительного долголетия, что жила она не только за себя, но и за других, во имя, а не вопреки. Она была верна идеалам своего первого учителя Скафтымова из саратовской школы филологии, которому по чужой воле не суждено было подойти и к среднему возрасту. Вращение в кругу научных проблем, в этом центробежном и центростремительном хороводе идей, гипотез, концепций, в дискуссиях с уважаемыми коллегами, безусловно, обострялось осознание дела, росло понимание, как много ещё предстояло успеть. И всё это требовало упорства, количества и качества труда, на что и уходили годы.

Думая о Галине Брисовне, я говорю о «сакральном кресте» не случайно Вся её жизнь и есть тот самый божественный символический крест, который она несла на Голгофу и который её саму, в свою очередь, вынес к этим вершинам, нелёгким, но можно сказать, счастливым годам. Действительно, сколько было всего наработано на научном и педагогическом поприще. А всё он, этот божественный символ!

«Сакральный крест»– это по вертикали движение к высшему, инобытийному. космогоническому, к биоэнергетическим сферам – этическим, эстетическим, к диалогу со всем человечеством. Это то, что давало жить духу, но не давало покоя душе. Это путь воистину христианских страданий и мучений, радости, победных разочарований и зачаро-

ванных побед в глубочайших раздумьях о судьбах Родины, своего народа на фоне общественных переворотов и катаклизмов, это «третий глаз» в запредельное, в инновации цивилизации.

«Сакральный крест»– это, если горизонтально, ещё и движение по земле обжитой, обетованной, шаги по своему городу, улице, это работа в любимом университете, скрупулёзное чтение диссертаций, выносимых на учёный совет. Это и сами студенты, аспиранты, многие из которых уже доктора, кандидаты наук, это её комета, вернее, хвост кометы целая научная школа.

Ну и, конечно, это движение по приземлённой, материальной спирали– бытовая стихия магазинов и кухня, заботы о хлебе насущном. Но что всегда было чётко, единственно, однообразно, так это то, что 99 ступенек вверх– на самый высокий этаж в доме по улице Салтыкова –Щедрина и 99 вниз– «вертикальный стадион». С авоськой в руках, с книгами и диссертациями, с кафедральными расписаниями и предписаниями. Вверх –вниз, туда и обратно, и ни ступенькой меньше. По числу прожитых лет.

И во всём конгломерате аргументов и фактов она– первая леди тургеневедения, научной филологии в Орле её собственное имя накрепко связано с таким учеными – академиками, как М. П. Алексеев, Д.С Лихачев, таким великим исследователем, как наш земляк М.М. Бахтин, с крупнейшими тургеневедами Г. А. Бялым, П. Г. Пустовойтом...

Галина Борисовна была одним из духовных лидеров российской интеллигенции. Она родилась в Саратове, где сама Волга наделила её божественным даром исследователя, но талант её расцвел именно здесь, в Орле. Она не закопала этот свой первородный талант, а приумножила его силой великих русских идеалов, в основе которых лежит стремление к Свободе, вселенское Добро. Современное литературоведение она повернула вокруг доминирующей мысли о «дву-

планновости» сначала в творчестве Тургенева, а потом и вообще в литературе, во всем духовном облике искусства, вокруг идеи о реализме, обогащённом романтическими тенденциями. Иными словами, вокруг идеи о том, что реальными людьми правят не только сама жизнь, светская власть, но и Боги, духовное естество, природные космические законы. А в этом плане человек изначала свободен, совестлив, одарен природно –руссоистскими воззрениями о предназначении «гомо».

Галина Борисовна сумела сказать своё слово даже в трудные времена, неся ещё и просветительскую ношу. Об этом свидетельствуют её книги– концептуальные труды, коллективные научные сборники, редактированные ею, а также различные российские литературные чтения в Орле, в которых она принимала активное участие. Она выезжала в иные города и веси– в Москву, Петербург, Старую Руссу, Ясную Поляну, Спасское –Лутовиново, на конференции по Толстому, Тургеневу, Достоевскому...

Как-то по пути я успел у неё спросить, какой будет литература грядущего, куда двинется эстетика, как будет выглядеть художественное слово. Всего три вопроса:

Есть Бог или нет, как по –вашему?

Останется литература или будет задушена СМИ?

Чего больше будет в эстетике XXI века– реализма или романтизма?

И были получены ответы. Бог у каждого свой, особенный, личностный. Об эстетике спросите у своего сына – филолога, у молодого поколения. А вообще –то в литературе перспективно символическое, фантастическое как усиление средств романтического изображения реальной действительности.

Из античной юности звенящей
До седых теперешних веков
Тихой рощей, мысль плодоносящей,
Все ведёт Платон учеников.

Все идут они– те корифеи–
Мимо соблазнительных олив,
Но одно местечко тут для феи–
Женщине любимой – припасли.

Вот как! И уж рощею Платона,
Тихой Академией его,
К истине та Скифская Мадонна

Вывела слепца не одного.
Внутреннее зрение дала
Корифейка, светоч, дочь Орла.

6 ноября 2012 года

Демьяныч

Его так и зовут тут, в подбелевской округе, Демьяныч, как будто имени у него нет. Владимир Демьяныч Косырев из деревни Косарёвки. Пасечник с Жановой горки, что за посёлком Синяевским. Считай, полжизни, сразу же после войны, он– пасечник, а в последнее время ещё и приёмщик мяса, картофеля, шкур всевозможных от населения, работник системы потребкооперации. На вид Демьяныч — мужик обыкновенный, рыжеватый такой, белесы ресницы, не велик ростом, не то, что гренадеры в президентском полку. А за что же зовут его так уважительно: Демьяныч? Да за то, что, прежде всего, умный, сообразительный. Не то, что хитрый, как все деревенские, или, как городские– широко образован-

ные. Демьяныч имеет на всё свой взгляд. Соображение у него развилось, скорее всего, от того, что всё у него получается. Жена Женя красивая, детей двое: сын Виктор и дочь Галя. Денег у Демьяныча много, дела идут неплохо. И пчёлка медок даёт, и люди, как пчёлы, к нему сюда, в сарай, продукцию несут, а он её принимает, а потом пристраивает во Мценске. На мясокомбинате, на овощесушильном заводе, по магазинам райпо. Не пожалеет ничего и просто для человека: ни колбасы с комбината, ни мяса горожанину, ни денег взаймы сельскому жителю. Если что продаёт он мне, так по обычной цене, ничего взамен не попросит. Все эти качества у него до поры до времени, но когда это кончится, никто не знает. А пока все зовут его просто Демьяныч.

Просто пример он для многих, не то, что для крестьян, а и для интеллигенции с высшим образованием: для учителей, медработников и агрономов. Хотя у самого образование четыре класса на двоих с братом. В роду своём Козыревых он, можно сказать, главный, хотя и не старший по возрасту. И живёт ведь не в Москве, а в деревне, и должности никакой не занимает. Как, например, у старшей сестры Веры Демьяновны муж — председатель Высокинского сельсовета. А когда у Демьяныча день рождения, так весь род козыревский собирается у него в безразмерном сеновальном сарае. И едут сюда к нему, в Косарёвку, отовсюду: из Москвы, из Орла и Мценска, из соседней деревни Синяевки, из посёлка Синяевский, из Подбелевца. И стол ломится у него от всего, и гармонь до утра заливается. И песни русские льются, как из рога изобилия, звучат до утра, стелются по реке. И другом он у меня является, многому я учусь у него.

Вот какой человек этот Демьяныч — человек безотказный, щедрый, умный, даже мудрый, и это сущая правда. И вот случилась беда, трагедия произошла. Полез он на ракиту во дворе, нависающую над столом, за которым чаи из самовара мы с ним гоняем, взобрался на самую верхотуру,

чтобы снять оттуда руками цесарок, а сук возьми под ним и обломись. Демьяныч упал с ракиты и разбился насмерть. Когда узнал я об этом, в сердце у меня что –то ёкнуло. Собрался я и поехал в Подбелевец, пошли мы с друзьями–товарищами к нему на могилку и помянули Демьяныча добрым, тихим словом. Но это я рассказал о трагедии с ним впереди о том, что ещё только произойдёт, а пока он жив, и я живу тут, в толстовских местах, в посёлке Синяевском, что у Жановой горки, где пасека у Демьяныча, и я ещё частенько встречаюсь с Демьянычем и многое у него перенимаю, а главное, отношение к людям, к делу своему. Все качества у него, как в жмене, в букете. Божьи пчёлки несут медок ему наилучший– из первоцветов –подснежников, из медуницы.

Только сейчас я в Демьяныче начинаю разбираться, после его гибели. Да и время такое пришло. Демьяныч не только мудр и щедр, но, что интересно, прогрессивный, как говорят ныне,– продвинутый человек был. Настолько вперёд смотрел, настолько предвидел, вроде бы знал, что в будущем с нами произойдёт. Только себе вот не предсказал, погиб от нелепого случая. А случай, как сказал Пушкин,– парадоксов друг. А парадокс, на мой взгляд в том состоит, что мы вот все живы, а его уже нет среди нас.

И какой же Демьяныч– человек современный. Главное, как развиты в нём были кооперативные, предпринимательские, фермерские качества. Однако не такой, как все, у которых на уме одна только выгода, качества, которые тогда лишь начинались. Для примера, скажем, как в прежние времена обзывали предприимчивых людей? На селе– кулаки, в торговле– «спекулянты». Считали их паразитами, а ныне они основа рыночной экономики. На них, как на столбе государственном, у нас держится всё. Такие люди и пользуются авторитетом. Только вот почему это происходит? Что за тайная пружина за этим сокрыта? И стал я эту пружину искать у Демьяныча, потихоньку разматывать, и что у меня

получилось? Опять-таки война и мир, мир и война. А в воздухе опять ныне пахнет грозой. Американский авианосец не то «Немец», не то «Нимитц» к Сирии по Средиземному морю движется, и станция слежения в Армавире фиксирует выпуск баллистических ракет на восток, в сторону России. Вот какая глобальность! А тут Демьяныч меня занимает, его малая пчёлка и тайная пружина его жизненного, можно сказать, успеха. О «Нимитце» услышал я по телевизору, принял к сведению и на другой день выкинул бы из головы, да Демьяныч не даёт, как застрял в башке, так и сидит вместе с авианосцем. Думаю, всё о нём, всё раскручиваю эту пружину, как часовой механизм из Швейцарии.

Вот мы и подошли к больному вопросу– к войне. Вернулся Демьяныч из Германии в сорок пятом бледным, худым, с больными лёгкими, а попал туда нормальным, здоровым подростком в сорок втором.

Каждый раз, когда Демьяныч собирается на Жанову горку, на свою Абрикосову пасеку, проходит мимо деревянного креста у оврага, на краю Косарёвки. А на кресте имена косаревцев, когда-то расстрелянных гитлеровцами. Это Козырев Фёдор Никитич, Самойлов Поликарп Тимофеевич, Шатинков Егор Васильевич, Масленников... Одна фамилия стёсана топором, метина так и осталась, держится выемкой. Косарёвцев расстреляли за то, что несколько дней они укрывали нашу разведку, которая пробралась по речке Алёшне и была тут настигнута немцами, приняла бой и погибла в Косарёвке. Тогда расстреляли всех мужиков, кроме подростков: Демьяныча и его двоюродного брата Алексея, ныне бригадира фермы. Этих двух вместе с бабами немцы отправили к себе в Германию как восточных рабочих.

Там, в Германии, его и научили трудиться, быть расчётливым, вникающим в дело, у бауэра работали, у хозяина. Тоже был русский, в плен попал ещё в первую мировую, да там в Германии и женился на немке, трёх сыновей они с ней

нажили. И вот все трое воюют где-то у нас, на восточном фронте. А он письма от них получает и всё считает, подсчитывает, сколько земли за них дадут ему там у нас, на Востоке, когда война кончится.

А мы ему и говорим: а ещё русский, что ж ты родину – то продаёшь? Хрен от нас что получишь, вот тогда поглядишь. И, правда, начал он с фронта получать похоронки. Сначала одну– из– под Москвы, вторую– из Сталининграда, а третью уже отсюда, с Орловско –Курской дуги.

– Ну что, мужик– говорим,– получил землю шесть метров всего –навсего, на каждого солдата по два?

А он что –то как забормочет, но дара речи не потерял, уменья считать и рассчитывать тоже. Вот подохла у него курица, у нас бы её выкинули, да и дело с концом. А тут сбежались немецкие деды и давай мороковать, что бы это с ней сделать? Решили: перья в подушку, косточки пустить на удобрение, а в мясо «каустнику» добавить да мыло сварить. Вот какой народ они, эти немцы. Оттого со своим малым ресурсом и воевали они да поры до времени со всем остальным миром...

Так, помнится, рассказывал мне Демьяныч за чаепитием во дворе у него, под ракитой.

От бауэра Демьяныча забрали в концлагерь, кажется, в Дахау. Ну тут он и вкусил всего, отчего домой в Россию, сюда– в Косарёвку, вернулся худосочным, бледным, как спирохета. Зато с большим жизненным, можно сказать, международным опытом, а уж со знанием немецкого порядка, это точно, никуда не денешься. Хватил всего по самую завязку.

– Ну и что ты, Демьяныч,– спрашиваю я его,– ненавидишь, что ль, немцев?

– Да ну, что ты!– удивляется мне Демьяныч и хлоп – хлоп белёсыми своими ресницами.– Зачем мне их ненавидеть? Я у них хорошую школу прошёл, всему, можно

сказать, обучился. А главное, отношению к делу. К немецкому порядку они меня приучили.

– Так ты что, Демьяныч,– насторожился я,– стал патриотом Германии?

– Что ты?– рассмеялся Демьяныч.– Родину у меня не отнять. Не отнять моей Косарёвки! Вернулся я обратно сюда. А жить надо, выживать на разорённой земле. И занялся я этой самой пчёлкой. Божья тварь, муха, а стала кормить меня, содержать... даже лечить...

«Вот она,– думаю,– та пружина тайная, которая не дала не то, что пропасть Демьянычу, но даже поставила на ноги. Заставила всех людей по округе уважать его, звать просто Демьяныч». Так подумал я впервые о роли Германии, не Гитлера, не вермахта, а народа немецкого во внешнем мире Демьяныча, что осталось в его русской душе. И вскоре я убедился в этом. Стал выдавать замуж Демьяныч дочь свою Галю. Нашёл ей какого –то бугая, тоже с белёсыми ресницами, Игнатом зовут. Родила Галя от него сразу двух сыновей, родились они слабенькими. Демьяныч выкормил их медком и печёнкой.

И только потом уж узнал я, что муж Галин Игнат из немцев Поволжья, приехал сюда, во Мценск, из Казахстана. «Ничего себе,– думаю,– этот Демьяныч с русской душой. Это все,– думаю,– та самая пружина движет Демьянычем, та самая тайна, которая движет мной в наших с ним отношениях, в том, что Демьяныч твёрдо стоит на ногах».

А ещё что, какая ещё в нём тайна? Какая вторая пружина? Есть ли ещё у него какая подпора? Не может же человек на одной подпоре держаться? Как и все, на своих на двоих покамест да ещё и руками себе помогает.

Ну кто такой Демьяныч по профессии? Да всю жизнь пчеловод, пасечник, с божьей тварью дело имеет. А пчёлка умнее может быть человека. Посмотрите, как всё у неё распределено, как всё по порядку. Встаёт с солнцем и летит за

взятком хоть куда, далеко или близко. Несёт она нектар в улей, прилетит точно в свой леток, никуда не отклонится. А за всем в рое следит матка пчелиная. Как президент какой, она тут командует, все дела между всеми распределяет. То рабочая пчела, а то трутень. Трутень от ос, от шершней пчелиного «волка»– рабочую пчелу защищает, а когда перестанет защищать, крылышки трутню откусит и … прощай...

Прости, прощай!

А пчёлку в улье защищай!

Вот такие слова в душе моей возникали, когда я сидел с Демьянычем возле ульев на его Абрикосовой пасеке. А ведь это не просто пасека, не просто Жанова горка. Здесь жил когда-то и работал с пчёлами Абрикосов по имени Жан — знаменитый учёный – пчеловод, написавший множество книг. Сюда к нему приезжал Лев Толстой, когда, бывало, ехал в Кочеты, по ту сторону речки Зуши, к дочери своей Татьяне Сухотиной. Тут вот, под вековым дубом, и сиживали они, как мы с Демьянычем, за самоваром. Пили чаёк с медком, заваренный душицей, вели задушевные беседы о пчёлках божьих, о боге и людях, обо всём русском народе. А потом и мы с Демьянычем сиживали за столом на той же Жановой горке, гоняли чаи. Вот он, на фото, тот столик.

Вот ещё какая, оказывается, тайная пружина зрела в душе Демьяныча и, раскручиваясь сама собой, вела его душу от высот духа к жизненной повседневности. Давно бы кончились у меня разговоры с Демьянычем, если бы дело было только в нём одном, живущем тут, в средней полосе. А то ведь вон куда жизнь указывает, куда втягивают нас жизненные обстоятельства. Пишу вот, а в Петербурге саммит «двадцатки». Главы двадцати государств собрались обсудить кризис в экономике, в Сирии. Ну и причём тут, скажете, Демьяныч? Нет в живых Демьяныча, и нечего ему косточки мыть. А вот, оказывается, и есть о чём пораскинуть мозгами, подумать, глядя на этот самый «саммит». Всё тот же авиано-

сец «Немец» или, как его «Нимитц», движется по Средиземному морю в сторону Сирии, и выпускают они баллистические ракеты на Восток, по направлению к России, на которую уже дважды в прошлом веке ходили с запада на восток немцы, то есть Германия на Россию. И вот под Питером в Стрельне, в Константиновском дворце, Ангеле Меркель– канцлер Германии, несмотря ни на что, вроде держится на своём. Не подписывает соответствующие бумаги, и всё. Вроде в её лице научена Германия горьким опытом, Берлин так разрушен был американцами, что, кажется, ни одного старинного здания, все новоделы, кроме рейхстага. И когда кто-то направляет ракеты на Дамаск, Ангеле хочется чего – то ангельского, человеческого: бомбить кого –то не хочется.

Но в последний день проснулось в ней прежнее, взыграло. И пошла она по одной дорожке с теми, кто хочет большой войны, какой не хотят народы, хотя бы тот же Демьяныч. В год, когда упасть Демьянычу с ракиты, получил он бумагу, из какой следовало, мол, приезжай в Германию, посмотри на нас, оцени, какими мы стали, как, значит, мы переменились. Стал Демьяныч собирать на дорогу германские марки, которые ему платили в качестве репараций за подорванное в Дахау здоровье, принялся подучивать немецкий язык, который он успел подзабыть тут у себя, в средней полосе, после плена в Германии.

Скажете, не бывает немецкой Германии, так же как русской России? Всё бывает. Даже то, что Демьяныч может ожить, если ему сказать, что их канцлер опять подписал бумагу, что Германия снова не против идти на Восток. Вот что может сказать на это Демьяныч:

– Горбатого могила выпрямит.

А потом подумает, ещё подумает как получше да и скажет мне, а я подпишу такое вот на бумаге, рассказ называется. К Абрикосовой пасеке один путь из Косарёвки– мимо деревянного креста с той самой отметиной. Солнышко

припекает, чёрное поле парует вовсю. На пасеке и вовсе теплынь. «Пусть ещё пошевелятся, потрудятся пчёлки»,– решает он и вынимает пучок травы из летка. Выползают пчёлки– одна, другая, десятая. И, словно сговорившись, летят на Алёшню. «За мёдом летят, вылился мёд из бака,– вспоминает он и спешит открыть пошире леток.– Сказать кому, а? Взяток осенью из подснежников. Всё у пчёл на учёте. А медок, что остался, завтра же отвезу ребятишкам в Подбелевскую школу. И светлячку –карапузишке, что встретился мне, когда был я у них там, в Германии. Пошлю в посылке туда ему мой самый главный медок».

Вот что скажу я, когда в другой раз побываю у Демьяныча на Радуницу, в день поминовенья усопших. «Оставайся, Демьяныч, с нами, всем миром пришли к тебе поклониться. Низкий поклон тебе, друг мой, владей миром, Владимир Демьяныч!»

27 ноября 2013 года.

Нюра – это по– нашески, по– деревенски

Председатель сельсовета привёз меня в посёлок Синяевский на мотоцикле, представил соседям Сухоруковым:

– Вот тут, на краю посёлка, он и будет жить. Так что любите и жалуйте.

И укатил той же дорогой обратно к себе в Подбелевец. С того и началась моя жизнь в этом красивейшем месте нашей орловской Швейцарии. Через Суходол, на Жановой горке, был когда-то хуторок Затишье, куда к учёному– пчеловоду Абрикосову и приезжал Лев Николаевич Толстой. Поселились мы всей семьёй в избушке, стали нас привечать не соседи Сухоруковы, а Тихоновы Нюра и Иван, которые жили на середине посёлка, этом столыпинском «отрубе», состоящим всего из семи дворов. И молока Тихоновы давали

нам, и даже яиц, и на первое время картошки. За хлебом мы ходили в Подбелевец.

Главной у Тихоновых оказалась Нюра– человек щедрый, разумный, вроде Демьяныча. «Что это она,– думали мы, — всё за так нам даёт? Да ещё и за стол вечерами сажает?» Относили мы это на счёт малолюдья на посёлке, дефицита общения. Словом, отношения у нас завязались хорошие, даже замечательные. Сидим, бывало, вечерами и ведём разговоры на всякие темы. Нюра, конечно, предпочитала свои, крестьянские темы– про себя, свою жизнь, про людей окружающих, вспоминала всякие случаи, которые слушал я не без любопытства. У Нюры была ещё жива мать– баба Дарья Ивановна, которой всегда не терпелось вступить в разговор и рассказать, что сама видела, собственными глазами, давно когда-то, ещё до революции, при Абрикосове, к которому на хутор приезжал Лев Толстой.

Добрый был Абрикосов этот помещик мелкопоместный, – присаживалась она на скамейку во дворе. – Сад у него на Жановой горке большущий был. Так позовёт он, бывало, нас отсюда, с посёлка, яблоки сушить, варенье варить, расплачивался щедро. Денег давал да ещё и яблок, варенья надаёт по завязку: несите домой.

Вот какой ключ к Нюре дала мне её мать Дарья Ивановна, почему я стал воспринимать Нюру не просто как крестьянку, главу семьи при живом –то муже Иване, но ещё и как человека разностороннего, довольно умно глядящего в разные стороны. Как создали семью они, так всё у них стало потихоньку налаживаться. Перешли они с горки на посёлок, поставили дом деревянный, под железной крышей. Сараи всякие, освоили сад, огород. Корову, коня купили, уток, кур развели, каждой твари по паре.

Когда дети подросли, пошли уже в школу – Галя и Вовка, так она подружилась с подбелевским директором Клавдией Петровной Костаревой, биологом по специальности. Когда мясца ей подбросит, когда отвезёт молочка. В

общем, кругозор у Нюры появился, колесо обозрения, предвиденье и расчёт в борьбе за существование. Недаром муж Клавдии Петровны Михаил Егорович, ветеран войны и даже инвалид, называл её «начальником штаба».

«Ну хорошо, – думаю, – Клавдия Петровна нужна Нюре. Всё же директор, польза от неё для детей Нюриных. А я для чего? «Химически» работаю, за столом письменным, а книжек она не читает, разговоры литературные ей до фени. Скорее, мне с ней интереснее.» В Крым семьёй перестали мы ездить, тут тебе и курорты, в этой орловской Швейцарии, и словечек всяческих из народных недр навалом. Так годы и длились, пока дочки Гали не стало, зато её дочка Леночка подросла.

Нюра уж и её Галей зовёт:

– Галь, пойди сюда.

– Да не Галя я, не Галя тебе, а Лена.

– Ну Лена, да, Лена, Леночка.

Так вот, заканчивать Лене среднюю школу во Мценске, дальше надо куда-то двигаться, Нюра к нам и обратилась:

– В институт бы Лене –то, она учиться способная.

Это одна история, а другая совсем, кажется, ни в какие ворота не лезет. На посёлке у нас появился, кто бы вы думали, артист Лановой, Василий Семёнович. Сначала я даже не поверил, что это брёвна на тот конец посёлка привезли Лановому для строительства дачи. И вот Лановой объявился у Нюры. «Ну, зачем он ей, народный артист СССР»? И жена его Ирина Петровна Купченко стала приезжать сюда из Москвы и тоже к Нюре уже после того, как вырос коттедж Ланового. Но у Ирины Петровны сразу обозначился интерес. Во –первых, она снималась в кино, играла роль тургеневской девушки, вживалась в образ в этих мценских местах. А тут, на том краю посёлка, практически с кем ей общаться? Вот и стала она суходолом бегать из посёлка в Подбелевец, к одной учительнице. Это понятно. А вот с самим Лановым Ню-

ра в каких отношениях, не пойму. Ну на кой ей артист, думаю, если даже писатель в литературных местах ей не больно –то нужен? Молоко Лановой не пьёт, фигуру держит. Приезжает редко сюда, а как приедет, так к Нюре с бутылкой для Ивана.

Но внутренне Нюре всё интересно.

Однажды я застал Василия Семёныча у Тихоновых за столом. Ну и меня посадили на моё обычное место. А и у Ланового своё местечко уже завелось. Поставили бутылку посерёд стола.

– Это,– говорит Лановой,– от Кучмы, президента Украины. А я,– говорит,– президент в Москве российско – украинского общества. Родом –то я из –под Одессы. Если кто Лановой, то значит, из нашего села. Был однажды в Киеве с такой фамилией Председатель Совмина.

Это Лановой говорил ещё до 91 –го года. А после, помню, прибегает он ко мне на другой край посёлка. Весь дрожит. Вошёл ко мне в хибару, огляделся и говорит:

– Слыхал по телевизору «Лебединое озеро» передают?

– Слыхал.

– Ну и что, Михалыч, делать будем?

– Как что? Родину любить, будем трудиться.

Тут же укатил Василий Семёныч в Москву. Через день приехал на посёлок Серёжа Карпов– Нюрин племянник, сын сестры Нины– да и сообщает:

– Звонили вчера, «Волгу» у Ланового сожгли где-то там, на Арбате.

Нюра так и присела на лавку. А Иван пошёл корову пасти в суходоле, корова тогда ещё была у Тихоновых. С той поры Лановой почти перестал показываться на посёлке. Потом я узнал, что Василий Семёнович ходил к Тихоновым не зря. Это Иван крыл ему крышу, окашивал вокруг дома бурьян, посматривал, чтобы дом не сожгли. Как перед 1905 годом, пошли по России пожары. И по сей день с весны катят они по полям и обочинам. Вот хлеба и стали сеять почти без

соломы, один только колос, гореть нечему, и огонь с полей перекидывается на леса, перелески.

Собрала Нюра на Покров всех оставшихся в живых родичей, род свой, в основном живущих во Мценске. Дальше Мценска никого не отпустила, даже в Орёл, не то, что мценские– в Москву, а московские– в Голландию или Америку. Так вот, собрала Нюра сородичей, род свой крестьянский вместе с родом Ивана, раскиданным по деревням– в Проказинке, за Высоким, в Козюлькино, в Красных Рябинках. Собрала всех в своём доме, в передней, рассадила по местам, за которыми сидели у неё кто где когда, в разное время. На месте Ланового в торце стола Серёжу Карпова, племянника своего, посадила. На моё место, спиной к окну,– сына своего Вовку. На месте Гали Лена, конечно, села– внучка Нюрина. Иван сел, где и сидел, напротив окна, а сама Нюра села, где когда-то сидела мать её Дарья Ивановна. Ну прямо –таки военный Совет в Филях, где сама она, как Кутузов, во главе всего, «начальником штаба». Так будем сдавать Москву или не будем? Какой самый вечный вопрос? Переезжать им с Иваном во Мценск, к Лене туда поближе и к Серёже Карпову, на «Коммаш», или тут оставаться?

Выдвигала Нюра такой аргумент за переезд: посёлок совсем обезлюдел. Ни Лановой давно уже не появляется, ни даже Михалыч на целое лето. На зиму в посёлке остаются одни они с соседом Василием Ушаковым. В том году Валя, его жена, померла, и теперь Василий один тут с собакой да курами. Да и у Нюры здоровье совсем никуда.

А зимой теперь вместо хлеба Нюра блины печёт. Толстые такие, кислые, на дрожжах. Этак вкус хлеба потеряешь, что за жизнь без насущного? Никакой тебе жизни, месяц, другой и дойдёшь потихоньку, доходягой станешь.

Конечно, военный Совет в Филях как один заявил Кутузову: Москву не сдавать, так и родня в один голос решила Нюре: переезжать! Позвонила Нюра мне в Орёл, обрисовала картину. Думаю день, думаю два, на третий день кое –что в

мозгах стало проясниваться. Скажешь Нюре, как и все: переезжай– вроде её не жалеешь. Скажешь, оставайся на зиму, так ещё и обидится. Тебе бы такую жизнь. Сам, небось, живёшь в городе с горячей водой да со свежим хлебом каждый день, какой хошь покупаешь.

А потом всё же надумал, что сказать Нюре, чтобы не обиделась. Сотовые теперь у всех, можно звонить по мобильнику в любое время дня и ночи. Звоню и говорю Нюре:

– Ты –то сама как думаешь? Ну, оставите вы с Иваном хозяйство, а дальше что?

– Дальше?– говорит она.– Может, Иван один поживёт, я одна перееду?

– А ты спроси Ивана, останется он один на зиму или не останется?

Через день мне Нюра звонит уже сама:

– Дом жалко, хозяйство какое... Растащут, сожгут... Всю жизнь горбячили...

– Дом,– говорю,– дело наживное, а тут,– говорю,– здоровье.

Завздыхала Нюра, и отключился мобильник. А через день Нюра опять мне звонит:

– Михалыч, ты всё же так и не дал мне совета: переезжать мне на «Коммаш» или не переезжать туда, к Леночке рядом?

Сделал паузу я и говорю:

– Спроси у Ивана, что он у тебя всё молчит да молчит. Всю жизнь ты за него решаешь, начальник штаба. Любое дело как будто его не касается. Может, и он во Мценск с тобой навострится.

– Спрошу,– говорит.– Как же раньше я не догадалась спросить у него.

Рано утром Нюра опять звонит и говорит решительно:

– Нет, не поеду в город! Останемся тут, на блинах будем зиму сидеть, зато вместе.

– Что Иван –то тебе сказал?– допытываюсь я. – Что

сказал тебе Иван твой? Что Иван сказал тебе, Нюра?

Пауза. Долгая пауза. Потом всхлипы. И сквозь слёзы такие слова:

– Да вот что сказал. Ты уедешь, а я один тут помру. И двух месяцев не проживу.

Так они во Мценск и не переехали. И живут уже два года. И ничего. И здоровье у Нюры наладилось, и Иван завёл коз вместо коровы и поит Нюру козьим молоком. Очень полезно, говорит, для здоровья. А все мценские их родные в самую снежную пору по очереди прорываются к ним сюда в посёлок Синяевский. То Леночка с мужем, то сын Вовка, а то и Серёжа Карпов. Привозят хлеб недельки на две и ещё кой –каких продуктов, а так, кроме хлеба, у Нюры с Иваном всё есть.

Звоню под Новый год, поздравляю Нюру с Иваном, слышу Нюрин голос.

– Ну как вы там?– спрашиваю.

– Да ждём своих,– отвечает радостно Нюра.– Ёлку уже нарядили, телевизор включили. Сидим вот и ждём. Вот, думаю, некуда нам ехать из дома, всю жизнь вместе до самой смерти. Иван в город не поедет, а я его одного тут не брошу.

Вот, думаю, что такое начальник штаба. В любом возрасте, при любой ситуации.

Тут, в посёлке Синяевском, я и написал на следующее лето «АрсенияЧигринева»– первую часть своего романа в стихах, про любовь.

13 декабря 2012 года

Книга — это наше всё

(визит в библиотеку)

«Пушкин — это наше всё», – сказал когда-то Аполлон Григорьев. Мне хотелось бы перенести его выражение вообще на книгу, а в связи с ней в какой –то мере и на хранилище книг– на библиотеку. Конкретно на Малоархангель-

скую районную библиотеку, с которой я лично связан узами жизни и творчества.

С чего начинается Родина? С осени сорок первого, когда мне было лишь шесть лет, и я ещё не умел читать. А книги увидел впервые, и они поразили меня– огромные, в коленкоровых переплётах. И поразила меня сама ситуация, при которой увидел я эти книги...

Война идёт. Наши войска покинули Малоархангельск. Безвластье– это самое страшное, что может только вообразить любой житель городка, жутко даже и для детей. И что добавляло страху, так это то, что увидел я тогда тут, где сейчас памятник Ленину. Книги валялись разбросанные по земле — огромные, и ветер перебирал страницы. Такова была моя первая встреча с книгой. А книги эти были из библиотеки, что была тут рядом, в доме вдоль по Советской улице. Дверь хлопала по ветру, как и листы валявшихся книг.

По городу поползли слухи, что это какие –то разбойники бросили под ноги книги– наше национальное достояние. А ведь они из бывшей библиотеки князя Куракина, часть их при экспроприации забрали в Москву, в главную библиотеку страны, а часть тут осталось. И вот теперь они валялись у всех на виду. Страх перед неизвестным, что будет с нами, переходил в жалость к этим большим, толстым, неповоротливым книгам, а жалость объяла вдруг скорбь. Так я узнал, что в нашей районной библиотеке существовала своя история, давние, ещё уездные традиции, которые никуда не деваются, даже когда библиотеку эту сожгли в 43 –м в битве на Орловско –Курской дуге.

И вот я уже писатель. Наверно, настоящий, если за плечами у меня десятки книг в поэзии, прозе, драматургии. И, видать, неплохие, если верить людям на презентациях. А всё началось с тех беспризорных княжеских книг на земле, со страниц, вырываемых ветром. А потом ещё и с того частного дома Митрошки Кононова напротив нашего дома, че-

рез дорогу, где прямо на газете лежали аккуратными стопками книжки, пахнущие свежей типографской краской. И это было уже в 43 –ем, а позже магазин назывался почему – то «КОГИЗ». Всё это было уже на другой улице, в конце её, куда нас временно переселили из дома нашего, сожжённого немцами, что стоял на том месте, где напротив теперь белеет мрамором Пушкин.

Вот и начинается новая, послевоенная история Малоархангельской библиотеки с этой нашей Пушкинской улицы. Так с чего же конкретно она начинается? А с того, что сразу же после освобождения города 23 февраля 1943 года мы с моим другом Володей Ефремовым пришли в пустой дом, где теперь музей Боевой Славы, постелили на цементированный пол газетку и на неё положили книжку.

– Придёт кто– нибудь, увидит нашу книжку,– сказал Володя.– Возьмёт её почитать, а вместо неё положит свою. А мы с тобой возьмём её и тоже прочитаем. Так и пойдёт, и это называется библиотека.

Так оно и получилось. С того и началась на нашей улице после войны районная библиотека. Дело в том, что мать Володи Вера Ивановна была библиотекаршей, и в доме у них, конечно, ценили книгу, знали в ней толк, понимали, как надо с ней обходиться.

Такая вот предыстория районной библиотеки на нашей улице. А сама история библиотеки такова. Библиотеку открыли в другом домс– за Администрацией района, тут она, под ёлкой, долго пребывала, пока я среднюю школу заканчивал, в институте учился. В это время рядом новую библиотеку строили, дом попросторнее, с книгохранением. Туда и переехали, перевезли книги. Это почти на нашей улице, чуть в сторону– на Октябрьском переулке. А книги для детей отделили, детскую библиотеку создали, так она перебралась на Красноармейский переулок.

И вот подоспело время городской библиотеке опять переезжать. Два пути было: или на Ленинскую улицу, где был до того райнарсуд, или сюда, на нашу же улицу, где она сейчас. Но, видимо, есть что –то свыше: сюда, где была поликлиника, поближе к бюсту Пушкина, и переехала библиотека. Где теперь и хранятся книги: на верхнем этаже– взрослая библиотека, на нижнем– детская. Мы с сыном теперь ходим сюда, встречаемся с классиками, презентуем свои собственные книги.

Почему так подробно описал я путешествие библиотеки по нашей улице? А чтобы прошлись следом пешочком по городу нашему читатели, чтобы никогда не забывали они пути –дороги дорогих душе нашей книг. Чтобы, как говаривал Пушкин, не заросла к библиотеке «народная тропа».

Библиотеки в Малоархангельске (а теперь их две — взрослая и детская) почему уникальны? Не только потому что в них когда то числились куракинские, княжеские фолианты, но ещё и потому, что тут есть хорошие книги, которые мы всегда любим читать, потому что в них хранятся теперь и наши с сыном книги– детские, взрослые, художественные, научные. Кроме Малоархангельска, они есть еще только в Москве – в Российской библиотеке и в Орле, в библиотеках имени Пушкина и имени Бунина; тут хранится столько же наших книг, хотя и в немногих экземплярах, но практически все, изданные нами. Всякие — проза, поэзия, драматургия, детские и взрослые, с фото и нотами, песнями, в том числе про город наш Малоархангельск – это моя малая родина, «глубинка русская моя».

Мы тут живём, на видном месте,
Как раз меж Курском и Орлом.
Где ключ Оки, родные песни
И синий –синий окоём.

И вот издал я этим летом книгу к 235 –летию города. Так и назвал «Малоархангельск. Глубинка русская моя». А мне библиотекари и говорят:

– Давайте мы проведём её презентацию.

– Давайте, – говорю. – Только позже. После Дня города, когда люди да и я сам разделаемся с огородами.

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день.

А всё никак времени не найду. То одно, то другое. Наконец, говорю директору городской библиотеки Людмиле Викторовне Павловой:

– Давайте в пятницу соберёмся. Скажите и заведующей детской библиотекой Ирине Анатольевне Наумовой. Пусть люди и из детской библиотеки подойдут.

Нужно сказать, что я хорошо знал библиотекарей не только нынешнего, но и более ранних поколений. Например, маму Ирины Анатольевны, она тоже работала в библиотеке. Сейчас их дом называется по фамилии матери Ирины «христоповским». С отцом Ирины я, бывало, на стадионе играл в волейбол.

Утром в пятницу раздаётся стук в калитку.

– Кто там, почтальон Печкин?

– Да нет,– стоит, переминается передо мной Людмила Викторовна.– Мы пришли извиниться! На три часа в кинотеатре «Колос» намечено мероприятие «День учителя!»

– А мы на сколько наметили?

– На два.

– Вот и замечательно,– говорю.– «Колос» рядом, три минуты ходьбы. А в библиотеке мы проведём презентацию, за академический час... И даже на вопросы ответить время останется...

Так оно и было. И вопросы, и ответы. И шутка, и серьёзный разговор о библиотеках района, о судьбе книги.

– Нет, – говорю, – живая книга никуда не денется, не заменится никаким Интернетом. Пока мы живы: писатели и читатели... и, конечно, библиотекари... такие энтузиасты, как вы...

– Что мы проводим,– говорю,– тут с вами ежегодно у памятника Пушкина?

– День рождения Пушкина, в июне, у его памятника.

– А ещё?

– День Русского языка, того же числа, в школе.

– В последний раз где мы виделись с вами? – спрашиваю.

– На народном празднике святой Троицы, на стадионе.

– Верно. А в самый последний раз?– спрашиваю.

– В центре Малоархангельска, на Центральной площади.

– На юбилее города? – подмигнул я им.– Когда приезжал к нам сюда губернатор, и я вручил ему книгу о Малоархангельске?

– Да к нам сюда и президент приезжал в 2009году,– смеются в ответ мне библиотекари.– Шёл возлагать цветы к памятнику героев как раз мимо наших окон.

– Конечно, – говорю.– Другой дороги тут нет, только тут и идти... Разглядели хоть вы себя в книге о Малоархангельске? – отвечаю я на иронию иронией.– И сегодня вы здесь и сейчас. Вместе с моими книгами...Вон сколько у вас их тут набралось...

Беру со стенда книгу свою о Малоархангельске, листаю.

– А –а, вот вы где, дорогие мои читатели и почитатели,– улыбаюсь я собравшимся в читальном зале.– А это вот снимок тут, через страницу. Вот уже куда пробрались наши с Игорем книги– во Францию, в провинцию Шампань –Арден, в Реймс. А это вот в медиотеке француженки Аник Плет с нашими книгами.

– Давайте,– говорят,– мы ещё раз сфотографируемся с вами на память.

– Ну что ж,– шучу я, пожимая плечами.– Когда сами снимаетесь, то просто фото. А когда со мной, то, возможно, попадёте в собрание сочинений... Ну, вот академический час и закончен. Вас ждут в «Колосе» работники народного образования. Как раз управились... Что тут, три минуты ходьбы...

– Леонард Михайлович, идёмте с нами. Вы ведь тоже тут были учителем! И в Губкино, и в Луковце, и в Малоархангельске...

– Да, был когда-то учителем. И русского языка, и литературы, и истории. И даже физкультуры.

– Но это вы всё шутите?

– Какие шутки! Был чемпионом области по волейболу и в Орле, и в Курске.

А книги смотрели с полок на нас и вдохновляли на жизнь «Пушкин– это наше всё»,– кажется, говорили они.

7 октября 2013.

У Толстовского родника

Кочеты лежали тремя отдельными деревнями. Главная дорога вводила меня в бывший помещичий сад, где теперь восьмилетняя школа.

Сад как сад, обветшалей обычных. Щемящее чувство заброшенности усиливается, лишь спустишься к пруду, на поддонный голос лягушек. Цветы водосбора — розовые, синие — колотят головками по коленям, плечо трогает куст волчьей ягоды, когда намекнувшейся тропкой врезаешься в околопрудные заросли.

С трёх сторон пруд охвачен зелёной подковой, с четвёртой — в отдалении хаты. Ивы, орешник, ракиты, береговая трава кое –где заходят в самую воду.

– Глядите: какая же синяя!– с восторгом говорит Егор Кириллович– из здешних, лет сорока пяти, лобастый, с живыми глазами, подрядившийся показать мне Кочеты.

– От глубины?

– Да. И от чистоты... Лев Николаевич Толстой наезжал сюда в последние годы к зятю– помещику Сухотину, к дочери, которая была за ним замужем. К Тане. Говорят, Толстой любил этот пруд. Сиживал здесь вечерами... Да вон на том бугре живёт Фроловна, она ему хоры и собирала.

И вновь мы идём через заросли. Предки Егора Кирилловича были здесь крепостными, гнули спину, может, и в этом саду, а вот он, Егор Кириллович, теперь в родимых местах учитель истории, директор той самой школы, что глянула на нас из –за старых лип большими и чистыми окнами. За разговором мы углубляемся в сад. Слабо угадываются аллеи, чернеют дубовые пни в два ряда — плоские, словно столы, на которых можно отобедать не меньше как пятерым. А кругом самосев, он развился в подлесок, в частые тощие клёны. Под ними ровная зелень хвоща. Сочится ключами берег. Всё тенисто и сумрачно, и немного таинственно. Где-то здесь похоронена внучка Толстого.

– А вот и родник,– останавливается Егор Кириллович.– В народе бают: если пить эту воду– укрепляется зрение, проясняется разум. Этой стёжке уже тыщу лет. Ходил к роднику и Толстой

Вода как вода. А смотришь в неё– как не задуматься? А задумаешься– обольёт она душу и заставит замедлиться в жизненном беге, просветлеть в мысли: а как и чем живёшь ты, человек?..

От родника стёжка выводит к школе. Липки перекрывают натоптанный двор, делают его зеленовато –тени-

стым, уютным. Давно уж пропали старые, сухотинские липы, это их отпрыски. В классах, куда заходим, на столах охапки сирени, бело –розового водосбора. Шёл экзамен по литературе. На доске полустёрто написанное мелом– темы, наверно. Не по Толстому ль? Вот за этой партой сидел какой –то кочетовский мальчишка, морщил облупленный нос, и брезжил перед ним в своей смутности сложный человеческий путь...

Тележный след поднимался к строениям. Я поразился тому ощущению свободы и лёгкости, которое давалось простором и неоглядностью, открывшейся с сухотинской усадьбы, обсаженной дубняком. Даль синела слоями километров на двадцать, у горизонта пыхтел паровозик.

– Благодатное, Марьино,– кивнул неназойливый Егор Кириллович.– Лев Николаевич писал: если бы Наполеону пришлось давать сражение в этих местах, для своей ставки он непременно бы избрал Кочеты. А это амбар. Смотрите– замчище. Говорят, времен Льва Толстого. А здесь стоял каретный сарай. А вон там подвалы. Вековые. Думалось, не будет им слому....

Егор Кириллович как-то никнет. Энергия, которой полнилась вся его небольшая плотная фигура, пропадает, лицо становится мягким и вялым. Проходим мимо обветшалых подвалов. К флигелю. Здесь когда-то была библиотека, вот у этих оконцев читывал книги Толстой. Серый кругляк, обшивавший кирпичные стены, кое –где обвалился, обнажив бурую кладку. Время расшатывает и её. Один угол строения сгорел, другой подгнил и осаживается.

Егор Кириллович оживает, когда речь заходит о делах школы, совхоза, о передовых кочетовцах. Прошлое переплетается у него с настоящим, о прошлом он говорит так, словно это было недавно, вчера.

– А это вот что?– отвлекаюсь я, глядя на заросли диковинных растений у флигеля: лист разлапист, как у подсолнуха, но не шершав, глянцевит.

– Может, лекарственное?– гадаем мы с Егором Кирилловичем.– Иль декоративное?

– Груша это,– подходит старуха,– груша и есть... Земляная. Господа зря сажать не будут.

– Настасья Фроловна Федосеева,– наклоняется спутник ко мне,– урожденная Сенюшкина. Луке Артёмычу Сенюшкину, здешнему революционеру, двоюродная сестрица.

– Так вы сестрой ему будете?– спрашиваю я и настраиваюсь на долгий разговор.

– Да. Двоюродная,– поджимает сухие губы старуха.

– Старинную жизнь помните?

– А как же ж, помним.– Голос у Фроловны ещё сильный и ровный, глаза смотрят с прохладцей, словно бы изучают нового человека. Лицо строгое, с тонкой, прозрачной кожей.– Помним и братца своего, и Льва Николаевича.–И начинает сразу, как-то заученно:

– Я была у господ подрядчицей, набирала девок дорожки подбивать в парке, за цветниками ухаживать. Начинали от круговых дорожек у пруда и шли выше, сквозной аллеей, до господского дома.

А насчет этой груши... Господа эту самую грушу частью тут потребляли, частью отсылали куда-то. И ещё спаржой занимались. Сеяли во –он на том месте, где сейчас Танька Скворцова живёт... Но, скажу, хоть и был у меня деверь в поварах у господ, а какие –такие бисквиты эта самая спаржа и груша– не знаю, не пробовала. Суръёзный был наш хозяин– Михал Сергеич...

И вновь поджимает губы Фроловна. Они уходят куда-то внутрь, и тогда острее становится подбородок, выделительней нос, в уголках губ ложится жёсткая складка.

– И вот появляться у нас начал Толстой.– Старуха глядит, не мигая, и всё в одну точку, вызывая в памяти воспоминания.– Так, сам он вроде мужик: в длинной светлой рубахе, бородка надвое раскидывается... Приезжал со своим врачом Душаном Петровичем, до осени и гостил... Любил с Лукой Артёмычем, с моим братцем, беседовать. Подрядился, помню, Лука крышу господскую красить. Слезет с крыши разводить краску, а Толстой разговор и затеет. И сидят на плетёных диванах под илим –деревом, всё толкуют да кофий ли, чай ли там пьют. А про что толковали — не знаю. Лука Артёмыч тогда уж с большевиками водился. А вскоре Лев Толстой пришел в деревню Весёлую, собрал всех мужиков да вот так и скажи:

– У помещиков, у зятя моего Сухотина, сейчас всего много, на серебре едят. А у народа куска нет. Нехорошо. К чему это привести может?

А вот и привело. Брат –то мой, Лука Артёмыч, ушёл из деревни в матросы, долго от него вестей не было, а потом пошли кругом митинги. Слышу: в уезд приехал мой братец. Побежала туда, а там в кумаче улицы и знамёна, словно хоругви, и Лука Артёмыч что тебе генерал: не подступись. Народ стеной за ним, и все с револьверами! Слух прошел: власть Советскую Сенюшкин провозглашает... После к нам в Кочеты приехал коммуну устраивать. Жизнь всю прежнюю переиначили...

С какой –то тайной грустью говорит Фроловна о прежнем. Как все прежнее волнует её. Почему? Да ведь то её молодость, золотистые косы.

– А ещё хотела сказать,– шевелит губами старуха,– любил Лев Толстой слушать всякое. Сойдутся мужики у господского дома, присядут в кружок и затеют про то да про сё. Да вон деды, Квасов и Золотухин, соврать не дадут, их спросите...

Утром Егор Кириллович запрягал мерина, взятого ещё с вечера на совхозной конюшне. Мы отправлялись к дедам,

на вторую деревню. Солнце уже припекало, препятствовало току сырости с пруда. По двору равнодушно ходили куры. Время от времени на яблоне встряхивался скворец, принимался бить крыльями и квохтать по –куриному, представляя куриную панику. Егор Кириллович швырнул на дрожки соломы. Сидел, поджав под себя по –татарски ноги, и снова был оживлён. А дрожки всё тряслись, все звенели колесной чекой.

– Вон то,– показал он через минуту на приземистое, деревянное зданьице,– вон то была школа. Построена для крестьянских детей дочерью Льва Николаевича...

Взобравшись на бугор, проехали полем, въехали во вторую деревню. От колодца, видим, идёт старичок.

– Силён, гляжу, ты, полковник, сам ещё воду носишь,– здоровается Егор Кириллович и в полголоса мне:– Петрович. К нему и ехали.

– Почему полковник?– спрашиваю и я тихо.

– Да ить как не ходить, коли дело велить,– опускает вёдра старик и быстро взглядывает на меня.– У нас в деревне кто коров стережёт, тот и полковник. Вчера был мой черёд.

Проходим во двор, садимся на лавку.

Весь он– в рыжем своём пиджаке, в диагоналевых галифе, в растоптанных кирзовых сапогах– острый, сухонький, рыжеватый, словно провяленный солнцем. По тёмной шее разбегается сетка морщинок.

– Человек вот интересуется,– кивает на меня Егор Кириллович,– как ты, по просьбе Толстого, на свадьбе форейтором ездил?

– Ха –ха –а,– живо смеётся старик, и светло – зелёные глаза его влажнеют.– Нюшка!– кричит он неожиданно звонко супруге в сторону огорода.— Поди покличь Золотухина!.. Вдвоём будет сподручнее,– поворачивается Петрович ко мне.

– С Лёвом Толстым,– вздыхает,– как вот с вами встречался. Я ходил тогда уже в женихах. Лёв Толстой, говорили, супротив помещиков шёл... Нюшка, ты пошла к Золотухину?

– Сичас,– доносится с огорода.

– От дьяволица!– хлопает себя по коленке Петрович.– Не разгонится... Так вот, Лёв Толстой всё больше с нами вожжался, с крестьянами. Заходил что ни есть в бедную хату. Любил особливо к знахаркам. Была тут одна у нас– Любава Васильевна. Святой водицей лечила. А другая, Ульяна, та слово знала от козюль и от бешенства. Нюшка!– кричит он опять на огород.

– Чего тебя мучит –ломаст?!– жена его неожиданно выходит из сенцев и, невозмутимая, плывёт мимо нас, через выгон, к золотухинской хате.

– Книжонками снабжал нас, а то сам читал кой– когда. Поди сюда, скажет, Димитрий, послушай, что я тебе почитаю. А потом спросит: ну как, брат, понятно?

С того края выгона движется Золотухин– высокий, степенный, худой. Несёт тело ровно и бережно. Присаживается, гладит ладонями серебристо –чёрную бороду. Говорит он мало, давая выговориться дружку.

– Про свадьбу –то расскажите,– не терпится мне.

– Про свадьбу?– не спешит выпускать главный козырь Петрович.– Это можно.– Наконец начинает:– Давно это было. Ещё в женихах я был... Так вот, приехал Толстой к нам сюда, в Кочеты. И вздумалось ему сыграть крестьянскую свадьбу. Не настоящую, а так, посмотреть. И чтоб, так теперь рассуждаю, в книгу. Мы играли свадьбу, а Лёв Толстой всё записывал...

Закрыв глаза, я слушаю голос Петровича и вижу всё это так явственно.

На сей раз Лев Николаевич приехал сюда на целое лето. Скрылся у дочери от домашней опеки, от досадных расспро-

сов Софьи Андреевны о завещании, от всего надоевшего... Отцветая, в парке ржавела сирень. Пахло майской землёй. Как всё было здесь просто и хорошо. И снова жилось надеждами, и близка была молодость, когда устами Оленина выразил он такие слова: «Счастье, вот что,– сказал он себе,– счастье в том, чтобы жить для других... В человеке вложена потребность в счастье. Удовлетворяя его эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства славы, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этому желанию. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие! Любовь, самоотвержение!»

В этих крестьянских избах, на виду перелесков и долов, с прежней властью поднималась в нём потребность исканий, быть единым с людьми, думать их думами, любить их любовью.

В этот приезд, когда на душе было особенно смутно, он хотел видеть народное празднество, общее ликование. Может быть, новым страницам суждено будет стать лучшим из всего, что было писано прежде?

Зашумело игрище в Кочетах, томившихся до покоса в некотором неуделии. С женихом трудностей не было, а невесту сыскали не сразу. Наконец, уговорили одну из замужних– Анну, горничную. Послали сватов. Ударили по рукам.

Запестрел луг цветными платками, панёвами. На столах– черепняные чашки, деревянные ложки толщиной в детскую руку, из «казёнки» бутыли, немудрящая деревенская снедь: холодец с хреном, пшённая каша, варёное мясо, шипучие квасы...

Все ждут свадебный поезд. Десяток крестьянских подвод, украшенных лентами и кумачом, выехали в поле. За околицу. К хлебу. Гремит под дугой колокольчик — «дар Валдая». Первым на своем буланом– приосанившийся Ди-

митрий. Летят мимо Душана Петровича, мимо Льва Николаевича. Встречают от венца мать –отец, провожают к столу молодых. Ни жива, ни мертва сидит Анна в своей жаркой панёве, в золотистом кокошнике. Величальную ей заводит девишник:

У нас ягодка красна,
Земляничка хороша,
На пригорочке росла,
Супротив солнца зрела.
Ах, кто ж у нас,
Ах, кто ж у нас разумница?
Ах, да Аннушка умна,
Аннушка да разумна...

А за столами — веселье. Звон бутылок да пересмешки. Кто-то с кем –то перебросился словом, кто-то залился краской, кто-то, захмелев, затевает невесте свою величальную:

Конопель ты моя, конопёлочка...

На него шикают. Высоко и прозрачно ведут женские голоса величальную жениху:

Летел голубь, летел сизый
Со голубушкой.
У голубя да у сизого
Золотая голова,
У голубки, у голубки
Позолоченная.

Наливается силой, плывет молодым величальная, и в такт общей песне начинают качаться ряды — плечо в плечо, плечо в плечо:

У ворот сосёночка зелёная,
Зелёная сосёночка земляная.
У Захара жена молодая
У Яковлевича дорогая...
Белу свету сына породила,

Она свекору, свекрови угодила.

Долго ещё в уже потемневшее небо, в звёзды летят широкие крестьянские хоры, пересмеиваются балалайки, плачут пискуньи –ливенки. Плывут по лугу хороводы. Бежит карандаш по сереющим в сумерках строчкам. Лев Николаевич закрывает записную книжку, довольный — кладёт свободную руку за пояс блузы...

– Нюшка песни вам эти сейчас и представит, к –хе,– откашливается Петрович и возвращает меня в сегодняшнее.– Нюшка! Да где же она?– суетится Петрович.– А вон у золотухинской хаты лясы, гляди, с бабами точит. Нюшка –а!

– Сичас,– не спешит отзываться его супруга.

– А вон –он, за хатами,– оживает степенный Золотухин,– лесок Бездонный. Там ложок двухрукавный. Порточки мы называем... Так вот в сенокос Лёв Толстой в те Порточки похаживал. Возьмёт у кого –либо косу, попробует. Не умеешь косу блюсти– враз поймёт. У тебя, говорит, незакладная. У другого возьмёт: у тебя хороша. И пройдёт несколько строчек. Умел мужицкую работу...

– Нюшка!!– перебивая его, опять суетится Петрович.

– Ну, сичас, сичас,– отвечает супруга с того края выгона. Наконец, приближается к нам.– Чего взмыкался?

– А ты спой человеку песни, какие на свадьбах певала.

– Дак это давно,— ломается Петровичева жена,– это ещё при Толстихе, когда она новую школу построила.

– Во –во,– вскидывается Петрович,– новую школу!.. А за то, что фалетором был, Лёв Толстой заплатил мне десятку, а жениху пятнадцать, а невесте двадцать пять рублей. А Анну мужик после бросил. Пошло про неё по деревне: Захарова, дескать, жена да Захарова, сам Толстой венчал. Так и бросил мужик её. И Захар не женился, бобылём всю жисть прокрутился. Так-то вот. Да... У меня в святом углу патрет Толстого. Смотрит этак сурьезно, ровно святой. А у сына,

так у того есть железный столик, за которым Лёв Толстой сиживал. Из музея приезжали, просили — не отдал...

– Помрём скоро,– вздыхает Золотухин и трёт кулаком сырое, приотставшее веко.– Ничего не нужно будет.

– Как это не нужно?– подскакивает Петрович.– Пока живы, всё нужно. И стол, и патрет, и Лёв Толстой...

Прощаясь с Кочетами, я ещё раз пришёл к амбару, к обгорелому флигелю, к уютной, вместительной школе. Заглянул в окно: на доске детской нетвёрдой рукой было написано: «Широка страна моя родная». Со всех трёх деревень сюда, в запретный когда-то сад сухотинский, сходились ребятишки– потомки тех, давнишних крестьян. И снова виделось далеко. Дорога была вся в ракитах, струящихся на ветру серебром.

22 сентября 1967 года

Утро туманное

Некогда эта дорога — от полустанка Бастыево — лебедино гнулась перед Львом Толстым, Фетом, Некрасовым, Щепкиным. И теперь идут по ней тысячи. В выходной садись в поезд, автобус да сюда, в косогоры, сады, перелески, в тургеневскую обитель, чтобы здесь хлебнуть голубиного света, оживиться душе после стеклистого марта, распахнуться первоапрелю. Жёстко –слякотное двоевластие уже заменилось всевластьем весны, всё обмякло, просветлилось, обтеплилось; деревья стоят накануне зелёного шума — притихшие, чуткие, утопив колени в слоинки тумана. Вскрикнув, скрылась за ними моя электричка, а в груди могуче, непобедимо и властно возникает родное, далёкое:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные...

И звенит все в тебе весенне, ручьисто. В холодающих балках кончаются залежавшиеся снега. И вот оно, знаменитое Спасское –Лутовиново: сельской улицей упираешься в парк. В тот, конечно, тургеневский. Та же справа семейная церковь, тот же «флигель изгнанника». Только сзади него — розовит и пахуч — возвышается сруб из смолистого кругляка. Всё будет тут, как тогда, до пожара. Как в то давнее время, когда маленький Ваня мог часами плутать в переходах большого пустынного дома.

В парк уходишь весь как есть с головой, со всей своей думью –грустью. Бежит, мчится время; что годы— века; вот и парк, некогда юный, состарился, и теперь по –иному смотрятся липовые аллеи, образующие римскую цифру XIX — девятнадцатый век; тёмно –шершавые стволы стоят рядом, сплошной стеной; их сажали так близко не просто: чтоб гнали, тянули друг друга ввысь, и теперь они, густокронные, затеняют собою подсадки. Бежит, мчится время; когда-то на этих аллеях затевались и «Отцы и дети», и «Рудин», и многое из «Записок охотника». К краю своему, ржаному да ситцевому, обращалась страждущая душа: дубу, Родине поклонитесь... А сейчас занедужил тургеневский дуб, вот и лечат, и лечат. Бежит, мчится время, и у пруда Савиной, в загустевших туманах, вновь всплывает, колышется нескончаемое:

Вспомнишь обильные, страстные речи...
Первые встречи, последние встречи...

У колодчика со знаменитой водой стоит женщина. Невысокая, крепкая, в годах. Наполняет бидон слезистой колодезной влагой.

— А что, нет к вам водицы поближе?

— Ближе нет –ти, — хитровато щурится женщина. — Есть, правда, напротив колонка, а мы любим вот эту воду, тургеневскую. От неё голос звончее да чище. У нас, почитай, всё село сюда...

— А на что вам голос, поёте?

— А как же ж! В клубном хоре. Вот как раз сегодня и спевка. Спросите на деревне Галину Яковлевну — я, значит, и буду.

День прошёл в ожидании, в разговорах да в знакомстве с апрельским селом. А оно обжитое, обстроенное, по широкой улице — чистые здания: Дом культуры с библиотекой, контора совхоза имени И. С. Тургенева, магазины, а в конце — двухэтажная школа.

С сумерками я уже шёл на околицу, где держались одна другой три сестры, в девичестве Пасынковы, знающие, как говорили мне, толк в русской песне. Собственно, рядом жили две из них — Галина и Аксинья: младшая ж, Ефросинья, была «на деревне», поодаль, зато к этим двум прибилась, пристроилась сноха Аксиньина — Анна Прохоровна, совхозный ветврач. Так и живут своим крестьянским гнездом они на околице. Все у них на глазах, перед окнами: кто вошел –въехал в село, а кто — на Бастыево. В эти окнушки виделось многое, жизнь мелькнула, как хоровод...

Старшая — Галина Яковлевна, по мужу Уваркина — живёт в третьем доме от края. Дом как дом: обшитый тёсом, глазастый, позавешенный яблонями, вишняком, а внутри привораживает русской печкой. Всё здесь вроде как и везде, но с особым, спасско –лутовиновским колером. На комоде чей –то портрет — узкое лицо, седоватые волосы, мягкий взгляд.

Галина Яковлевна ведёт речь легко и свободно, в меру плавно, спокойно. Бледное лицо её слегка розовеет, морщины растягиваются, но седая пыль на висках, водянисто – голубые глаза говорят, что крестьянская её жизнь была не из легких.

Наработавшись за день в совхозе, поуправившись дома, по одной да по парочкам тянутся к Уваркиным песельницы, перешучиваются, перемигиваются, приодетые, словно на праздник, зарумянившись, захмелевши в предвкушении песни. Сели по стенке, к столу, по душе да под голос, по-

серьёзнели, попритихли: ну, какую? Ветер, сорвавшись с Кобыльего Верха, где Бирюк когда-то изловил мужичонку – порубщика, швырнул в окна крупные капли дождя. И вдруг что –то сверкнуло, прогрохотало, прокатилось и покатилось куда-то за лес, за парк, за пруд Савиной...— гром! Первый, ранний такой, весенний. А вслед ему ещё и ещё. Наддай да покрепче, покрепче!.. И вдруг меж громами возник тонкий, трепетный голос:

Туман, туман при долине...

И громы затихли, словно прислушались, вздохнули ещё голоса, разошлись да подстроились, потянули, повели протяжно и грустно:

Туман, туман при долине,
Широкий лист на малине...

Звенит, серебрит голосом Галина Яковлевна, а напарница ее, Ширяева Мария Николаевна, стелет медным, вторым, погуще. Тут же сестры... Песня, что за диво русская песня! И куда ты ведёшь нашу душу, в какие долины – туманы? И тебя захватила, и другого, десятого да собрала всех вместе в такой, извините, кулак, что попробуй –ка кто разогни — сила силой мы, коль душа в душу, огонь к огню, песня к песне. Только тот песне люб, кто воззнал её с детства, весь проникся её степной ширью, думной глыбью да болью сердечной, да радостью искренней.

По всей лавке, по стенке, гляжу, шевельнулись, задвигались песельницы, переглянулись, колыхнули плечами:

Заря, моя зорюшка,
Зорюшка вечерняя,

— живо и весело заводит уже другую Галина Яковлевна.

Иво –лели, яли –яли,
Яли –ле, яли –ле,

— озорновато, словно перекатывая лёгкие камушки, играют звуками песельницы.

Песня эта знакома, слышана мною и здесь, и во Мценске — одна из величальных Тургеневу, а опять же поди как волнует. За оконцем, во чистом поле, темнеет дубовый мысок– Кобылий Верх. Голоса певуний утекают куда-то, тускнеют, и тогда отчетливей становится ровный голос Уваркиной, повествующий про житьё –бытьё.

— Отец мой, Яков Петрович, — недавнушко помёр — годков сто пожил, помнил, милые мои, Ивана Сергеича. Все, бывало, рассказывал людям... А учился он на усадьбе, в Тургеневской школе. Тургенев сам в класс к ним захаживал, даривал карандаши да тетрадки, а отцу так букварик достался. Всё жив был букварик тот, пока мы с братишками, с сёстрами не растащили его на листочки... А у отца отец — дед, значит, наш, Петр Сергеич — был в селе вроде старостой. Когда умер Иван Сергеич, все в голос, в плач. Собрали копейки, купили венок с лентой «Земляку дорогому от спасско – лутовиновских крестьян», да и послали деда в столицу. А дед не шибко был грамотный, доехал до Москвы, искал – искал в белокаменной, где хоронят Тургенева, да так с венком и вернулся... А хоронили –то в Петербурге...

Все игривей, забористей песня, ведёт за собой голоса Галина Яковлевна, подголоски вьёт Матрена Упатова:

Через лес, через поле,
Через синее море...

—А когда приезжал наш Иван Сергеич из Франции, праздник случался на всю округу. Сходились крестьяне к усадьбе на большую поляну, карагоды водили, стон от песен стоял. Пели ему «Во рюмочке во серебряной», «Розу белорозовую», «Ах, кто ж у нас хорош» и эту вот— «Жёрдочку»:

Как на этом морюшке
Там лежала жёрдочка,
Иво –лели, яли –яли...

Вся светлица полна узорчатой песни, вперехлёст тешатся голоса.

Сидят рядом с Уваркиной сестры: по правую руку — Аксинья, по левую — Ефросинья. Тоже в возрасте, круглоликие, крепкие. Сколько тягот легло на их плечи — и в совхозе и дома — да прошло за всю жизнь через сердце. Вон Аксинья хоть... Уж на что плясунья да песельница, а затеется песня, так и вздрогнет, затомится, до слезы закручинится:

Рассказать ли вам, подружки,
Про несчастье про своё...
Милый бился со врагами,
Эх, три ночи и три дня,
Положил свою головушку
На турецкой на земли.

Вспоминает Галина Яковлевна, как вернулся с войны хозяин Аксиньин израненный, пожил мало, оставил жену с четырьмя, саму — пяту. Да у них с Ефросиньюшкой было по – двое. Спасибо, жили одна к одной, друг за дружку. А коль врозь — разве б выжили?.. Война легла в душу камнем. Не выветрится, не обтолкается. Да и как забыть ту дождливую осень, когда, проводив своих мужиков на фронт, забились сестры с детишками в страхе, прослышав, что немцы будто идут просёлком на Чернь, на Москву? Как забыть ту разведку боем, когда, ворвавшись нежданно, немцы чуть не посекли из пулемёта в семейной тургеневской церкви всех односельчан? Как не помнить соседей своих — туляков, приютивших у себя их, тургеневцев, изгнанных ворогом с прадедовских пажитей? Как обычное дело, приняли не велик, но душевный дар, главное для обживания: зернеца да картошки на семена, на обзаведение — петуха да курёнка, на колхоз — одну –две лошадёнки. И, лишь дали команду, двинулись по просёлкам в обратную. Шли со скарбом, с детишками на горбу. Шли, чем ближе домой, всё быстрее, быстрее. Шли, обгоняя порой вереницы машин, припадая и падая в бессилии на снег, и вновь поднимаясь — вперёд и быстрее, быстрее! Заходили в Спасское –Лутовиново от Бастыево, глянули — и обмерли: всё сметено, лишь три дома в пустыне: в парке — «флигель из-

гнанника», по селу — пятистенник Пасынкова, да дом Дарьи Новиковой. От избы её, Галины Уваркиной, только рама осталась. А морозы трескучи, а детишки ведь... Но увидели женщины: жив тургеневский дуб да не сух колодец усадебный, тот, с малиновой водой. И откуда взялось вдруг. Завел кто-то песню — осторожно и сипло, прижала Уваркина к коленке меньшого своего, натянулась вся в прихлынувшей радости: «Ведь домой же, домой возвратились», да как выплеснет, поведёт звонко:

Эх, встрепенулась бела рыба на воде,
Стали рыбицу залавливати,
На жёлты пески вытаскивати...

Кто-то вскрикнул лихо: «Эх –ма!» Кто-то сбросил прямо на снег заплечную торбу, расстегнул видавший виды бушлат, закружился, уминая наст подшитыми валенками. Кто-то ринулся вприсядку. Поплыли в хороводе русские женщины — Упатовы, Ширяевы, Пасынковы.

Бегут на песню солдаты — холодали, голодали здесь в окопах долгие месяцы, а тут — песня. «Артисты приехали!» — «Да какие артисты? Свои, лутовиновские!» Дробит наст, манит взглядом молодайка в телогрейке:

Хорошо ли тебе, рыба, без воды?
Хорошо ли тебе, красна девка, без дружка?
Эх, как я млада похаживала,
Чернобыль –траву заламывала,
Гуся серого залавливала.

— Эх –да! — бросается в круг молоденький лейтенантик.

— Ой, люли, яли –яли... Давай, Коля, по –нашенски, по –вологодски! — поют, кричат, гомонят вперебой сиплые от морозов и пороховой гари голоса, и взвивается разбойничий посвист.

Ой, мое личико разгарчатое,
Моя маменька догадливая.

Плывёт по кругу, прикрывает молодайка щеку свою обгорелой телогрейкой.

— Это ничего... хорошо, хорошо,— плачет –смеётся парнишка –солдат с забинтованной головой, и слёзы капают, жгут под ногами снега...

Долго ещё, распалясь, перебирают в светлице певуньи песни одну за другой — поэтические, давние, возникающие вдруг по какому-то слову в извивах памяти. Поют песни – веснянки, про то, когда тропинки только чернеют и снег начинает тревожиться.

Собираются уходить как-то все неожиданно сразу. Прощаются, перешучиваются, хлопают сенечной дверью, и на улице всё висит, погасая:

Во рюмочке во серебряной
Крутой бережочек.
У кого ж у нас
Золотой разумочек?
У Ивана –то у Сергеевича
Золотой разумочек...

Долго ещё сидит Галина, подперев виски, размышляет. О прошлом и будущем, просто о жизни. О сёстрах. Она теперь в семье старшая. Проснётся, бывает, вот так среди ночи, глядит в окно — заботушки ломят голову. Как им там, в Москве, сыновьям её? Что –то нет письма. Вон Лизаветин Алёша под боком, а своих, поди, не удержала... Строители. С того самого дня, как мальчишками взялись за топор. А кому было? Мужики на фронтах, а жить где, когда вместо изб головешки? «Первой будем Апроське, — рассудил старый отец. — У неё ребятёнков поболе... Потом Ксюше... Потом Галине...» Подпряглись да возили семьёй блиндажное дерево да кирпич с погорелого. А как Валя с Алёшей взялись за топор, так и сердце зашлось: ну куда таким — тощие, от горшка два вершка? Всё бывало: спорили, ссорились — и как почту вязать, и как матицу класть. Но срубили всё ж к осени один да другой срубы, посложили и печи. И пошли с того –то по плотницкой. Сколь-

ко в Москве теперь всего сладили... Наезжают хоть в праздники, а всё не под боком. Болей, думай и о них, и о сестринских, о всех Пасынковых. Так ведь мать умирала, наказывала: «Апросьюшку не забывайте, она у нас в стороне, ровно кус откушенный от блина нашего пасынковского. Тяжело ль кому, праздник ли — всех сюда на застолье, на семейный совет. Тут-то вместе все, милые мои, и рассудим...» Вот и годы уже подошли, и зовут ребята к себе, а как бросишь землицу, село, дело свое изначальное? Дай лишь лето, снова вровень с людьми в поле, на ток, к хлебу –дедушке, под начало учётчика Алифанова, потомка, говорят, того егеря Ермолая, про какого Тургенев писал...

На рассвете кто-то шумнул в окно.

— Киселька сварила тебе овсяного, — прилипла к стеклу Аксинья. — Где бидон у тебя? За водой собралась.

— Погоди, — откликнулась Галина Яковлевна и повернулась ко мне: — Печень у меня, поджеливает меня сестрица –то.

Бросив пустые бидоны в тележку, Аксинья направилась в парк.

Утро было снова туманно. Крыши «флигеля изгнанника» и новостройки отливали сереющим небом, с них, стекая, перетенькивалась капель. «Тьень –тинь», — прозрачно и звонко вторила им из глубины веток синица. Молодые липки на открытых местах светлели живой, гладкой, налитой соками кожей. Вековые липы стояли на аллее, кажется, ещё ближе друг к другу, теснее, не протиснуться меж ними и боком. Восемь окон смолистого нового дома смотрели на них, благодушно спокойных, на «беседку Рудина», в сторону, откуда восходит солнце. Всюду ещё лежали синие тени, вверху суетились грачи. И там же вверху стоял смутный гуд, он нарастал, становился упорнее, рядом порснула почка — первая, самая ранняя, но в других ещё зрело движение, и зелёный шум был ещё впереди, впереди. А гуд всё стоял, оформляясь в едва уловимое пение, и пение это висе-

ло над мохнатыми необхватными елями, над тонкими липами. Верховой ветер, путаясь, пел в увесистых лапах басовито и мягко, зато высоко и со свистом сквозил в жидких липовых ветках. Подстраиваясь друг под друга, липки и ели слагали песнь на два голоса. Память подавала слова:

Туман, туман при долине...

По верхам, заглушая всё, прокатился неудержный ход электрички. Поймав его, деревья передали его дальше — пруду Савиной, полю, Галахову лесу и опять успокоились, отыскали своё.

16 сентября 1971 года

Фетовские соловьи

Только середина сентября, а какая глубокая осень. Дождь всё банит и банит. И тем ярче в душе моей конец мая, когда проходят Фетовские праздники поэзии, светит солнце, поют соловьи.

* * *

Фетовский праздник поэзии проходит в Орловском районе, в селе Клеймёново, где покоится прах великого поэта. Глава района Владимир Николаевич Логвинов радушно встречает поэтов –орловцев у подъезжающего к Фетовской поляне автобуса. Давно уж он знает меня по книгам, а теперь и по празднику, в котором я участвую каждый год. Готовлюсь к нему загодя, думаю, что бы это ещё такое сказать людям, чтобы не повториться, затронуть в душе тихие, сокровенные струны.

Праздник этот престижный для Орловщины и статусный, всегда здесь присутствует Глава района, а значит, и все

специалисты в области культуры. В районе много библиотек, школ, молодое поколение принимает активное участие в этом празднике, дети проводят конкурсы по творчеству Фета, читают стихи великого земляка. Современные поэты, писатели выступают с лучшими своими произведениями. Владимир Николаевич Логвинов неизменно участвует в этих праздниках, что особенно важно в текущем году, признанном в России годом культуры. Где только ни увидишь Главу района, в том числе в учреждениях культуры. Я встретил Логвинова в издательстве «Орлик», куда Владимир Николаевич заходит по поводу издания печатной продукции для района. У Владимира Николаевича есть районный праздник в честь тружеников села, однако всё у него начинается с Клеймёново – с дня районной культуры, областного праздника поэзии, российской литературы.

Всё теперь по –другому, не так, как было. И все это знают, понимают, принимают, как есть. Истоки литературных праздников на Орловщине — это уже история. Первым возник Тургеневский праздник. Его проводили в Спасском – Лутовиново, и создал его Василий Михайлович Катанов, тогдашний руководитель Орловской писательской организации. Следом был учреждён Фетовский праздник поэзии. Поэты стали приезжать на Фетовскую поляну, что на родине великого поэта, во мценских Новосёлках. Оба праздника были областные, то есть проводимые силами областной писательской организации. И вот меня выбрали её руководителем, статус праздников был повышен. Тургеневский праздник стал Всесоюзным, а Фетовский — Всероссийским. Их начали проводить и в Орле. Творческие бригады стали приезжать из Москвы, формироваться Союзом писателей СССР– на Тургеневский праздник и Союзом писателей России– на Фетовский праздник поэзии. Это, конечно, стоило району каких –то финансов. Мценские власти, участвуя в проведении этих встреч, стали возражать, предлагали пере-

вести Фетовский праздник в Клеймёново, где захоронен прах Фета. Пришлось твёрдо сказать, что Фетовский праздник будет проходить и в Новосёлках.

И что теперь? Фетовский праздник поэзии проводится в Клеймёново и Новосёлках. Я езжу в Орловский район. Тургеневский литературный праздник в Спасском – Лутовиново перестал существовать. Поэты и прозаики ездят теперь только в Орловский район, в Клеймёново. Для прозаиков теперь нет отдельного литературного праздника, есть только праздник поэзии. Нынешний ответсекретарь Г.А.Попов определил площадку для Фетовских чтений в Орле не в Парке культуры и отдыха, как бывало, а в детском парке, куда стремится далеко не каждый. И потому всё проходит в довольно узком кругу.

Теперь о самых ярких фактах и моих впечатлениях в истории Фетовских праздников в Новосёлках и Клеймёново. Об этом я писал стихи, этому посвящены отдельные главы моего романа в стихах «Арсений Чигринёв».

Первый эпизод. Новосёлки. Фетовская поляна. Выступления у бюста Афанасия Афанасьевича Фета. В своём кратком слове, взволнованный только что состоявшейся встречей с Владимиром Ильичом Толстым и его приглашением в Ясную Поляну, я говорю о том, что у меня неподалёку тут дача– толстовское место, куда к учёному –пчеловоду Абрикосову приезжал, бывало, Лев Николаевич Толстой. Сюда — от Толстого к Фету и оттуда — от Фета к Толстому летят, пролетая поля, перелески, одни и те же, фетовские соловьи. И я читаю любимые не только мной, но и Львом Толстым прекрасные стихи Фета.

Знать, долго скитаться наскуча,
Средь ширей морей и полей,
На родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней.

И дальше, как все тут, читаю свои стихи.

АЛЁШНЯ

Алёшня в пойме. Травяной настой.
Страна ракит в берёзовом краю.
Купался тут когда-то Лев Толстой,
И я в воде по самую шлею.
Я русый конь в уздечке ременной.
Воз с перемётом затянуло в речку.
Какой там пряник, кнут вневременной!
Как дёрнут, оборвут, боюсь, уздечку.
Боюсь сорваться сердцем от любви,
В синяевских туманах заблудиться.
Пока мы живы, бога не гневи.
Пока мы тут, что нам Босфор и Ницца.
По всей Алёшне от берёз светло.
По всей долине тянется туман.
Неси, Алёшня, рук моих тепло
В огромный Ледовитый океан.

Кончил читать, иду от микрофона, а мне навстречу женщина:

– Подарите мне книжку!
Перепишите стихи!
Я хочу видеть в стихах
Этого человека.

С того и начинается мой роман в стихах «Арсений Чигринёв».

* * *

Роман летит, стихами я пишу!
Что значит даль свободного романа.
Где прозы надо два –три килограмма,
Тут я тремя словами совершу.

* * *

Вот Фет. Вот часть его стиха.
Вот Моцарт, муза моя, мрия!
«Ave Maria! Ave Maria!
Горитлампада, тиха.
В сердце готовы четыре стиха».

Он кончил петь, не шевелился.
И Фет молчал, и он молчал.
Как будто только что разбился
Борт беспилотный о причал.

И кто-то громко вдруг сказал:
– На воздух! На поляну– к Фету!
– Там праздник, что ль?
– Сегодня был.

Народный, посвящённый лету.
Вскочили. Взбегались. Взлетались.
– К поэту, к русскому поэту!..
Как и на чём все добирались?

А что тут– в Новосёлки, к Фету.
А тут кипит, а тут народ.
А тут толпа, стихи и песни.
А тут и сам читай, хоть тресни.
Я и читал– своё и Фета.
И пел с народом два куплета.

* * *

Идёт в народ. Идёт гадать
И строить творческие планы.
Россию вон куда видать
С зелёной Фетовской поляны!
О, Афанасий Фет! От Фета–
И красота, и это лето!

* * *

И вот эпизод. Всё точно, абсолютно. Но – стихами.
И брызнул дождь. И кто куда.
И грязь теперь, где было чисто.
Несут старуху господа –
Французы, что ли, интуристы?
Старуха чопорна – кокетка.
Ей из деревни привели
Подружку нашу, от земли.
Обрезан валенок, зуб редкий.
Старуха наша ей:
– Откуда?
А та:
– Своя я, я – своя.
– Яволь, – сказали ей отсюда.–
– Ты, что ли, русская, змея?
– Какие змеи мы, мы – львицы!
Когда-то смылись в заграницы.

* * *

«Ого!»– хотел вступить Арсений
К ним, понимаешь, по –французски.
Но тут услышал от кисейной
Бабульки русское, по –русски.
«Дай гляну,– думает,– что будет дальше?
Две бабки дай договорятся.
О судьбах наших, нашей нации...
У этой– валенок, там– башлы...»
Вот наша бабка– той, белей:
– Ты вот что,– говорит,– подружка,
Выпей с горя, где же кружка?
Сердцу будет веселей.
А помирать сюда езжай,
Как наши тут– под урожай.

* * *

«Вот Пиковая Дама!»– вник Арсений.
А соловьи туда– сюда летают.
И носят всё по всем про Фета.

* * *

Вот Фет, Тургенев, Бунин, Лев Толстой–
Все они тут, места их, круг святой.
Русь Серединная как праздник!
Всё те же рощи, тот же соловей – проказник.

* * *

Какие игры света, слова,
Какие блики на челе...
Была свобода, будет снова–
Она под Курском, а в Орле?
Почти дошла пешком до Мценска,
Тут перед Мценском и застряла.
Но только Волею назвало
Её тут людом деревенским
«Свобода, Воля, мы– и Фет,
И Лев Толстой, да и Тургенев,–
Не много ль сразу (да иль нет?)
На нас тут?– думает Арсений.
Иной стране (да для всего!)
Хватило б Фета одного».

* * *

Всё это Фетовский праздник в Новосёлках. Но эпизод с двумя бабками в этом отрывке взят в Клеймёново. Один из

первых праздников, когда Фетовскую поляну только что очистили бульдозером, земля ещё не успела зарасти травой. И тут тебе дождь. Грязь, конечно. И бабку –француженку на ту сторону поляны, через всю эту грязь, несёт на руках русский мужик, зовут его Егор Щекотихин. Теперь он доктор исторических наук, профессор, автор книги об Отечественной войне. Но разошлись мы с ним во мнениях относительно Сабуровского поля и Соборовского поля в битве на Орловско – Курской дуге. Есть ещё один автор– курский, родом из Ольховатки, так тот имеет ещё и третий путь мнения о Курской дуге. Чтоб не вступать в излишнюю полемику, я и задумал роман– героическую эпопею о великом сражении на Орловско –Курской дуге. И основательно готовлюсь к этому. Уже написана и издана книга — фотороман со стихами и прозой «Малоархангельск. Глубинка русская моя». Теперь почти собрана эта книга очерков «Орловская лавра», в которой также немало материала публицистически –аналитического и краеведческого характера, касающегося третьей, решающей битвы в Отечественной войне. Спешу написать и издать хотя бы первый том из задуманных четырёх. Кругом одно сопротивленье, в том числе и финансовое. Но это, я знаю, на первых порах, а там, я думаю, дело пойдёт. Художественное произведение обладает способностью говорить объёмно, проникать внутрь истины, не скользить по поверхности, согласно установившимся стереотипам, когда это было надо кому-то тогда и надо ещё кому-то сейчас.

А на Фетовских праздниках поэзии я был и бываю. Стихи писал и пишу, и буду, скорее всего, писать. Так у меня получается: напрягаюсь, конечно, особенно перед эпопеей, из меня сыплются сначала стихи, а потом идёт уже проза. Фото у меня для чего? Чтобы вызвать в памяти зрительные образы, лица друзей, хороших людей, массовые сцены, где смотрел я в глаза людям и люди смотрели в меня, слушали, слышали, воспринимали.

Для того же тут, в берёзовой роще, соловьи. Вот я слушаю их, вот они слушают, слышат меня. Я приехал на праздник сюда, в Клеймёново, к Фету, к фетовским соловьям. Опять нас встречает, подаёт мне руку глава района Владимир Николаевич Логвинов. Его имя состоит из имён двух моих друзей: Саши Логвинова– поэта, не так давно ушедшего от нас, и Владимира Николаевича Тихомирова– доктора филологических наук, профессора, бывшего аспиранта Галины Борисовны Курляндской. И мне тут среди всех хорошо. Слышите? Где-то в роще поют соловьи.

12августа 2013года.

Сонет о любви

А.А.Фету

Всего два слова, если ты поэт.
Любовь и Красота — всё свыше, всё от Бога.
Уста свои распахивает Фет.
Слова как с неба, их не надо много.
Хмелея от тебя, моей удачи,
Букета тонких виноградных вин,
Я не даю на бедность трезвым сдачи,
Среди поэтов я такой один.
Любовь и Красота! Нет ничего прекрасней,
Чем факел Прометея с небосвода.
А те, кто ниже, всё, увы, опасней,
Не тот колёр, не та, увы, порода,
Для женщины рождается поэт,
А если нет, не даст его и Фет.

2 июня 2013года.

Пушкин в Малоархангельске

Все непрочь приписать пребывание Пушкина у них где-нибудь в уездном городе или в каком –либо другом месте, где наш национальный гений сроду не был и не мог быть никогда. Но то, что Пушкин был в Малоархангельске, нет никакого сомнения. И если рассказать про то с привлечением фактов, то это будет уже не художественное произведение, а документальное сочинение, как не поверишь? Исторически так.

В Орле имеется улица Пушкина, по которой трамвай ездит. Так в начале её на доме написано: «Улица названа в честь пребывания Пушкина в Орле в 1829 году». Это когда Пушкин ехал на юг. Ну как проедешь мимо Малоархангельска, когда эта дорога была единственной из Орла до Курска. Тут Екатерина Вторая проезжала на юг, о чём оставила свидетельство в виде подарка монастырскому селу, присвоив ему статус уездного города.

Всё, что случилось в Малоархангельске с Пушкиным, он и передал Гоголю: у тебя, мол, лучше получится. Вот и получилась у Гоголя «всероссийская пьеса» «Ревизор». Как припечатал Гоголь: до сих пор тут всё один к одному. И чиновники, и структуры всякие, только под другими фамилиями и наименованиями. А так природный ландшафт тот же самый, например, посредине города лужа, то есть городской пруд, воды по коленки, свиньям только в нём и купаться.

И ещё есть свидетельство того, что бывал в Орле Пушкин по дороге через Малоархангельск на Курск. В Орле на улице Салтыкова –Щедрина на одном из домов памятная доска имеется, на которой начертано: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белёв, Орёл и сделал таким образом 200 вёрст лишних, зато увидел Ермолова». А мы тут, в Малоархангельске, благодаря этому увидели Пушкина. В результате я даже пьеску такую написал, включённую в книжку. Вот и хочу пересказать её в очерке! Как так можно? Не знаю, но что –то больно уж хочется, например, как Валентину Распу-

тину написать пьесу наподобие вампиловской, а не получается. Вот он взял и попробовал повесть свою переделать в драматическое произведение, а опять же не получается. Говорит, надо было сразу фундамент закладывать не под повесть, а под пьесу, тогда бы, может, что –нибудь и получилось бы. Какая –нибудь «всероссийская пьеса».

А мы попробуем переделать пьесу свою в очерк.

* * *

Итак, после встречи в Орле с Ермоловым Пушкин покатил в своей кибитке на юг. Ну как перед самым Малоархангельском не заехать в село Тагино, к своим дальним родственникам? Выбегает навстречу ему Александра Муравьёва– Чернышёва, бросается на шею поэту. При прощании Пушкин передаёт ей стихи, специально написанные для декабристов в Сибири, куда она собралась ехать к мужу.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

И покатила кибитка Пушкина из Тагино далее на юг, на Малоархангельск. Через какое –то время ямщик оглядывается и говорит ездоку:

– Что это вы, батенька мой, всё больше помалкиваете? Как от Орла отъехали, редкое слово молвите.

А Пушкин ему и отвечает:

– Старше стал. Не всякое лыко в строку ставлю, иной раз надо и погодить.

Ямщик взмахивает вожжами:

– А чего годить –то? Глянь, какая кругом красота, Серединная Русь. Ока близко, где-то тут начинается.

Пушкин, оглядясь, говорит в восхищении:

– Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

А голос свыше, от меня лично, вторит ему:

Пояс Богородицы

(песня об Оке)

Начинается с кружки, кончается морем
Среднерусская эта река.
Опоясав Орёл, течёт на просторе
Богородицы пояс– наша Ока.
Припев:
Глазастая, под ивами, берёзками,
В туманах трав– хоть пей с них, хоть коси.
До Волги, ты, сторонка глазуновская,
Окою протянулась по Руси.
Начинается с поля, с зернинки на севе,
И на Солнце, на Солнце стремится поток.
Все реки России на юг и на Север,
И только, и только Ока поперёк.
Богородицы пояс, живая вода,
И по ней города, города.

* * *

И вот она, эта пьеса, её эпилог.

* * *

И вот ставят в Малом городе памятник Пушкину и на открытие приезжает тоже Пушкин, но Григорий Григорьевич, праправнук поэта. И в честь такого события из Орла приезжает плеяда поэтов. Собрались в домике автора все двенадцать апостолов. Вот Автор – сын хозяйки, своей матери Марии Герасимовны – поднимается и говорит:

–Не видели мы ни Ермолова, ни того Пушкина, зато видим этого.

МАРИЯ ГЕРАСИМОВНА (ласково). Пушки –и –н! Живой! Прямо не верится…

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЛЕЯДА. Почитайте, почитайте, Григорий Григорьевич!.. Товарищ, верь, взойдет она…

МАРИЯ ГЕРАСИМОВНА. Какое счастье! Сынок, ну почитай, почитай Пушкину.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЛЕЯДА (дружно, жизнелюбиво). С тебя начинается Родина, Михалыч! Читай.

АВТОР (вставая, читает в глаза Григорию Григорьевичу).

А. С. Пушкину

Я молодой, душа ещё жива!
Испив своё, пленяться не устала.
От Пушкина кружится голова
Пью и хмелею от его фиала.

Я молодой, мы с Пушкиным вдвоём
То тонем в восхищении своём,
То в синях неба, как орлы, летаем,
Основы бессловесные шатаем
В плену любви в кругу своём живём,
Из ничего свободу созидая.

ГРГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (вставая). Друзья мои, прекрасен наш союз!

ЗАНАВЕС.

* * *

Посмотрел я на всё это под конец и думаю:

«И что из этого получилось? То ли пьеса, то ли очерк. То ли Пушкин и Гоголь. То ли Пушкин того времени и

Пушкин– наш современник. И представился мне такой разговор Пушкина с ямщиком.»

Ямщик (весело) .Ты, барин, мне приглянулся. Интересно с тобой поговорить.

Пушкин. Спой, ямщик, какую –нибудь ямщицкую...Ах да, ты не поёшь! Талант тебе такой Богом не даден.

И слышу я голос издалека.

Голос автора.

ТРОЙКА

Сидит лихач и правит тройкой,
Летит по вееру пути,
Широкой степью этот бойкой,
Вожжами вверх,а ну, крути!
А ну, а ну? Крути, крути!
Одною– глосса,
А в той – метафора, в другой.
Ямщик несётся под пургой,
Везёт с «Валдаем» под дугой
Литературного колосса
То слева– лирик из кибитки,
То справа– критик молодой.
Вожжа к вожже– губа не дура.
А вместе мчит литература
В степи то в людной, то в глухой, –
Русь –тройка, с песней удалой.

Ямщик. (крутнув головой), Дела –а –а! Сыплешь, барин, слова, как семечки.

Пушкин (в сторону). Вот и Орёл позади, там остался Ермолов– генерал опальный, а впереди Овидий– опальный поэт. Три «П»– говорит, а четвёртое– Пушкин? А три «С» не хотите ли? Совесть есть у Алексея Петровича? Есть, конеч-

но. А справедливость? Ещё бы! А в чём же третье «С», в чём? И совесть есть, и справедливость, а в отставке, в опале. Так в чём же дело? А в третьем «С», в третьем– в системе! В систему не вписывается, хотя и от Бога талант, и уже генерал. А всё –таки оттого, что чуть в сторону и хоть на шаг вперёд...

Пушкин (ямщику). В систему, голубчик, не впи –сы – ва –ешься –я –я! Не в той системе мы с генералом, в другой.

Ямщик (взмахнув рукой, звонко).

Лети, лети, мой борзый конь,
Неси колосса вдаль, в огонь!

Пушкин (в сторону). Немного вкось слова, зато прямо к Прометею. Соображаешь? Ведь это он дал людям огонь, создал цивилизацию, великое племя поэтов. Что бы сказал на это Ермолов?

Голос свыше. «Поэт есть гордость нации».

* * *

Вот так и вышло у меня с этим очерком. Что получилось, не знаю. Но что –то новенькое и от души. Однако не мне об этом судить. Зато мы в Малоархангельске увидели Пушкина и того, и этого– отпрыска старшего сына поэта.

14 октября 2013 года.

Седые хлеба

Нет в слякоть лучшего ходу от Глазуновки до Старого Горохово, чем по «линии», бывшей «чугунке», по которой в прежние времена пытался вывозить руду из кромской глубинки делец –воротила. Лопнуло, быльём поросло его дело, а вот насыпь осталась, и сквозит она по волнистой хребтине, по которой совершали набеги на Русь ещё крымчаки –

басурманы, и идёшь себе этим путём, бывшей «царевой» дорогой; вольготно ноге на земле, обдуваемой ветром, как бы заговорённой от грязи; отрадно представить, что плеснёшь вправо кружку воды — попадёт она в окское русло, после в Волгу, в Каспийское море, плеснёшь влево — в Тихий Дон, Чёрное море. И ещё отрадно припомнить одно из местных преданий, что именно этой дорогой по пути из Орла на Кавказ проезжал когда-то сам Пушкин...

Ни дымка, ни селения — все в стороне. Лишь ведёт и ведёт травянистая насыпь — безрельсовая, с гладко срезанными боками, с намекнувшимся сбоку просёлком. Где-то там впереди синеют лески, в них — махнул мне прохожий — и Горохово, деревушка, где родился русский писатель Лесков.

Иногда принимается дождь — мелкий, въедливый, знобкий, и лески эти, как в цветомузыке, начинают то блекнуть, то снова густеть, а поля, переспелые, жёлто – соломенные, разом становятся сизыми, колос делается седым. И вдруг рядом, в жнивье, вскрикнула птица, разбежалась, подпрыгнула, захлопала крыльями — никак чёрный дрозд? Вскоре целая стая, крича резко, с надрывом, кружилась над положенной в валки потемневшей куртиной, воровато заходила позади на посадку.

Но вот, наконец, и вблизи перелески. Лесковские. «Линия» уходила дальше, взбиралась куда-то ввысь, где, как у Айвазовского, бушевало вспоённое влагой небо, а просёлок, вильнув, опускался в деревню. Из –за бугра торчал, отмечая ферму, карандаш водокачки. А сбоку на просёлок наступала обсадка, за ней виднелся сад — старый, выщербленный, должно быть, еще помещичий. Тут же опушался новый.

Просёлок переходил в ровную деревенскую улицу. Крепкие дома, телеантенны, высоковольтная линия, старик,

проехавший на мотоцикле... Всё это высветляло мысли, накладывалось на картины, описанные в лесковской «Юдоли».

На крылечке дома бригады сидели за куревом, за разговорами люди.

— А что, ребята,— сказал я протяжно, рассчитывая на обстоятельный разговор,— нелёгкие нынче хлеба?

— Трудные,— подтвердил один из них, взглядывая на часы.— Да и сами подумайте: озимые помёрзли, сколько пришлось пересеять, а яровые, видите, дождь — не даёт убирать... А хлеб –то какой — сила силой! За «линией» ячмень центнеров эдак под сорок. Да ведь всё на хлеба положили. Загремела уборочная — зерно пошло государству, да вот уж пятый день как дожди...

— Ну, а где же управа на канцелярию? — говорю я без иронии.— Не молебен же, как бывало, служить?

— Вон у нас управа,— кивнул говоривший на механизаторский стан,— люди и техника. Техники у нас всякой хватает, а люди... Люди — не терпится — по пять раз в день комбайны заводят. Да вон и Ефим Дробилин — мастер всякой работы. Можно сказать, Левша. Был бы смысл, подковал бы и блоху...

Сравнение это здесь, на лесковской земле, показалось мне небезынтересным, и я энергично приветствовал ещё одного гороховца. Пришёл бригадир, послал мужиков на конопляник, где женщины брали замашку, и мы с Ефимом остались вдвоём. Я взглянул на него внимательнее: телосложения он был обычного — небольшой, крепко сбитый, с виду около сорока. На лоб надвигалась седоватая щётка волос — плотный «ёжик»; крупные губы и рот, глубокие, под чёрно –густыми бровями глаза, сухой смех и слегка сипловатый голос — всё это заставляло видеть в нём человека простого, открытого, обветренного полевыми и житейскими шквалами. Одет он был во фланелевую рубашку, серые хлопчато-

бумажные штаны, заправленные в кирзовые сапоги, которыми и месил без стеснения местную жирную грязь.

— Всё гляжу, где же был дом, в котором родился Лесков,— сказал я Ефиму.— Не в тех ли посадках?

— В них,— ответил мой собеседник медлительно.— Идём покажу.

Мы подошли к бывшей барской усадьбе, стоявшей особняком. По оба крыла её пустели травянистые копани — остатки прудов. Дорога прорезала подкову из акаций, сирени –«синели», как назвал Дробилин эту непременную спутницу всяких жилищ. Аллеи, сужаясь, сходились к самому центру, где на возвышении глазел некогда окнами двухэтажный деревянный дом. Сколько всякого перебывало тут после того самодура –барина Страхова, мужа тётки Лескова, у которой из милости; и жил до поры до времени мальчик — будущий русский писатель.

— Дед Алёшка недавно помер,— заговорил глуховато Ефим,— так он во дворе у господ в услужении был, всё нам рассказывал... Было вот тут, перед домом, такое местечко, приходили сюда крестьяне на праздник. Выходил барин к народу, швырял им целковый –другой на водку, и те, благодарные, прямиком в монопольку... А однажды случился большой недород, и крестьяне пришли к барам не за целковым на водку — за хлебом. Стояли вот так под дождём, а из окон им всякие там пианина.Выходил управляющий немец — и вон, и взашей. А однажды вынес три ковриги под мышкой, ломал и швырял в людей, и смеялся, глядя, как они бросались, падали, увечили друг дружку.

Вот оно какое здесь страшное, лобное место. Говорят, при пожаре железо с крыши летело аж до деревни.

Бугор стыдливо прикрывал бурьяном своё изъязвлённое тело; выройки, траншеи, обозначавшие прежний фундамент, зияли сырой пустотой — кирпич был взят на постройки; глиняные черепушки да осколки бурого кирпича — вот и

все сувениры — успели зарасти глухой крапивой, татарником, пастушьей сумкой и тысячелистником. Над ними пантствовали ясеньки и шиповник, вставшие здесь по прихоти ветра. Я искал, угадывал по фундаменту комнатушку, где раздался первый крик ребёнка, голос которого потом услышали все. Вотще! Лишь песчаник, торчащий углом, напоминал мне легенду о «диком камне», растущем из земли и за века вырастающем в горы, похожие на обелиски...

Мы прошли дальше по стёжке, вторглись в заросли одичавших яблонь, черёмухи, липок и клёнов, которые ещё не успело обдуть после очередного дождевого захода. Ефим наклонился и сорвал подорожник.

— Глухо, однако, захлопнулось,— заметил он, вглядываясь в цветок, в отверстие, ведущее к самой пыльце. И вздохнул: — Ночью, значит, перемжится.

Я знал: Ефим всё о том же — о погоде, о хлебах, ведь изболелась душа. Я успел уж заметить за ним эту заботу об общем, хозяйскую струнку, точный глаз, обо всём своё крепкое слово. Вот и сейчас, когда по буграм, по откосам прошли мы ветшающим садом да вышли на самый край, к заидневшимся фермам, он сказал с огорченьем:

— А землицу мы не жалеем. Гляди, где помещик усадьбы –то городил — пустошь горбатую приспосабливал, а нам под бригадный двор подавай лучшую, пахотную землю. А там бы такие хлеба!

Вечерело. Тучи на какое –то время раздвинулись, солнце садилось спокойным и ясным. И сейчас же в зарослях пронзительно закричала сойка: «Р –ррэ – –ррэ –рра», захлопала крыльями, затурлила по –горличьи, а на механизаторском стане чей –то дизель живо рассыпал звонкую дробь.

— Салютуют ребята,— оживился Дробилин.— Сей в ненастье, и убирай в вёдра,— переиначил он известную пословицу.— Завтра бы после полдника в поле.

Пискнула где-то гармонь — молодёжь сходилась в бригадный клуб. Шли у нижнего пруда, отражаясь в воде; и не было теперь у этого пруда прежней чересполосицы — ни господской, ни крестьянской половинок, всё теперь было едино, как и эта деревня, и это вот поле, на котором есть где гульнуть, размахнуться технике. Луг за прудом переходил в плоскую, заросшую всякими травами пойму чистой речушки Рыбницы, где, я знал, вскоре вырастет водохранилище. Там темнела другая деревня, там было правление. В сумерках контур деревьев на горизонте казался средневековым замком: плоские башни, острые пики –шпили...

— Вон то поле,— кивнул Ефим в сторону «замка», — мы уже замахнули. На очереди это вот — у «гусятника».

Незаметно, за разговором, подошли мы к жилищу Ефима. Дом у него был свежий, ухоженный. Во дворе у берёзки стоял мотоцикл. Во второй комнате хозяйка с дочерью, приехавшей на каникулы, смотрели по телевизору «Угрюм –реку». Следом за нами к Дробилиным влетела старушка –соседка с известием:

— Марийка, автолавка, гляди, прорвалась — хлебушка привезли, беги!

— Небось, — степенно ответила Марийка, невысокая, смуглая, круглолицая женщина в цветном переднике поверх пиджака. — Хлеб, бабка Груня, нам покудова испечь есть из чего. Да ты садись, посумерничаем.

— Оно и верно, — вздохнула старушка, — у вас все при работе.

— В прошлом году одной пшеницы, уж и не упомню, на двоих сколько ссыпали...

— Центнерами, центнерами, Марийка.

— Центнерами... Да вот нынче премию –то мой проморгал, сполз вниз. Ишь, молчит. Это он на работу проворный, а на язык — слова, что твои жернова.

— Господь равняет,— вставила своё бабка Груня,— муж дюже мешковат, зато жена, как шкворень.

Всё это Ефим сносил терпеливо, давая им выговориться. Но упоминание о премии, видно, тронуло его. Едва в разговоре появился просвет, он повернулся ко мне:

— А насчёт премии...

— Да уж будет, не виноват,— смягчилась Мария,— а то разве простила б? Передовой и вдруг на.

— Нагоним,— улыбнулся Дробилин.

— Помогал Максиму Гремякину,— совсем уж оттаяв, ласково посмотрела Мария на мужа.— Тот впервой сел на комбайн. Ну и не особенно ладилось. То муфта сгорит, то ещё что. А Ефим с ним на одном поле, вот он и к нему — товарищ же. Ну и не вытянул в передовые... Но ничего, Ефимушка, ничего, ты как-нибудь в другой раз, верно?

— Верно, — пробасил растроганный Ефим и повернул к ней загоревшееся лицо: — Да ить сколько раз говорил, давайте в таких условиях напрямую. Так нет — кладут в валки, а ты идёшь почти следом и подбираешь.

— Голова ты у нас золотая,— запричитала бабка Груня.— Всё –то ты разумеешь.

— А руки? — сказала Мария.— Да уж нет на округу ухватистей рук, чем у него.

— Полно вам,— строго сказал Ефим и вышел в сенцы.

— У них в семье отродясь все такие,— поджала бабка Груня губы.— Что он, что отец был, царство ему небесное. По железу, по дереву — всё могут. Такая способность... На механизатора –то он не учился. Повертелся у Мишки Пущая в прицепщиках, сел на трактор да и поехал. А теперь вот спец по всяким машинам. Ну, да теперь, конечно, без них никуда. А как было, когда война только схлынула. Всё руками, всё на себе, на верёвках. Эх, верёвки, верёвки, плечушки пооборвали!.. Ходили за семенами в райцентр, оттуда с мешками до станции и по «чугунке». Забросим, бывало,по

мешку на горбяку, а встречные нам: «Вы что, бабы, в парашютистки, что ль, записались?»

Прёшь мешок — к земле стелешься, вот-вот сердце хлопнется об дорогу. Но ничего, выдюжили. В первую осень соседи пахали битыми танками — от «дуги» тут остались. А у нас всё на бабах. Зерно по невскопанному швыряли. Коноплю из бутылок сеяли, чтоб ровней получалась, а после семена тяпкой заделывали. На другой год поболело сил: лопатами поле копали, коров к пахоте приспособили. Вот как хлебушек доставался... Ну, а не было гневней гнева людского, когда, помню, дед один семенами вздумал поджиться. Сграчили его, а он в ответ: вы, говорит, бабы, тихо, вы лектора, дескать, не слушали, а он сказывал, что Маркс и тот взял у этого... Гегеля какое –то там рациональное зерно, а нам, мужичкам, простую пашаничку и подавно можно. А потом Ефимушка сел на трактор, ушёл в МТС. Председатели, бывало, технику назахват: к нам и нам, пожалуйста, Ефим Спиридоныч. И с угощеньицем.

— Да уж развоспоминалась,— пробурчал Ефим.— На сто лет назад попинаешься.

В редкую минуту с похвалой отзовётся русская женщина о своём муженьке, чтоб «не забаловал, не испортился». Но уж коль нападёт настроение да если есть ещё чем погордиться, всё без утайки выложит свежему человеку. В тот вечер услышал я о Ефиме немало: про то, как воспитывался он в «горях да пережитищах», доходил до всего своей головой, как работал и бригадиром, и мельником, перемолол людям сотни пудов зерна. Тогда хлеб пекли на поду, мельник был нужнейшим человеком в округе. А сейчас вот — понадобилось — кузнецом на обе бригады. А в уборочную комбайнёром. Так вся жизнь его, все его годы были связаны с хлебом...

Наутро, как обычно, чуть свет, механизаторы сходились к дому бригады. Сидели, лениво переговаривались:

— Ить надо, а? Какой нынче август вышел сиротский.

— Да уж точно, слезливый.

А сами с надеждой глядели на небо и замечали, что оно уже не такое глухое, раздвигаются тучи, после обеда, если всё хорошо, можно будет и выезжать. Так и решили: если что — выезжать.

Дробилин шёл к кузне через всю деревню своим твёрдым, уверенным шагом. Позади, выбирая дорогу, тянулся напарник — тощий и длинный старик.

— Ефим Спиридоныч,— шумели из –за плетня,— зашёл бы, глянул швейную машину. Гремит, дьяволица, как бубен.

— Ладно. Вечерком на гулянке.

— Ефим Спиридоныч,— встречался через минуту сторож с фермы,— лампа, понимаешь, хандрит.

— Электрик на это...

— Так паяльная лампа –то.

— Ну заноси, поглядим.

Проходит Ефим к своей кузне, отворяет двери, и сейчас же следом народ: одному помоги укрепить «пальцы» в гусенице — ехать пахать под зябь, другому сделай на телегу оглобли — возить семенной материал... Дело хлебное, не отложишь. Включает Ефим рубильник, жарко вздувает горн, а сам нет –нет да и взглянёт в дверь, на пшеничное поле, что у «гусятника». По нему, загораясь, всё чаще, перебегают пятна — солнечные, яркосоломенные. Ефим веселее начинает стучать по наковальне.

После обеда комбайны тронулись, пошли за околицу. Ефим снова в паре с Гремякиным повели комбайны свои по хлебам напрямую, полями на чёрных дроздов.

Хлеба... Они седые не только в дожди и туманы — седые от времени, от веков. Они — корень жизни и нашей, и наших отцов, и пращуров наших, недаром у ржи ещё и такое название — жито. О хлебе всё думы, всё хлопоты жизни крестьянской, и всё воздаётся сторицей. И нам удивительно,

что эти лесковские земли страдали когда-то бесхлебицей, пускали по свету здешних крестьян с холщовой сумой.

9 октября 1969 года

Ода русскому хлебу

«Хлеб– всему голова». Слова эти у входа на хлебоприёмный пункт так и врезались в меня, в память, так и живут во мне уже годы. Вряд ли найдётся такой человек на Руси, а может быть, и в мире, который бы не связал свою жизнь, свою судьбу с Хлебом. Хлеб– имя существительное, это цивилизация. Да, не хлебом единым, но искони, исторически так: хлеб живёт в каждом из нас не только въяве, на столе, но и в слове, в легендах.

Например, считается, что Малоархангельску в сентябре 2013 года исполнится 235 лет. Это столько лет прошло с тех пор, как Екатерина Вторая монастырскому селу Архангельское подарила статус уездного города. А что, до той поры тут ничего разве не было?

Недавно Тамань — некогда греческое поселение, более известное по лермонтовскому роману «Герой нашего времени»– отсчитывала 2700 лет от основания. Через Тамань греки некогда вывозили хлеб в Элладу, в том числе и на одиссееву Итаку. А Эллада, как известно, с помощью своих мудрецов, таких как Эсхил, Аристотель, Гомер, воспитала всю европейскую, христианскую цивилизацию. Вот какова цена хлебу нашему, в том числе и малоархангельскому, ибо, как мной установлено, именно за хлебом сюда, в наши скифские края, отправлялся, согласно Гомеру, царь Итаки Одиссей.

Именно с тех времен существует тут древнее городище на виду святого колодца Девятая Пятница на речке Дайменке, впадающей в Сосну– приток Тихого Дона. Был тут и царь Одиссей. А почему бы и нет? Ведь наши предки, известные под скифским именем сколоты, тут выращивали хлеба. И другого пути на юг не существовало, не было других дорог,

кроме речных, по которым и везли наши предки скифы – сколоты в ту же Тамань свой хлеб, свой товар. Вот какая история, вот какие хлеба созревают ныне у нас тут, в наших малоархангельских хлебородных местах.

Что помнится мне и что здесь сейчас? Сразу же после Великой Отечественной войны на обагрённых кровью полях, ещё заставленных битыми танками, сеяли по три – четыре центнера зерна на гектаре, а собирали каких –то пять –семь центнеров с того же гектара. А сейчас? По пятьдесят, шестьдесят центнеров! Прямо сказочный рост! Откуда же все это взялось? Один гектар заменил сразу пятьдесят, шестьдесят гектаров. И кто это сделал?

Относительно недавно мной была написана поэма в сонетах «Шекспириада», где воспевается великий русский ученый –селекционер Николай Иванович Вавилов. Ещё в молодости он поставил перед собой дерзкую задачу накормить не только свой народ, но и всё человечество, а сам умер от голода в Самаре– в тюрьме неподалеку от своего дома. А ведь на горных плато он собрал «банк» зерновых из диких злаков и делал из этой дикости зерновую культуру.

«Да здравствует зелёная Земля!
Росток– твой символ, дням потерян счёт.
Тот гномик пережил и короля
Такусенький– и нас переживёт.
Пою тебе, мой карлик, мой цветок!
Твой злак– твой знак! Немного погодя,
Вавилов, мысля накормить Восток,
Умрёт, мой бог, в тюрьме, сам не едя.
На том и проверяются эпохи,
Науки, государства, самодержцы,
Коль урожая на ладошку крохи,
Не жди добра, чернь выкинет коленце.
Да здравствуют такие короли,
Что обожают зеленя Земли!»

(«Шекспириана», сонет № 14)

Итак, совсем уже наше время. Кто герой нашего времени? Это тоже учёный –селекционер, академик Российской академии сельскохозяйственных наук Баграт Исменович Сандухадзе и его напарник, непосредственный исполнитель его научных замыслов на опытном поле председатель сельхозпредприятия в малоархангельском Дубовике Сергей Петрович Борзёнков. Что необычно, так это то, что Сандухадзе родился где-то в горах Грузии, а тут у нас, в русском поле, ставит свои научные, селекционные эксперименты; Борзёнков же– местный хлебороб, реализует их, давая урожай на полях по пятьдесят –шестьдесят центнеров на гектаре.

Вот тебе сколоты, вот тебе Вавилов, вот тебе Сандухадзе и Борзёнков– все они единая нить, хлеборобы! Славное племя поэтов русского поля, русской земли!

По легенде Эсхила, бог –титан Прометей создал племя поэтов. Вот что сказал о них в своём слове «В защиту поэзии» английский поэт Шелли: «Поэты являются пророками в прямом смысле слова и могут предсказывать формы будущего так же уверенно, как они предсказывают его дух. Поэт причастен к вечному и единому, для замыслов не существует времени, места и множественности.

Слава скульпторов, живописцев и музыкантов даже тогда, когда силой таланта великие мастера этих искусств ничуть не уступают тем, кто для выражения своих мыслей изобрёл язык, никогда не могли сравниться со славой поэтов в собственном смысле слова».

Самая большая поэзия русского поля– в хлебе, а хлеб– всему голова. А голова его– в людях. Вот передо мной увесистый том научных работ Сандухадзе «Селекция озимой пшеницы в Центральном районе нечернозёмной России». В этой книге вся жизнь учёного по ступеням, упорный и неуклонный путь от школьника средней школы в селе Орсантия Зугдидского района Грузии до действительного члена Российской академии сельскохозяйственных наук, профессора

по селекции и семеноводству, заведующего лабораторией в подмосковной Немчиновке.

Вот оно, русское поле, тут, у нас, в малоархангельском Дубовике, что на Орловщине, в Серединной Руси. Вот он, Сергей Петрович Борзёнков, на этом опытном поле, в пшеничных хлебах. На фоне серебристых цилиндров, доверху заполненных хлебом, этого современного элеватора на краю Дубовика.

«Поле, русское поле!
Пусть я давно человек городской.
Запах полыни, вешние ливни
Вдруг обожгут меняпрежней тоской.
Поле, русское поле!
Верю молчанью, как обещанью.
Пасмурным днем вижу я синеву».

У природы нет плохой погоды. Если солнце, хлеб пахнет солнцем. Если дождь, земля будет щедра. Значит, опять будем с хлебом!

2 июля 2013 года

«Алиса» в стране чудес

Грузовичок подъехал к железным воротам, и они отворились. Сим –сим, открой дверь!

– Прямо чудеса какие –то, – сказал я водителю, вышедшему из кабины.– Вот что значит инженер, так сказать, человеческих душ.

– Никаких чудес,– подал руку мне Вячеслав Васильевич.– Сейчас всё можно, были бы деньги.

Двор с домом на нашей улице, называемый им «гаражом», склады товаров, где предприниматель назначил мне рандеву. А само место, где делаются деньги, это магазин на

другой главной улице. На магазине вывеска с экзотическим названием «Алиса», которое так и хочется продолжить «Алиса в стране чудес».

– Неплохо названо,– говорю я. – Со вкусом, литературно.

Давно подметил у владельцев магазинов: давать имена своим детищам поинтереснее, чем писатели своим книжкам. Но я –то знаю, откуда это идёт у Вячеслава Васильевича: от отца, в самом деле, от книг. Отец его работал в книжном магазине, носившем какое –то странноватое, непонятное название «когиз». Оно притягивало меня и моих друзей, как магнит. По два –три раза в день бегали мы с Генрихом Рыбниковым, Володей и Геной Ефремовыми, Денисовым Шуриком на другой конец города. Я и писателем –то стал, наверно, оттого, что всякие книги в душу мою вошли с самого детства.

– Дома у нас была чудесная библиотека,– поддерживает разговор Вячеслав Васильевич.

– Чудеса да и только,– оглядываю я и дом, и сам двор его, где склады, гараж.

Через дом от Наумовых был когда-то наш дом. Отступая, немцы сожгли нас в ночь на 23 февраля 43 –го, мы едва не погибли в пожарище, однако остались вот живы. И ещё одно чудо.

– Какое?

– Да беломраморный Пушкин стоит прямо напротив нашего дома. А что это у отца твоего, Вячеслав, было с рукой?

И показываю ему на правую руку.

– А –а, с левой,– отмахнулся Вячеслав Васильевич своей правой рукой.– С белофинской таким пришёл.

– Да ты что!– удивляюсь я.– Совсем перебор. И тут рядом в доме, в котором мы едва не сгорели, мой дядя Гаврю-

ша принял нас с матерью из Воронежа, после 37 –го, он тоже пришёл с белофинской раненым в руку.

– Конечно, это чудеса вроде свыше,– говорит Вячеслав Васильсвич.– От Бога?

– И от людей,– вздыхает он выразительно.

– Фамилия такая — Евлампиев,– говорю я. – Редко встречается тут у нас, в Малоархангельске. Учителем был я, по детям хорошо знаю. Из Губкино– Кононовы, Васютины, Агарковы, из Луковца– Егурновы, Можаровы, Медведевы...

– Да нет, мы здешние, ещё дед мой был тут Евлампиев.

– А где вы жили?

– На "бетонке", на самом верху, возле механического завода.

– Ага, вот почему вы с братом выучились на инженеров,– говорю я.– А не пошли по книжной литературной части, как я, например. С детства знал, что буду писателем или журналистом... Со второго класса читали мои сочинения в школе. Так сказал я однажды, а Денисов Шурик мне и говорит: «Да нет, с первого класса тебя читали, с первого». Лучше меня помнит, учился со мной с первого по седьмой, пока не поехал в Орёл, в железнодорожный техникум.

– А после выучился на инженера,– говорит Вячеслав Васильевич.– В Луганске, на инженера –металлурга. Мы с ним тут вместе на заводе работали.

– А стал Денисов редактором районной газеты.

– Тоже чудо?– усмехнулся Вячеслав Васильевич.– Простые советские люди повсюду творят чудеса.

– Денисов рассказывал,– говорю — как вы с ним на заводе работали. Как отправили вас с братом после 91 –го года в торговлю... Было дело? А теперь ты хозяин «Алисы».

– А где ещё тогда было работать?

– Оно и сейчас,– говорю,– не больно много где. Сколько ты лично создал в Малоархангельске рабочих мест? И что интересного нашёл ты в этой работе? Отец твой торговал

книгами... А ты торгуешь продуктами питания... Всякими– от молока до колбасы. На вывеске магазина колбасы обозначены, всякие сорта. И все они есть в наличии. То, бывало, в Москву ездили за колбасой, а то тут у нас, в самом Малоархангельске, производят. Разве это не чудо?

– Чудо, чудо!– говорит Евлампиев.– Да не очень покупают.

Зазвонил мобильник. Вячеслав Васильевич прилепил его к уху, потом повернулся ко мне:

– Пора ехать в «Алису», пришла с товаром машина, разгружать надо.

– Хлеб –то вы всякий продаёте, многих сортов.– говорю.– Возите даже из Курска?

– С пяти заводов завозим, в том числе и из Малоархангельска.

– И ещё один вопрос, Вячеслав Васильевич, который требует ответа.

– Тоже из разряда чудес?–улыбается предприниматель.

– Да нет,– пожимаю плечами я,– не совсем. Вот живу я тут по полгода, в своём материнском доме, и ходим мы на базар, в магазин. И что хочется откровенно сказать? Цены в Малоархангельске кусаются, дороже, чем в Орле. А тут ведь всё производится. Но в «Алисе» всё же дешевле и товары поинтереснее. В чём тайна, чудо это или не чудо?

– Не знаю,– внимательно смотрит на меня Евлампиев.– Крутиться приходится, мотаться повсюду. Быть в курсе всего. Чтобы не пролететь, если цены ниже назначить. И покупателей потеряешь, нюх нужен в торговле, интуиция.

– И себя, конечно, не забываете?– говорю я и показываю на ворота, какие сами раскрываются, на склады и дом, отделанные современными материалами.

– Ну, а как же? И себя надо не забывать, детей кормить, внуков.

– А городу что –то даёте? Руси Серединной? Например, везут КАМАЗы белую девонскую глину из карьера под Малоархангельском. Что –нибудь от этого достаётся Малоархангельску в виде налогов?

– Может, и достаётся, нам –то что,– ироничен Евлампиев.– Это бывший администратор района Пётр Васильевич Заложных заложил основы: заасфальтировал городок, все улицы, каждый закоулок. Это их вопросы, чиновников, а у нас вопросы другие. И главный из них… ни за что не подумаете...

– Ну, и какой же, – говорю,– этот ваш главный вопрос?

– А вот какая цепочка образуется,– задерживается на своей мысли предприниматель.– Сколько у нас народу в городе? Мало. А магазинов сколько: и справа, и слева от «Алисы», и вверх, и вниз– по главной улице и по боковым. А карман у человека один, и в три горла он тоже не ест. Вот и теснят друг друга предприниматели. Одни магазины открываются другие закрываются. Так и живёт наша «Алиса» в стране чудес…

Целую неделю банил дождь. Нагрянули ранние холода. А тут выглянуло солнце, и на душе моей повеселело. Захотелось щёлкнуть на фото Вячеслава Васильевича у его магазина на фоне рекламы колбас. Он отказался. И потому «Алиса» получилась одна, без хозяина, хотя, безусловно, он подразумевается, и это тоже относится к чудесам, которые дарит нам жизнь.

На том и закончим очерк наш об «Алисе» в стране чудес, который получился у нас, коротким, как интервью. Одно я понял: топора себе на ногу предприниматель не бросит. И покупателю тоже. Ибо покупатель всегда больше прав, чем продавец.

15 сентября 2013г.

Фауст по имени Генрих

Его считали настолько великим книжником, насколько малым казался сам городок, затерявшийся в холмистых степях где-то в истоках Оки и Сосны. Когда в чёрные осенние вечера проваливались неширокие улицы, когда январская пурга гнала домой поздних прохожих, всякий видел: далеко за полночь золотилось это окно на улице Ленинской, он склонялся над книгой. В нем было что –то от Фауста. В его глубоких глазницах билось все в фанатичном поиске смысла жизни; голова стала вместилищем имён, исторических параллелей, чьих –то дерзких гипотез, вдохновенных открытий. А ему было всё мало. Книги заполняли в нем всё.

Он входил домой, в свою «янтарную комнату», стены которой глядели именами великих и невеликих, цветились линиями книг. Да и какой янтарь сравнится с драгоценным убранством его комнаты!

Вот почему теплится светом и за полночь окно этой комнаты, всё богатство которой собрал по крупицам он, человек, и которая теперь делает его Человеком. А всё началось в сорок третьем.

Едва рассеялся дым от военных пожарищ, едва в городке опять появились жители, как в каменной коробке, там, где сейчас Дом пионеров, возникла библиотека. Встала, как птица Феникс, из самого что ни есть настоящего пепла: обгорелые корешки, вырванные страницы, пахнущие порохом книги... Они лежали на цементном полу. Их несли сюда люди— кто что имел, кто что мог. И первыми читателями спасенных народом сокровищ были мальчишки — исхудалая, слишком серьёзная детвора.

А потом знаменитый магазин «у Митрошки», где в частном домике, прямо на полу, были разложены новые книги, еще пахнущие типографской краской, с незабываемыми рисунками и названиями. Да, пройдут и ещё долгие годы, он,

Генрих Рыбников, никогда без трепета не возьмет в руки те, самые первые книги, купленные на материны гроши: «Остров сокровищ», «Человек –амфибия», «Белеет парус одинокий»...

Книгами тогда заразились все, а уж книги чем только ни заразили каждого. Один чудак бредил жюльверновскими путешествиями на «Наутилусе», другой помешался на музыке, вечерами «создавал» книгу, переписывая в неё все о музыке из энциклопедий, из брошюр, из различных изданий.

У Генриха, по слабости здоровья, времени было больше, чем у других: в футбол, волейбол — повальное увлечение сверстников — играть его брали редко. Да и какое могло быть здоровье у него после перенесённой войны в той убогой почтовой комнатке, куда вселили их с матерью? Ходили, лавируя между бутылями с соляной кислотой, свинцовыми аккумуляторами, на которых работал радиоузел.

Выходил, бывало, за огороды, в старый горсад, слушал тихие шёпоты вековых вязов, сидел, пока не окликала мать, не гнала учить уроки. А он всё вглядывался в первую звезду, во вторую. Иные, загадочные миры. О чем они светят? Зачем? А что течёт по жилам этого вяза, поднимаясь из земной глубины? Что же там, в глубине?

Неясные, но уже пробужденные мысли заставляли искать, листать, перелистывать десятки страниц, чтоб лучше запомнить, чтоб успокоиться, отыскав ответ на вопросы самой Природы. Они возникали из того, что виделось ему в лесу Мурашихе или в урочище Беленьком, что представлялось ему, сидя у кочки, в непостижимом мудром муравьином кипении. Он шёл тогда от Природы к книгам по географии, биологии, геологии, физике.

В старших классах его увлекло иное. Ещё кровоточили раны, нанесёиные тяжкой войной, — всюду мрачнели руины, люди, толпились в очередях; его мучило: почему и как происходят войны, что толкает людей убивать подобных се-

бе? Никакой школьной программой нельзя было заполнить ту брешь, которая образовалась в душе. Постепенно рос интерес к экономике и философии.

После школы поступил на геобиофак Орловского пединститута. С факультетскими экспедициями мечтал объездить хотя бы половину России, подняться на горы Памира, спуститься в долины Кавказа. Он повидал Чёрное море, купался в Иртыше, исходил с ребятами Центральное Черноземье.

Однажды всем курсом жили, раскинув палатки, в долине древней речушки Рыбницы, на откосах которой искали отложения прошлых геологических эпох. Над костром горели огромные звёзды, за костром была чернота, лишь торчали бивнями мамонтов берёзовые частоколы, от скрипа далекого коростеля веяло чем –то ушедшим. Он на минуту закрыл глаза: перед ним разыгрались конандойлевские картины из «Затерянного мира», кусочка канувшей в вечность жизни. Мамонты, омониты, юрской период. Дальше всё путалось, уходило. И подумал он, как ещё мизерны его знания о минувшем и будущем всего земного — этой волшебной долины, этих склонившихся звёзд, всего, чем дышится у костра.

Возвращаясь из летних походов, он ожесточённее брался за книги. На полке появлялись Ферсман, Ефремов, Тимирязев... Не укладываясь в рамки, трещали его студенческие бюджеты. Временами он боялся даже подойти к книжному магазину, ноги вели его сами. И, очутившись у книжных полок, он замечал очень нужную, абсолютно необходимую книгу. А приходя с занятий, часами лежал с книгами на кровати, чтобы не делать лишних движений, не тратить драгоценных калорий.

— Ты что, Ген? — спрашивали ребята. — Что в столовую не ходишь?

— Да вот... зачитался, — говорил он смущённо.

И они тащили его с собой. Он отдавал долг и снова, не устояв, влезал ещё глубже. Он был книжным фанатиком–

все это знали, он стал ещё большим фанатиком, когда увлекся художественной литературой. «Как можно познать дух нации без Толстого? Без Гёте? Без Бальзака?» И так без конца. А библиотека росла.

Закончив факультет, он вернулся в свой город.

Стал работать учителем. Ещё больше сдружился с Геннадием Ефимовичем Ефремовым, тоже учителем, тоже книжным фанатиком. Как-то вдвоём, учинив книгам смотр, остались не очень довольны, решили, что всё собранное бессистемно. Тогда и заключили «книжную декларацию». Каждый обязывался, покупая книгу, помнить не только о себе, но и о друге. Не один вечер провёл Генрих за листком чистой бумаги, продумывая будущую библиотеку. Собирал проспекты, вырезки из газет, листки «Книга –почтой»...

Теперь он шёл к книгам от открывшегося ему, от известного к тому, что хотел ещё познать и в Природе, и в Обществе, он строил библиотеку, согласуясь с интересами, которые уводили его всё дальше в книжные дебри. С тех пор, как начал работать, Генрих стал не меньшим фанатиком, только книги теперь превратились в его инструмент, с их помощью он двигался глубже в знания, постигая смысл и сцепление многих вещей. Близкой по духу была в такие минуты поэзия восточных поэтов Авиценны и Омара Хайяма. В поэме «Рубаи» Омар Хайям восклицал:

«Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чём нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?»

И Генрих задумывался над жизнью, добивался ответа нал вопрос: ради чего живёт он, человек, на просторах земли, какая именуется его родиной? Живёт свои, сорок, семьдесят лет, которые, правда, ничто перед вечностью? Что понял он в механизме Природы и Общества? Искал ответы в книгах с

многозначительным названием «Моя жизнь» — у Эрнста Сетона –Томпсона, Махатмы Ганди, Руала Амундсена...

А нашёл неожиданно рядом — в школе, на уроках, перед десятками детских глаз, для которых он первый открывает двери в историю родины, в сложность и мудрость Природы, которых ведёт за собой в горы Памира, с которыми уплывает в звёздные океаны. И совсем не беда, что в дипломе у тебя стоит всего –навсего «учитель биологии и географии», в иные годы тебе приходится быть и историком, и химиком, и астрономом. И не каким –нибудь, а непременно хорошим, потому что мизерна их сельская школа и контингент не позволяет держать специалистов –предметников, а сельским ребятишкам, не меньше, чем городским, хочется быть учёными, путешественниками, звездоплавателями. И ему приходится с вечера садиться за подготовку к урокам — ворошить свою память, свою библиотеку, выискивать самое мудрое, самое нужное и интересное. А недавно заболел литератор, и завуч сказала просяще:

– Выручай... Ну кто лучше тебя потянет в восьмом литературу?

И Генрих Михайлович «тянет». Когда на его уроке случается побывать кому –либо из роно, не может тот не удивиться потоку фактов и мыслей, которые выплёскивает ребятам память Генриха Михайловича. После литературы приезжие спрашивают в учительской: он что у вас, литератор? После химии: он что у вас, химик? После истории: так, может быть, он историк? Улыбнувшись, таким отвечают:

— Он просто учитель.

Прошлым летом был брошен клич: «Кто хочет в поход по местам былых сражений, становись под наши знамена!» Собралась ребячья армия, запаслись провиантом, двинулись в исторические места. А они начинаются тут же, за порогом школы. Впереди шёл учитель: «Вот здесь, помнится, стояли обгорелые «тигры», а там тянулись наши окопы, а здесь, под

Понырями, памятник генералу Седову, героям – артиллеристам, не пропустившим врага». И встаёт перед глазами виденное и прочитанное — номера батальонов и армий, имена и фамилии, горечь горящей земли. Рука в придорожье поднимает ржавый осколок...

Вырастают ребята и уезжают. Вот уж и пятый выпуск. Помнит каждого Генрих Михайлович, не забывают его и они. Один везёт из Ленинграда морскую воду, другой– в пузырьке золотистый рижский песок, третий– ветку омской лиственницы...

— Это у меня Балтийское море, — показывает на бутыль Генрих Михайлович. — А это Рижское взморье, это сибирская тайга. Вот он, весь Советский Союз.

На верхней полке, над книгами, клетка для птичек. Её на уроках труда, в знак высочайшей благодарности, сделали ему ребятишки, потому что Генрих Михайлович любит красногрудых красавцев –снегирей. Но он так и не решился заточить в неё свободную птаху, клетка никогда не становилась чьим –то жильём.

Иногда в дверь к нему стучит почтальон, вручает извещение: «Бандероль». Это – книга. Из Сибири. От бывшего ученика. Помнит парень про слабость учителя.

Генрих снимает с полки одну книгу, другую. Книги в комнате всюду: под столом, на столе и на стульях. Тесно. Но он же великий книжный фанатик, он этого не замечает. Только жалуется, что вот –де стала изменять ему память: где и в каком году купил он «Маугли» Киплинга – в Омске или на озере Рица? В пятьдесят пятом или пятьдесят шестом?

– Отмечать надо…

Почему? Просто потому, что каждая книга связывает его с той или иной точкой земли, с уходящими вдаль годами, крепче притягивает к земной человеческой жизни. Где бы ни был, куда бы ни ехал, он прежде всего думает о книгах. Он и отпуск –то планирует с расчётом на них: закатиться бы в пу-

тешествие по «меккам» российским. – по усадьбам, музеям, памятникам, где когда-то жили и творили великие. И закатывается, и везёт из путешествия связки книг, купленных на той земле, где они создавались.

Прошлым летом прошел с экспедицией на вёслах от Алексина до Калуги. Тихоструйна здесь и поэтична Ока. В ширине её лебединые облака и задумчивая Таруса, где живёт его любимый русский писатель из здравствующих — Паустовский. У её берегов белоглавая усадьба Поленово... Чудные, божественные места, на которые не может смотреть без слез всякий русский. А Калуга? Разве мог он пройти мимо домика Циолковского? Здесь ответы на его бесчисленные вопросы о звёздной вселенной, которая в будущем станет, возможно, таким же обжитым местом, как и Центральное Черноземье, откуда начала свой путь дерзкая мысль человеческая о покорении миров.

В Калуге же успел разыскать краеведческий музей, а в нём кабинет Пушкина, когда поэт наезжал в имение к жене Гончаровой, и огрызок гусиного пера Гоголя, и... После шутил с ребятами:

— Если б можно, взвалил бы на плечи весь его кабинет и перенёс бы к себе на Орловщину…

Вот и лето. Перед ним планы. Самые земные, самые жаркие. Дай придёт отпуск, опять отправится он в путь – дорогу. Непременно возьмёт с собой мать, потому что просто стыдно тебе, человек и учитель, если рядом кто-то ещё не был в Ясной Поляне или Спасском –Лутовинове, на могиле Фета или в Орловском музее Тургенева. Он привезёт из Спасского веточку дуба, того самого, о котором великий земляк писал когда-то Полонскому, привезёт и вложит в тургеневский томик, как уже вложил в том Льва Толстого листик, взятый с изголовья яснополянской могилы.

Есть, так мне кажется, в Генрихе что –то от вечного и обновленного Фауста, взглянувшего на мир глазами творца.

Все то же желание проникнуть в самую суть, узнать, отчего сейчас, как тифозный больной, огнём пульсирует вся земля? В мире идёт накопление злого и доброго, хорошего и дурного; может быть, в том и смысл наших дней, чтобы не допустись взрыва дурного, чтобы расти самому и растить себе смену готовых понять всё это и встать на пути у безумства.

А пока в книжных магазинах Глазуновки и Змиёвки, Понырей и Золотухино — на всем железнодорожном пути между Орлом и Курском, проделав путь после уроков на пригородном, время от времени появляется человек невысокого роста, в глубоких глазах которого продолжают копиться имена, исторические параллели, чьи –то дерзкие гипотезы, вдохновенные открытия. Он спрашивает энергично:

— Ну, что у вас новенького?

Как старому знакомому, ему разрешают полазить по полкам, иногда допускают и в склад. Из десятков и сотен томов он находит и берёт нужную книгу, нужного автора — того, кто бы ответил на вставшие вдруг вопросы перед ним, человеком двадцатого века, который хочет всё понимать, зараженный гигантской, поистине фаустовской тягой к познанию мира.

14 июня 1967 года

На Тихой Сосне

Хотелось бы назвать этот очерк о малоархангельском Луковце «В излуке– излучине», а потом, думаю, как это без названья речки? Ведь она сыграла изначально главную роль для обустройства села, а потом уже роковую; заставила перенести село отсюда наверх, над Гремяком, на Русское поле. Помню, когда в Луковской школе я работал учителем, директор наш Пётр Николаевич Сырцев весной, в самое половодье, перевозил, бывало, ребятишек на лодке, стоя в воде,

мокрый по пояс. Но я сейчас о другом, что запало с детства в душу мою. Навсегда.

Так я о чём? О войне о мире. Если можно это вместить в какие –то несколько страниц.

* * *

Река так и называется Тихая Сосна. Течёт она тут у нас, начинаясь с тургеневских Топков, с Верхососенья. Вот и у Шолохова «Тихий Дон», но тихий он от народной песни. Роман –эпопея «Тихий Дон», а события в нём разве тихие? Так оно и у нас: Тихая Сосна, а события, о которых я хочу рассказать, разве тихие? А лучше сделаем так: пусть события в очерке будут и громкие– о войне и тихие– о мире. И всё это из моего детства и позже, из моей молодости, и даже происходящее в наше время, сейчас.

Начнём с того, что предшествовало появлению нас, нашей семьи на Тихой Сосне, в её широкой излучине– в Луковце в мае 1943 года. Наши войска готовились к битве на Орловско –Курской дуге, и всех жителей Малоархангельска отселяли, называлось «эвакуировали», в Колпну, Красное, Андреевку, недалеко отсюда– километров за двадцать, тридцать. Нашу семью эвакуировали в Луковец. Сюда переехали районные учреждения и мы с ними. Жить мы стали в сельских домах в самой излуке– излучине. И церковь тут была тогда, и кладбище при ней, и средняя школа, и почта. Немного погодя семья наша перебралась за мост на Сосне, у танкоремонтного поля.

Тут, значит, мы и жили, когда разгорелось в начале июля сражение. И страшно же было! Весь горизонт туда, к городу и за городом, горит, всё гудит, земля вся беспрерывно дрожит. Самолёты над нами туда и обратно, наши и немецкие, перечеркнули небо. Воздушные бои, сбитые самолёты, лётчики, спускающиеся на парашютах. По селу разгово-

ры о немецких «шпионах» во всей округе. Но жуть проходила, вокруг мы всюду видели наши войска: на берегу Сосны– танкоремонтная часть полковника Угрюмова; мимо идут на новеньких гусеничных тракторах гаубицы. Это на фронт движется артиллерия РГК– Резерва Главного Командования; на собачьих упряжках прямо с поля боя везут мимо раненых и далее куда-то по госпиталям; в соседнем саду вечерами показывают кино на растянутых между яблонями простынях. Танкисты –ремонтники вечерами у костра читают «Василия Тёркина», а днём, в минуты отдыха, учат меня читать. Слагать из букв главные слова: «мама, «Родина», «мы победим».

Вот сюда и приехали к нам тогда с фронта два офицера: майор Александр Емельянович Лисунов и капитан Евдокимов. Отпустили их на побывку перед решительным боем. Познакомились с ними мы ещё в Малоархангельске вскоре после освобождения. 23 февраля – в День Красной Армии– наши части сразу же после Сталинграда вошли в наш сожжённый немцами городок. Сожгли и наш дом, это сейчас напротив памятника Пушкину. И мы поселились у соседей Лаушкиных, их дом напротив районной Администрации. И на квартире у нас оказались эти два офицера: Емельянов и Лисунов.

Только что по приказу Верховного Главнокомандующего командиры и красноармейцы стали называться офицерами и солдатами, получили погоны. И надо было отложные воротники у офицеров переделать в стоячие, подшить под них белые подворотнички. Этим занимались моя мать и сестра.

Мать моя улыбнулась майору Лисунову и говорит:

– Куда это вы с дружком наряжаетесь, ай на свадьбу?

– Хозяин приедет,– наклонился на ухо ей офицер.

Все знали, кто на фронте хозяин: Рокоссовский. Знал, конечно, и я, хоть и был пацаном. Все мы, дети войны, были тогда хоть и молодые, да ранние. Всё понимали, всё на ус,

бывало, наматывали. Так и случилось. Помню, пробрались мы, пацаны, за оцепление из автоматчиков и увидели во дворе старой школы Рокоссовского.

После, по воспоминаниям детства, я и написал об этом такие стихи.

«Китель Рокоссовского»

(в сокращении)

Был он высок и красив в сапогах.
В кителе, сшитом Филиппом.
Был тут такой у нас Лаушкин, маг,
Специалист по клипам.
В кино хоть полководца снимай–
Вылитого артиста,
Дань Рокоссовской фигуре отдай!
Видел, стоял очень близко.
Мы, пацаны, сквозь оцепленье
Как-то пробрались. В кругу
Трость проявляла особое рвенье, –
По сапогу, по сапогу!
Алый околыш, белые лица,–
Мог бы любого в окоп.
Я же на китель не мог надивиться.
Ажник он треснул под мышкой,
Сроду не видел, это уж слишком,
У генералов трескало чтоб.
В кителе, сшитом Филиппом,
Встал Рокоссовский у школы старой.
Бил Рокоссовский по клипам,
Сразу по всем кошмарам.
Я бы напротив музею
Отдал те клипы следом,
А тут бы у школы поставил Расею

В кителе, сшитом соседом.
Я бы поставил памятник тут,
Сделанный фронтовиком,
Тоже сосед мой!
Годы идут,
Не успокоюсь на том.

И вот после встречи с самим Рокоссовским, после того, как мать моя и сестра подшили майору Лисунову и капитану Евдокимову белые подворотнички, перед началом смертельного боя майор Лисунов Александр Емельянович был отпущен на побывку и появился у нас в Луковце, в нашей семье.

* * *

Целый день, с утра до самого вечера, горело, сверкало, грохотало на горизонте. С воем прямо с поля боя катили на низких тележках раненых собачьи упряжки. В танкоремонтную часть полковника Угрюмова везли «битые» танки «Т – 34». С утра мать одевала меня в белую рубашку, и я убегал к друзьям – старым солдатам, ремонтировавшим танки. Старшина – украинец сажал меня на колени, учил читать по складам, водя чёрным, грубым пальцем по газетным страницам. А после шёл чинить «битые» танки, надо было их как можно быстрее ремонтировать и возвращать в строй.

– Госпиталь танковый, – шутя называл свою танкоремонтную часть мой дядечка, старый солдат. И разрешал мне лазить по танку. А танк оказался весь в крови изнутри, валялись патроны, оторванные пальцы– чёрные, промасленные, вроде шурупов.

Увидев на мне белую рубаху, ставшую чёрной, промасленной, мать щёлкала меня по затылку:

– На ж тебе, идолёнок! Мыла на тебя не напасёшься.

К вечеру среди ремонтников появился молоденький лейтенант. Ему передали письмо из блокадного Ленинграда. Сообщалась, что вся семья его погибла, все до единого человека, нет теперь у него никого, никого. Господи, как же плакал тот лейтенант. Достал из кобуры пистолет, хотел застрелиться. Едва у него отобрали оружие. Мать моя с сестрой, положив голову его на колени, уговаривали, успокаивали, всякие находили слова.

А на другой день опять притащили к ремонтникам «битые» танки. И рассказали, как в «тридцатьчетвёрку» попал снаряд и заклинило люки. Танк горел на нейтральном поле у всех на виду перед глазами. А там, внутри, раздавались крики, рыданья того лейтенанта, летели проклятья. В такой обстановке и появился у нас в Луковце друг нашей семьи.

Майор Лисунов Александр Емельянович приехал прямо с передовой. Отпустили на пару дней как поощрение. Малых подвигов не бывает, для меня он был герой.

Мы встретили его с радостью. Собрали на стол, что могли, что было у нас, что принесли соседи. Александр Емельянович поставил на стол высокую такую, квадратную банку американской тушонки. Её выдавали гвардейским частям. И опять же американский яичный порошок. Тушонку открыли ключом на банке, в яичный порошок порезали на сковородку картошки, сделали яичницу. Поставили литровую бутыль самогона. Пришли соседи. Сначала сидели в сторонке, потом подсели поближе к столу. Александр Емельянович расспрашивал нас о нашей семье. Дедушка рассказывал о трёх своих сынах, погибших, как теперь стало известно, сразу же, в сорок первом, на главном, московском направлении. А мать моя, мама, откровенно сказала, что муж её, мой отец, где-то на Соловках. Но, поскольку в Ленинграде в войсках не хватало людей, то скорее всего воюет где-то под Ленинградом. Потому что всегда, несмотря ни на что, был патриотом, любил свою родину.

Александр Емельянович о фронте предпочитал помалкивать, не очень –то хотелось рассказывать о человеческой крови, проливаемой там сейчас, на передовой. Рассказывал всё больше о мирном времени, о своей работе учителем где-то в Сибири. И только однажды рассказал о передовой, один эпизод, который после уж вспоминал я, переложил на стихи.

Застолье кончилось. Соседи ушли. Мать моя с Лисуновым остались одни. Они занавесили окна одеялом, и, лёжа на полу, о чём –то шептались, говорили и говорили, никак не могли наговориться. Он положил голову ей на плечо; так и лежали они, замерев, когда случайно я влетел в комнату, и мне было нисколько не обидно за своего отца где-то под Ленинградом.

Утром, уходя снова на фронт, на передовую, майор Александр Емельянович погладил меня по головке, поцеловал мою мать, протянув ей своё фото, твёрдо сказал: «Марусся! Город мы не сдадим». Так и остались во мне эти его слова, его фотография, которые у меня сейчас тут в столе и на обороте которой написано: «На добрую и долгую память Марусе от Лисунова А.Е.

Малоархангельск, 1943г

Вскоре к нам сюда в Луковец передали его первое и последнее письмо. Значительно позже я написал стихи, которые так и назвал

Письмо из окопа

(в сокращении)

Милая, любимая, родная!
Мне в атаку, солнышко встаёт.
Знаю, скоро точка огневая
Всех нас до последнего возьмёт.
Просто так засыплют у дороги,

Звёздочку жестяную прибьют.
Схоронили так уж очень многих,
Тут перед окопом и убьют.
Приготовь мне, Маша, стопку, флягу
На помин души моих друзей.
Просто так лежат перед окопом–
С ночи на нейтральной полосе.
Как бежали, так и ткнулись боком,
Пулемётом ссаженные все.
Милая, любимая, родная!
Ты хоть будь, с сыночком ты живи!
Вот за вас и знамя поднимаю...

Имя капитана Евдокимова П.П. значится на плите в Парке героев, что в центре Малоархангельска. Имя майора Лисунова А.С. нигде не значится. Говорили, что погиб он где-то под станцией Малоархангельск.

Вот и всё, что касается войны и что связано у меня с Луковцем, с этим селом на Тихой Сосне. И что удивительно, так это то, что случается такое в жизни, во что, можно сказать, бывает трудно поверить. Ну, не парадокс, а всё же фантазия вроде, нарочно не придумать. В Луковец, где меня когда-то солдаты учили читать, я вернулся после института учителем. Стал учить детей русскому, литературе и истории. Давал уроки русского, уроки литературы, был ведущим историком. Помню, даю урок русского в пятом «А» классе. Домашнее задание: запишите по пять образных выражений, услышанных дома от кого –либо, потом тут почитаете, а мы послушаем. Но не такие выражения, от которых уши вянут, а чтобы и про войну, и про мир было, и вообще, чтобы было народное творчество, фольклор. Принесли, конечно, читать начали. А одна дылда сидит на первой парте. Позади неё кричат: «Слега, стропила! Она нам свет застит. Посадить её надо на заднюю парту.»

– Как это на заднюю?– говорю.– Она слабо видит. Чтоб сидеть на «камчатке», нужно,– говорю,– стопроцентное зрение.

– Ну – ка, Медведева Нина Николаевна (их в классе две Медведевых Нины: одна Николаевна, другая Михайловна), встань, почитай, что ты нам сюда принесла?

Вот она встаёт, дылда эта, и говорит:

– Я устно.

– Ну, хорошо,– говорю,– устное народное творчество. Читай, Нина Николаевна.

– Как это с дерева слезть, да чтоб задницу не ободрать?

Все так и покатились со смеху.

– Где же это ты услышала?

– От своей бабушки.

– Ну ладно,– говорю.– Это про мир. А про войну что – нибудь знаешь?

– Полковник наш рождён ухватом.

Опять все попадали со смеху.

–Ты прямо Петросян какой –то, юморист. Это же Лермонтов, «Бородино». Его мне дедушка мой читал. Первое стихотворение, услышанное от него ещё до белофинской войны, на которую ушёл его сын, а мой дядя, материн брат.

– А как же тогда надо?– спрашивает она.– Как правильно?

–Бухтияров,– говорю я ученику у окна. – Ну тогда ты прочитай.

–А мы это ещё не проходили.

–Ну тогда послушайте, что я скажу,– говорю я, а сам смотрю за окно. А там речка Тихая Сосна и поле танкоремонтное на берегу. И дом, где мы жили тут тогда, когда были эвакуированы сюда в 1943 –м.

– Майор у нас тогда был братом.

Комбат в бою, отец солдатам.

Да жаль его, сражён булатом,
Он спит в земле сырой.

А девочка такая худенькая в косичках, по фамилии Гробокопатель (ей богу такая фамилия) встаёт с задней парты и заявляет:

– И вы неправильно говорите. Надо так:

– Полковник наш рождён был хватом. А ухват– это чем чугунки из печки таскают.

– А хват это что?– спрашиваю я её.

– Не знаю, – отвечает она.

– А хват, – говорю,– это друг мой в Малоархангельске, в параллельном классе учился. А сейчас полковник Мозжухин. Так вот он хват. Хваткий! За что ни возьмётся, всё у него получается. Закончил он военное училище, аэродромы стал строить. В Паневежисе, например. Так оттуда американские самолёты теперь взлетают. А строил защищать небо нашей Родины. Вот куда Лермонтов смотрел, как далеко, когда писал своё «Бородино». К нам сюда, в наши дни. А я прочитал вам экспромт про майора Лисунова Александра Емельяновича, который приезжал к нам сюда, в Луковец, в 1943 –м году. И если бы не погиб в бою где-то под станцией Малоархангельск, то стал бы, конечно, тоже полковником. В этом я не сомневаюсь.

Вон у нас в Малоархангельске дом напротив, через дорогу, в нём живёт Серёжа Косоусов, так его дедушка погиб 8 мая 1945 года под Прагой. Вот что такое война. Тем ценнее мир.

Далее у Лермонтова: «Москва, спалённая пожаром, французу отдана».

– А мы,– говорю,– слава богу не отдали свой Малоархангельск. А сколько погибло за это хороших людей.

И вот иду я из школы после такого урока не то русского, не то литературы, не то истории, всё вместе, как у меня в дипломе записано, так вот иду к мосту через речку Тихая

Сосна, а весна, апрель месяц, травка уже проклюнулась. Замечательно, великолепная жизнь. И тут навстречу Валентин Башкатов – коллега мой, учитель труда.

– Слыхал, – говорит,– человека в космос запустили? Юрий Гагарин. Праздник на всю страну, на весь мир.

Вечером мы с Валентином Башкатовым сидели на высоком, красивом берегу Тихой Сосны и пели на всё село песни. Особенно эту новую тогда, впервые прозвучавшую песню про «восемнадцать лет». И мне тогда было не так уж далеко от восемнадцати, и Валетину Башкатову.

Эх, в жизни раз бывает
Восемнадцать лет.

Так вот и остался у меня этот Луковец в памяти. И майор Лисунов, и танкисты, учившие меня складывать буквы, читать. И Юрий Гагарин, полетевший в космос, и песня эта про восемнадцать лет на Тихой Сосне. И вот готовил я книжку «Малоархангельск. Глубинка русская моя» и решил побывать в тех местах. Привезли нас с писателями – орловцами на святой колодец Девятая пятница. Это чудо природы, где вода бьёт на немыслимой высоте и течёт вниз в Подкопаево, как в городе по водопроводной трубе. А потом, думаю, дай пешком от колодца пройдусь через Медведево вниз на Луковец, к излучине Тихой Сосны.

Захотелось посмотреть на все эти места, где я был когда-то учителем. Особенно на среднюю школу, на магазин возле неё. На церковь, бывшую тут когда-то, на кладбище возле церкви. Ничего нет! Ничего абсолютно. Как корова языком слизала. Даже моста нет через речку. Ни школы, ни интерната, ни магазина. Только три –четыре дома и осталось. Ну как зубы во рту у старухи. В одном из домов тут на берегу Тихой Сосны жил когда-то мой друг учитель Ефремов Геннадий Ефимович– участник атаки на Сабуровском поле.

Грустно стало. Ужас берёт. Даже Гремяк – ключ наверху под больничкой, в самой излуке, уже не гремит. Ослабели

что –то подземные воды, но пока что текут. И танкоремонтное поле, на котором после помидоры сажали, всё красным бывало в сентябре от помидоров. И речка Тихая Сосна вот она, только мельче стала, вместо моста тут теперь в брод переправляются. В общем центра села нет, кладбище есть, воинский памятник есть. С каменным коленопреклонённым солдатом. А старого Луковца нет, что в излуке Тихой Сосны. Есть Новый Луковец там, наверху, со всей атрибутикой в поле, где больничка была, он теперь с сельсоветом, средней школой, почтой, магазинами, жилыми домами. А тут ничего. Село переехало, кочевники. И такая грусть душу мою взяла, так меня всего прохватило насквозь. Как же так? А память? А майор Лисунов? Юрий Гагарин, песня под баян на Тихой Сосне?

Когда мне от чего –нибудь тяжело, разволнуюсь, то прежде чем прозе начаться, из меня, стихи сыплются, невозможно сдержаться.

Скит

(в сокращении)

Старый Луковец на Сосне.
Мир намоленный где-то на дне.
Новый Луковец, новые лица–
Глазу не за что зацепиться.
Старый Луковец ещё дышит
Два –три дома пока, две –три крыши.
Скит мне видится, скит мне снится,
Чтобы было кому молиться.
Благочинный! Архимандрит!
Учредите, поставьте тут скит!
Пусть стоит под горой в три ключа,
В русских душах не гаснет свеча,
В русских душах не гаснет свеча.
В русских душах не гаснет свеча.

Стал подниматься от танкоремонтного поля по Можаровой вверх на Новый Луковец, и сами закончились те стихи во мне такими словами:

Здесь учили меня танкисты,
Сам потом пацанов учил чтению.
Помоги, Боже, этим неистовым!
Дай им свет с небес, просветление!

Красота –то какая тут на Тихой Сосне! Вид, что у колодца Девятая пятница, с городищем на Дайменке, которому тысяча лет, где, скорее всего, бывал Одиссей. Родине присягайте, Родине! На такой высоте песни бы петь, концерты давать, оперы ставить, как «Аиду» у египетских пирамид.

Отсюда уходили тогда на Запад, за Малоархангельск, наши отцы –солдаты; сражаясь, гибли с песней в душе за семью свою, землю нашу, такую красивую, бесконечную, вечную.

Мой край, мои люди, родная сторонка,
Одна ты, одна у меня, у меня.
Иду я на песню, на звон жаворонка,
Шагаю по травке, в сияние дня.
А поле, а поле, о Русское поле!
Степи до моря, седые хлеба.
Ты– моя нежность, ты — моя доля,
Пусть и дорога, жизнь и судьба.
Как мало нас тут– под грозой, в урагане,
Свой ход, свою поступь сменю на коня.
Поймаю я ветер– следы на кургане
Спасают Россию, спасут и меня.

5 сентября 2013года.

«Ave maria»

Вот она какая, матушка Волга. Вот какие её могутные волны... Гуляла по ним разинская вольница, ухолила к синему морю вольная расейская мысль, веками сливались сюда счастье, беды, недуги народные. Ах, и кому только вздумалось назвать всё это «вечным покоем»?

Ветер бросает по лицу кольца волос, с силой отгибает за спину футляр инструмента, а в душу величественно вплывает баховская мелодия. «Ave... ave... ave Maria»... О чём молит она берега? О чём вызванивают цепи барок и у причала в полёте перекликаются чайки? О чём эти ритмы великой реки?

Он принёс сюда Баха в себе, в своём сердце. Сегодня он играл на экзамене в консерватории. Он не мог играть её плохо...

Его «Ave Maria» начиналась с маленькой Очки, которая вырастала в большую Оку, чтобы дойти вместе с волжскими водами до этих казанских окраин. Его «Ave Maria» начиналась в трудные годы.

В разрушенном войной городке не было хлеба, чтоб накормить почерневшего Юрку, голод гнал его по деревням. А жизнь уже поднималась. Как трава, примятая стальными гусеницами войны. В одной деревушке он видел, как люди пахали на танке, свернув искалеченную башню назад. В такой же машине весёлые ребята –танкисты возили патефон с единственной пластинкой. Они называли её странно и непонятно — «Ave Maria». И когда, посуровев, проигрывал её перед боем ребята, Юрка знал, что она всё равно о России.

То было и щедрое время. Здесь, на Орловско – Курской дуге, каждый мальчишка мог владеть пулемётом. У Юрки было своё оружие. Однажды, когда он грохнул из «поджигного» и дымом заволокло весь класс, его исключили

из школы. Он стал бы, возможно, таким же, как многие сверстники, кого разболтала, сбила с пути война, но «Ave Maria»... Один из танкистов мечтал сыграть её после войны на скрипке, и Юрка с тех пор думал о том же.

До новой школы было не близко. Дорога. Пыльная, взбитая машинами и пешеходами дорога –работница. Валит усталость от пройденных километров, а перед глазами крутой изволок, а за ним новый подъём.

«А –ave... ave... ave Maria»..— память крутит тускнеющий диск, выцвели звуки далёкой пластинки. Он оживит их своими руками, в его пальцах гудит напряжённая музыка, только бы им инструмент. Значит, надо идти, идти. Неделю. Месяц. Год. А за этой дорогой другая. Станция, пропахшая паровозами. Впервые он видит их не на картинке, впервые едет в зелёном вагоне в город с большими огнями.

Желтеет в Орле двухэтажное здание на Ленинской. Здесь Юрий прошёл всё до последней ступени. Друг по училищу Эдик Мищенко ушёл отсюда прямо в консерваторию, стал виртуозом, знаменитым на всю страну. А Юрия его «Ave Maria» позвала к своей колыбели.

Он вернулся в родной городок, глохнущий в тополях и садах, чтобы делиться с людьми смыслом познанного самим, чтоб открывать с малых лет им великие таинства Баха.

В первый же вечер своего возвращения он сидел в скверике у репродуктора. Кажется, играли Шопена. Фортепьянные капельки вальса растекались по листьям, чтобы, собравшись, пролиться на землю лавинным потоком. Закипал ураган. Билась в нём трепетная мелодия — страстная исповедь непобежденного изгнанника... Вывалилась толпа из кино, прошмыгнул к танцплощадке подросток. Не остановился. Не повёл оком. Юрий понял: впереди тяжёлые будни, нужны большие силы, чтобы сдружить с «Ave Maria» весь этот издревле русский край.

Он заготовил для себя единственную табличку «Идут занятия. Преподаватель Ю. Г. Поздняков» и повесил её на двери «резиденции», отведённой под детскую музыкальную школу в каменном домике.

Он замышлял учить самых способных, самых таантливых. Сельских детей. Может, где-то в глухой деревушке живёт тихий хлопчик талантом в Шаляпина, гоняет в ночное табун лошадей, и будет очень обидно, если хлопчик так и не станет Шаляпиным.

Когда к первой табличке прибавились ещё две, директор устроил экспедицию преподавателей в ближние сёла. Сам он поехал в места, где встретилась когда-то «Ave Maria.» В детстве его поразила одна мелодия — нехитрая, тонкая, с большими глазами, как у соседской девчонки Марийки. Теперь его «Ave Maria» не та, он наполнил её своей жизнью: глубью сложных житейских раздумий, узорами элегической грусти; в ней ведут свою партию каждое чувство, каждая мысль...

И село теперь стало не то. Антенны, антенны. Свежие срубы домов. Из школы Юрий повернул знакомой тропкой к Сосне. Всё так же темнело на берегу срубленное в лапу строенье, разве что присело маленько, да хозяйка с годами превратилась в старуху.

— За песнями к вам приехал, Матвевна. Таланты меж детишек ищу.

— За песнями в Москву, братец, ездят. А у нас что?' Отколь в детёнках таланту случаться?

«...А ведь права, пожалуй, Матвевна, — размышлял он по дороге домой.— Талант, что гриб на сухом не родится. Сейчас хоть молодёжь по дворам завелась, старики, говорит, гармони из сундуков потащили, да играть некому. Вот и кстати будут курсы хоровиков –баянистов...»

В пути он окончательно понял, что музыкальная школа не только для ребятишек. Она больше других в ответе, чтобы скорей прижилась здесь «Ave Maria», чтобы вольготней

жилось художественной самодеятельности в окрестных сёлах и деревнях. Тогда и дал он слово Матвевне вернуться сюда с концертом.

И вот агитбригада в пути. На свёртке с Колпнянского большака их поджидали бульдозеры, разметавшие снег по дороге до самых Топков. Возле нового здания толпится народ. Стальные ножницы в руках председателя Никишина, депутата Верховного Совета страны. Сталь касается шёлковой ленты, звонче литавры в оркестре! Такого дворца не держала ещё на себе эта древнняя земля славянина. Он стоит перед рампой, врезанный в красный занавес, — крепкий, по –русски скроенный парень в чёрном концертном костюме. От волненья потеют ладони, к галстуку подбирается ком. Вон в цветастой шалинке Матвевна. Узнаешь мальчишку в обносках? Вспоминаешь то тяжкое время, тех парнишек – танкистов, патефон и единственную пластинку?.. За спиной дышит красными складками бархат — огненное напоминанье войны.

«Берёзы, берёзы», — скорбит баритон Юрия. Сколько их над могилами павших. Не клониться им лишь над танкистами: они сгорели тогда в сорок третьем в оплавленном танке где-то у Понырей. Но жива их «Ave Maria», их золотая мечта. « Неужто свинцовой метелью земля запылает окрест?» Неужто Матвевне опять получать похоронки, биться головой о коник теперь уже по сынам. А то мало выплакала в полушку она вдовьих горючих слез... Зал отпустил артистов после того, как обещали ребята наезжать сюда с каждым новым концертом.С той поры потекло: днём занятия с ребятишками, вечерами — преподаватели с духовыми оркестрами, с ансамблями баянистов. Белоснежные манжеты взлетают над десятками глаз: Юрий Григорьевич репетирует с хором.

И так всегда. Время до предела стиснуто работой, к вечеру в ушах Вальпургиева ночь: рычит баян, растягивае-

мый Васей Курочкиным — курсантом из кооператива «Заветы Ленина», срывает секунду труба Бори Наумова, что –то доказывает ему преподаватель Шумигай...

Но через полчаса педсовет. У Юрия Григорьевича идея, эта идея со времён ещё той экспедиции. В сельских школах, где на уроках пения знают лишь «Чижика», мудрено родиться таланту. А найдётся какой педагог –самоучка, растерзает слух первоклашке — бейся, мучайся, переучивай потом. До начальной школы отсюда подать рукой, можно взять шефство над ней. Сказать по секрету, Юрий Григорьевич уже второй месяц занимается с первыми классами. Сидят этакие «пузырёшки» за партами, распевают уже по нотам.

«Вот и будут, Матвевна, вырастать, как грибы, таланты. Поднимется наша смена — знающих и умеющих. Такие не выключат дома радио, когда играют Шопена. Им идти дальше и выше. Потому что у них — эта школа, потому что дорога их начинается с нас»...

Юрий Григорьевич прислушивается: в дальнем классе играют «Ave Maria», это Ваня Печурин. Мерные звуки рояля взбираются на вершину, старинным хоралом строго дышат аккорды,а в глубях зреют искромётные звуки, способные разрушить хоральную строгость аккордов... И откуда в мальчишке чутьё и понятье великого Баха? В этом худеньком хлопчике из деревушки Широкое Болото, где нет, конечно, никакого болота, где в дрёме яблоневые сады, где заходят рассветами майские грозы, чтобы тревожить курского соловья... Он играет не великого Баха — он играет сейчас своё детство, родную деревню, Россию...

Юрии Григорьевич смежает ресницы и видит сцену из луговины, купол из целого неба и гигантские хоры из сёл и деревень, поющие величественную мелодию... Он отгоняет виденье. Берётся за инструмент: скоро летняя сессия. Снова ехать в Казань, в консерваторию…

Где-то здесь начинается Очка, чтобы, став полноводной Окой, докатиться до волжских быстрин. Говорят, всё

большое в России сливается в Волгу. Потому –то она необъятна, потому никогда не иссякнет. Как таланты. Как большие дороги. Как жизнь.

15 июня 1964 году

Сольвейг

Зима была уже на исходе, в полях истончались снега. В такие дни небольшой степной городок Малоархангельск обтаивал, оживлялся; всё чаще появлялся на улицах с рыжим этюдником учитель местной средней школы Иван Алексеевич Семеновский. Стоял под капелью; услышав в себе привычную песню, представил Сольвейг вдруг в мраморе — материале столетий и чувствовал себя искусным и мудрым, этаким древним греком, могущим, наконец, её вырубить, выточить в камне. Приехал в Орёл, обратился в худфонд.

— Впервые... по мрамору? — удивились учителю и, хотя камень дали, улыбались загадочно, советовали выписать «копир –машину», вспоминали о чужих неудачах. А он верил в неё, свою Сольвейг. Слишком долго верил в неё.

Он встретился с ней ещё в сорок втором. Под Сталинградом. После тяжёлых боев их танковую часть — измотанную — отвели на пополнение. Под вечер экипажи набились в землянку. Сидели усталые, тихие, недосчитав друзей. Горела печурка, кровавые блики перебегали по жёстким от пороха лицам. Вошёл капитан Гаршин, на миг заслонил собой печурку, поставил на ящик из –под снарядов старенький патефон. Опустил на пластинку мембрану — сквозь шипенье пробилась мелодия, нежная, трепетная, как пламя свечи. Пел женский голос:

Пусть радость и счастье тебя озарит.
Верна я останусь...

Дрогнули обгорелые веки у Николая –радиста, кто-то тайно вздохнул. Иван прикрыл на минуту ресницы: она шла к нему, его Сольвейг, — простоволосая, русая, чуть скуластая девушка, какие не редкость в орловских степях. Она пела — молчали ребята; у каждого где-то была жена или девушка, и эта песня звучала признанием в верности, их клятвой жить и надеяться, ждать и любить... Как могли, берегли в батальоне пластинку: старательно затачивали на камне иголки, прикрывали собой в бою гаршинскую машину. Да не уберегли; сгорел командир вместе с пластинкой в танке на Орловско –Курской дуге...

В свой городок, лежавший как раз в самом пекле этой дуги, Иван возвращался уже после войны. Всё здесь лежало в руинах. И первым его словом к погибшим товарищам — Гаршину и другим, первой его серьёзной работой стал проект обелиска, что стоит и сейчас в Малоархангельском сквере, и в прямых строгих линиях, взывающих к тучам, — та же грустная песнь...

Он тогда устал от всего, душу тянуло к гармонии, миру, к какой –нибудь тихой профессии. Пришел в школу. Учителем. Не было ни бумаги, ни туши — до черчения ль, до рисования? И снимали, заменяли ему уроки. Он отстаивал своё: возрождающейся стране нужны инженеры, всесторонние люди, нет и не может быть второстепенных предметов!

Иногда он брал с собой ребят на пленэр. Уходили на улицы и в окрестности, следили, как догорает закат, каково в этот миг состояние воздуха, что от этого полю и листьям. В этюды ложилась зима, когда всё небуйно, всё чутко. Любили местечко Беленькое — ручей, крутолобый бугор. Почему оно Беленькое? Исторически. И встарь ведь жили не бесталанно: узрел мужичонка, труся на пегашке из города, как светит, горит, выделяется после пурги длинный южный бугор, да так и нарёк его — Беленькое.

Над оврагом тополилось Костюрино— деревушка, куда писал письма Тургенев, где жил некогда прототип его Рудина. Принавоженный зимник вился дальше и дальше — на Хмелевое, где в когда-то тургеневской вотчине и родился учитель... Он забылся на миг, представляя детство своё, тропки –стёжки, лесишко, шумевший прямо за огородом, и свою родословную, уводящую к хмелевским крепостным, к деду их, здешнему Ломоносову, знаменитому тем, что хребтом своим, чудом из подпасков пробился к учению: кончил с золотой медалью гимназию, попал даже в университет, знавал шесть языков. И, бывало, зимой вечерами, когда пахари на гулянке, собирал батька Ванин детишек; открывал таинственный дедов сундук — извлекались дедовы книжки. Батька вслух их, а он, Ваня, зрит на дно — на альбомы, где на жёлтой бумаге рисунки дедова производства. Нет, таланты на пустом не родятся — чернозёмно в родимом краю.

Примечал учитель: земля — это люди; что без них эти реки и долы, эти балки, волновеи — поля? Он пришёл однажды к учителю — своему, довоенному, ещё педучилищному, что посеял в нём семя художника. Это был человек! Всё ли высказано о нём в той единственной книжке Мартынова: в революцию Королёв — член ревкома, в сорок первом — подпольщик. Сколько он, в безобидной роли часовщика, изготовил партизанам бумажек, печатей, положив на алтарь победы талант! Да вот годы... Поослабли глаза, заветвились морщины. Он, Иван, сохранит Королеёа потомкам, создаст его скульптурный портрет. К тем дням Семеновский был автором уже двух работ: одна куплена в областной краеведческий музей, другая — «Проклятье войне» — послана на Всемирный фестиваль молодёжи в Москве. Когда делал «Старика –партизана», вновь возникла в нём трепетная, фронтовая мелодия — Сольвейг звала его к свету и тишине. Портрет оказался удачным: на областной выставке получил

диплом первой степени, на Всероссийской выставке учителей — второй.

А время летело. Мир потрясали события, рождались и умирали художники. Одно было лишь неизменно: учитель учил детей, участвовал в конкурсах — в областных, всесоюзных. Закончил на «отлично» заочный худграф Московского пединститута имени Ленина.

...Все здесь в городке хорошо знают учителя — человека уже седоватого, невысокого, плотного, как говорят, широкой кости. Кто из среднего поколения минул его: одних он учил самих, у других сейчас учит детей, ну, а третьи... Третьи — те, что являются с просьбой или за советом: сказать «поучёнее», как отделать квартиру, прочесть на вечере лекцию о художнике, музыканте. Он выступает в Доме культуры и в школе. И особенно — на уроках. Ему дороги эти ребячьи глаза. Потому его очень легко «завести». Вот он, вижу, в шестом. Голос тихий и глуховатый, на широком лице доброта. Дав «натуру», объясняет тени и полутени, учит, как самим искать с данной точки форму и композицию, а потом, когда все уткнутся в бумагу, остановится у Стародубцева и, следя, как встает, возникает в легких, беглых штрихах у мальчишки «натура», улыбнётся ему, поглядит за окно с верхнего этажа и начнёт. О преданиях местных, о том, что именно тут в прошлом веке, в этом богоспасаемом месте, Пушкина по пути на Кавказ приняли за ревизора. О тридцатилетнем художнике прошлого —академике Шварце, родившемся в окрестном селе Белый Колодезь и писавшем пейзажи в картинах со здешней натуры. О художнике, тоже земляке, Николае Ивановиче Струнникове, картины которого («вот поедем в Москву на каникулах») можно посмотреть в Третьяковке. А потом вдруг предложит организовать встречу с сестрой художника — Марией Ивановной, учительницей –пенсионеркой, живущей через дорогу, и ребята долго будут обсуждать перипетии будущей встречи. А когда

зазвенит звонок, подойдёт к Стародубцеву Иван Алексеевич, скажет:

— Приходи на кружок изоискусства. Будем вместе, смекаешь?

— Смекаю, — улыбнется мальчишка учителю.

Кто придёт, тот уже насовсем. Будут мять пластилин под музыку, вместе ходить на этюды, открывать и любить свою землю, вместе думать о многом. Так и лепит ребят учитель...

А недавно к нему заезжал художник Смекаев. Ну, конечно, тот Коля, с кем ходили когда-то на Беленькое. Вновь брели по своему городку. Всё в нём тихо, замедленно, но — к ревнивой радости жителей бывших и настоящих — кое – что всё же делается: пущен новый завод, зажглась телевышка, вырастают дома, асфальтируют улицы. Когда делают в городе что –то не так, по его неразумно, Семеновский долго переживает, а, решившись, спешит со своим предложением в органы власти, И прислушиваются, соглашаются — знают: вряд ли есть ещё здесь иной человек, что, как он, пройдя всюду с этюдником, знает так городок, перебрал в уме дюжину вариантов, что и как, где застроить, чтобы сделать красивее каждое место.

— А вот новость, — кивает Смекаев на кинотеатр, — в прошлый раз, приезжал, мемориальной доски вроде не было. Кому б это? Николаю. Ивановичу Струнникову...

— Да уж где ещё? — вздохнул Семеновский. — Сам знаешь, старых зданий ни одного — все война подмела. Решили здесь...

Вот и всё. Ни единого слова о том, как ходил, хлопотал по инстанциям, как доверили ему открывать эту доску. Лишь пройдя ближе к ней, уловил Николай– подобрался, напрягся учитель, словно вновь ощущал в руках шнур, ускользающее покрывало.

Не один, наезжая, заходит домой к учителю — из давнишних, недавних учеников. Дом его открыт всем. В городке, где нет галереи, музея, это просто необходимость. Сколько лет мечтал Иван Алексеевич о своём уголке, где бы мог он расставить работы — для мальчишек, для всех, для себя! И теперь этот домик по улице Ленина всем от мала до велика известен в округе. Всё здесь сделал один человек: и филенчатые узорные двери («как в Зимнем»), и даже мебель, этюды акварелью и маслом, висящие на стенах главной комнаты –«салона», как шутливо называют её поклонники таланта этого человека. И, конечно, скульптуры. Их немало. Глубоко раздумчив Тургенев, лиричен Есенин. Полна невыразимой печали девушка в композиции «Не пришёл». Каким криком взметнулся газовый шарф у Анны Карениной перед её решающим шагом! Зато как лукав «Балалаечник» — первый парень на деревне, из которого так и рвётся искристая песня. А от «Сольвейг» — лишь гипсовый оригинал...

После того мартовского воскресенья, когда «Сольвейг» вообразилась вдруг в мраморе, он больше не знал покоя. Отправился как-то вечером к своему бывшему ученику, теперь другу и тоже учителю, Рыбникову. Тот, как всегда, копался в своей «золотой комнате» с книгами до потолка. Пришёл Воробьёв, тоже учитель.

— Сейчас, — отложил Рыбников энциклопедию и, хитро улыбнувшись, поставил пластинку на диск приёмника. — Как раз привёз из Орла.

Раздались первые звуки — Семеновский узнал её, свою Сольвейг, нежную, трепетную, как пламя свечи.

Быть может, зима и весна промелькнёт,
И ясное лето, и снова весь год.
Но когда –нибудь,,. придёшь ты сюда.
Всё жду тебя...

Закрыв глаза, слушал он музыку, и вновь вспоминалась землянка, старенький патефон, капитан Гаршин, кото-

рого ждут, как и Пера, всю жизнь... За окном поскрипывали свежим снегом прохожие — ему казалось, что он, Иван, в далёкой Норвегии — стране узких фьордов и неярких цветов, в такой же провинции — холмистом Трольдхаузене, где провёл свои лучшие годы Григ, и что это спешат к нему в запорошенный домик под елями герои великого норвежца: суровые викинги, рыбаки, возвращаясь с уловом, добрые феи, косматые гномы и, наконец, это чудо — Сольвейг.

— А ведь я, братцы, освобождал Норвегию, — шевельнулся Воробьёв. — Осенью будет тому двадцать пять лет...

«Пора, — решил Семеновский, — пора... Сделаю, подарю к юбилею музею в Трольдхаузене». С того дня он попал под жёсткий контроль Воробьёва.

— Ну, как, — входил тот в сарай, где работал Иван Алексеевич и констатировал удовлетворенно: — Наступление продолжается.

Дни и ночи сплошной лихорадки — и вот она в гипсе. И хотя, кажется, найден характер, — да что мёртвый гипс! В ней была какая –то скованность, недосказанность, северный холод.

Уставал, приходило порой отчаяние. И тогда отправлялся на улицу, к людям, к друзьям.

— Ну как? — встречали его соседи и школьники, просто знакомые.

— Работаю помаленьку, — отвечал он уклончиво, а на душе почему –то светлело.

Он рубил её в своих «мастерских» — в полутёмном сарае, а когда, завершив, перетащил в «салон» и поставил на свет, остановился, изумлённый содеянным: его Сольвейг жила.

Просвечиваясь, жизнью теплился камень. Белоснежная, чистая Сольвейг ждала любимого Пера, окаменев от веков. Приходили из школы мальчишки, трогали осторожно.

Он отвез её, живущую в камне, в Москву, в общество «СССР—Норвегия». Её приняли. И вот в ноябре, когда на родине великого Грига будут отмечать четверть века изгнания фашизма, туда отправится и орловская «Сольвейг»– вдохновенный призыв к миру и совершенству, к дружбе разных народов, напоминание о тысячах павших за Скандинавию, которых, как и Гаршина, уже не дождутся любимые...

Уж за полночь. Давно спят домашние; и младший сынишка, и даже старший, а он, вдохновляясь, друзьям открывает всё новые замыслы — о том, как продолжит линию «Сольвейг», создаст музыкально –лирическую галерею: Есенин, Шаляпин... Это в здешних местах начинается Очка, чтоб, окрепнув, влиться в Волгу серьёзным притоком, донести свои воды до волжских просторов, где явились миру эти богатыри. Он их чувствует через музыку, видит в будущих композициях: «Апассионата», «Элегия». Образ Есенина требует воплощения в дереве. Только дерево, из земли извлечённое, земными вспоённое соками, может выразить всё...

И теперь все в округе, мальчишки и взрослые, ищут учителю дуб, нужный комель, когда бродят по осенним дубравам с лукошком, когда с опушек перевозят в омшаники на зиму пчёл, на просеках косят отаву. Ничего утешительного. Пусто. И вот наконец –то! В дом влетел Воробьёв и с порога:

— Нашёл! Едем в Каменский лес.

В то же утро, когда он к тому же завершил в школе оформление ленинской комнаты, к нему забежала одна из его учениц: поступила на худграф пединститута! Это в семье Черкасовых уже третья, — талантливая семья. Значит, капли падают в добрую почву: и кружок, и уроки, все слова его…

А недели бегут. Родилась, зазвучала в «салоне» «Апассионата». Пусть пока ещё в гипсе. Тихо! Люди слушают музыку...

23 сентября 1969 года

Живущая в камне

Есть в небольшом степном городке Малоархангельске улица Ленина, а на ней домик, известный всем в округе от мала до велика. Все здесь сделано руками одного человека — от узорной филенчатой двери до пейзажей акварелью и маслом, висящих в парадной комнате—«салоне», как шутливо называют её поклонники таланта этого скромного, замечательного человека. Здесь живёт художник высокого поэтического настроя, местный учитель рисования и черчения Иван Алексеевич Семеновский. Вся жизнь его– это большая, суровая, но вдохновенная книга, страницы которой — годы бескорыстного служения искусству: не феерического, моментального взлёта к славе, но аномерного, упорного поиска и труда, за которыми, верится, придёт и известность.

Родился он в здешних степях, детство прошло среди сельской природы, которая создала из него натуру впечатлительную, склонную к тонкому лиризму. Мечтал о высшем художественном образовании, но грянула Отечественная война. С первых дней её он участвовал в боях.

После войны пришёл учителем в школу. Поступил заочником в Московский педагогический институт имени Ленина, закончил с отличием художественно –графический факультет. Увлёкся скульптурой.

Мы сидим в уютном «салоне», нас окружают его работы: Анна Каренина, Сергей Есенин, портрет Тургенева, лирическая композиция «Не пришёл...». Одни из них участвовали в различных конкурсах, другие никогда не покидали этого дома. Мы сидим и вспоминаем последнюю и, как всегда, самую любимую работу автора — «Сольвейг». Недавно она была здесь, всё ещё дышит воспоминаньями о ней. Когда он перевёл её из гипса в камень, сам остановился изумлённый. В его гипсовой «Сольвейг» были северный хо-

лод, какая –то недоговорённость. Впервые он взялся за мрамор, и вот его «Сольвейг» живёт.

Иван Алексеевич рассказывает, как создавался образ:

— Случилось это в один из дней Сталинградской битвы. После тяжёлых танковых боев поздно вечером мы расположились на отдых. В тесной землянке собрались несколько экипажей. Тускло светился огарок свечи. Духота и усталость клонили в сон. Неожиданно в землянку вошёл высокорослый капитан Гаршин. Он осторожно поставил на ящик, заменявший стол, старенький патефон. Раскрыв его, положил пластинку.

После недолгого шипения чуть слышно полилась мелодия, которая сразу же для меня показалась близкой и дорогой. Затаив дыхание, слушали мы необычную песню.

Это была песня Сольвейг. В ней был трепет жизни с её радостями, тревогой любви и разлук. Каждого из нас где-то далеко ждала любимая или жена. В сердце западали слова Сольвейг, сильной духом, уверенной в своей прекрасной мечте. Песня Сольвейг утверждала в нас веру в победу, в наших любимых. Бережно хранили мы эту пластинку. Старательно затачивали на камне иголки, чтоб не испортить её...

С той поры прошло много лет, но военные впечатления преследовали меня. Не раз пытался передать их в скульптуре. Временами неудачи охлаждали мой пыл.

Я читал книги о Григе и Ибсене, о далёкой Норвегии, и рождалась она, моя Сольвейг, — дитя суровой природы, страны узких фьордов, морских шквалов, неярких цветов.

Торопливо бежали пальцы, сминая куски глины. С утра до вечера. Так продолжалось несколько дней. Наконец скульптурный образ был готов. Более двадцати пяти лет прошло с тех пор, как я начал искать Сольвейг. Мне хочется, чтобы её светлый образ не знал никогда больше мрачных землянок, чтобы она облагораживала человеческую натуру, звала её к гармонии, миру.

Видимо, поэтому своё детище скульптор решил посвятить делу укрепления дружбы между советским и норвежским народами. Он отвез её в Москву во Всесоюзное общество культурных связей с заграницей с просьбой передать в дар музею Грига. Скоро будет отмечаться 25 –летие изгнания из Норвегии немецко –фашистских захватчиков, многие советские воины отдали свои жизни за освобождение этой скандинавской страны. В далекое путешествие отправится орловская «Сольвейг» — вдохновенный призыв к миру, к дружбе народов.

9 августа 1969 года

Пробуждение девонской глины

Русский учёный академик Алексей Фёдорович Лосев в своей работе «Философия имени» сказал: «Без слова и имени нет разумного бытия». Под влиянием вдохновенного слова пробуждается в рабах творческая сила, у невежд– светлое сознание, у варвара– теплота и глубина чувства, когда родные и вечные слова и имена, забытые или даже поруганные, вдруг начинают сиять светом, и силой, и убежденьем. Как видим, имя для человека, тем более творческого, значит многое, вызывая массу всевозможных ассоциаций и воспоминаний.

Вот художник Жанна Травинская.

Чувствуете, каково сочетание, само стояние слова? Тут и Жанна Д'Арк с её убеждённостью, героической силой духа, ввергнувшей её в лоно костра во имя спасения Родины. И какое –то невероятное язычество в фамилии, в его связях с искусством, да ещё с именно художественно –прикладным. Это даёт угол зрения, возможность видеть своеобразие художника. Главное, по моему убеждению,– Жанна Анатольевна как художник– прикладник светоносна и цветоносна в восприятии мира, творческом изначале, в искусстве.

За именем Жанны усматривается характер, присутствие духа. Она родилась в Дебальцево, на Украине, хрупкой, поэтичной, с трепетом счастья в груди. Орёл увёл её в сказку детства, где необыкновенны антоновские сады, встречи леса со степью, поэтичный городок Новосиль– родина её бабушки. «И эта сказка стала явью в 1963 году,– говорит Жанна Анатольевна,– когда я, закончив Абрамцевское художественно –промышленное училище, приехала по направлению в Орёл». Начался мир радостных мук, творческих взлётов и падений, обретение новых сил.

Создавая образцы тиражных изделий, она брала за основу крепкие народные формы гончарных мисок, кубанов. Так родились сувениры: «Орнаментальное», сосуд «Орловчанка», «Малоархангельские кубаны», декоративные плакетки «Орловский спис», «Птица».

Текуче –певучие формы орнамента, по её словам, возвращали её к истокам, к магии знаков, аллегорий. В лёгкости почерка одновременно улавливалось нечто суровое, монументально значимое. Возникал мир символов, который ложился на духовную волну, сливался с художником, и уже сама душа жила по законам орнамента: отлив– прилив, отлив– прилив. Руки сами творили на плоскости круга, в области формы, создавая внутренний строй, состояние полноты и объёма. Так появилась серия блюд «Вариации Орловского списка», пластики «Орловчанка», «Мелодии Орловщины», вазы «Цветущее поле», «Сосновый бор», «Шахматы», «Мир да любовь».

Потом была творческая поездка на Алтай, которая целиком захватила её. Были созданы серии «Старый Барнаул», пласты «Чуйский тракт», «Шофёры Чуйского тракта», «Алтайская мадонна». И опять Орловщина, Тургенев. Литературные герои из «Записок Тургенева» воплотились в вазы «Хорь» и «Калиныч», композицию «Все хорьки». Для вновь отстроенного в 1977 году дома –музея в Спасском –

Лутовиново были созданы серии «Маковое поле», «Вечные цветы Тургеневу», состоящие из разновеликих терракотовых ваз– стеблей, покрытых ярко –красной поливой. Внутрь головки – чаши наливалась вода, в которой отражались лепестки, создавалось впечатление волнующихся на ветру растений.

В серии «Спасское –Лутовиново» Жанна Травинская впервые оторвалась от круга . Каждая новая работа– это уже геометрически выверенный квадрат или прямоугольник. вазы – монументальные сосуды. Вырывается из этой формы любимый дуб Тургенева– сами вазы как стволы старых лип.

И это всё– неустанная работа духа, самосожжение на костре, проявление внутренней энергии, творящей свет, цвет и добро. Всё это керамические краски, живописные картины, писанные огнём сердца. И любимый материал– глина, трепеты звонкой души, передающей любовь. Всё подвластно этой глине изначально, вроде бы серой, невзрачной массе, затем художник сливается с ней и начинается колдовство. «Я занимаюсь этой магией глины уже более 30 лет»,– говорит Жанна Анатольевна. А вот что сказал о ней рано ушедший наш замечательный художник Юрий Арбузов: Жанна Травинская любит работать с глиной, в своих панно, сервизах, декоративных тарелках и вазах стремится передать всё прекрасное, что есть в глине. И на всё Жанна Анатольевна смотрит восхищёнными детскими глазами сказочника и мечтателя.

А вот что пишет о глине в руках художницы искусствовед Л.Иванова: «Пластичность, мягкость и подвижность глины отвечают творческому характеру Ж.А.Травинской». Кандидат искусствоведения С.И.Фёдоров также подчеркнул именно такую особенность творчества Жанны Анатольевны в работе с этим же материалом: «Как-то она назвала глину живой. И мне вспомнилась знаменитая фраза: «Боги дремлют в глубине каменных глыб». Они дремлют и в комках

мягкой глины, а в руках нашей волшебницы просыпаются и превращаются в живые образы искусства».

Жанна Анатольевна– натура подвижническая. Я одно в ней хочу выделить: как это она, такая хрупкая на вид, вроде мягкая женщина, смогла пройти все эти ступени, худсоветы, выставкомы, сквозь нелёгкую жизнь, убивающий душу быт и остаться своеобразным, оригинальным художником. Сохранить в себе первородное естество, быть ещё и просто женщиной, матерью, хозяйкой своего дома, главой семьи. Чего стоит двух сыновей без мужа выходить. Один из них имел несчастье или, может быть, счастье родиться художником, живописцем. Всё на матери, всё на её изящных плечах, в кругу забот материнских и как художницы тоже. И целый мир животный– собаки и кошки– клубятся в доме у неё и в мастерской.

Вот что ещё придаёт ей детской наивности, связи, естественности и простоты в общении с природой.

И ещё хочется выделить в ней такое особое качество– живописность в работе с красками в керамике, создающими благоухающий, образный мир живой природы («Яблони в цвету», «Соловьи поют», «Таяние снегов»). Поиски художника, по словам искусствоведа Л.Ивановой, привели Жанну Травинскую к новому, необычности в творческом методе, органическому слиянию плоскости с рельефом. Живописное начало ведёт Травинскую как художника с интуицией к тем особенностям и достоинствам, которые она развивает всю жизнь, ещё с тех трепетных лет обучения в знаменитой Гжели, давшей её путёвку в искусство.

Вот несколько музеев, где находятся произведения Ж.А.Травинской:

Алтайский музей ИЗО, Бийский музей им. Бианки, «Спасское –Лутовиново», Орловские музеи И.А.Бунина, Н.С.Лескова, М.М.Бахтина, Донецкий музей ИЗО и др.

К празднику дело двигалось. Всегда в таких случаях обращаются к близким– сказать что –нибудь о человеке, в этом случае о художнике –прикладнике, положившем на Алтарь Отечества лучшие годы. А подруга и говорит:

– Что –то я, Жанна, тебя не ухвачу.

Ничего себе! Да вся жизнь Жанны Травинской на виду у всех, на одно нацелена: на борьбу за святое искусство, за своё место в нём. В городе все её «ухватывают», в Союзе художников, зрители, в самой жизни. Ох ты, доля– долюшка женская в творчестве, да ещё среди мужиков! По долгу профессии приходится и на наковальне, у печи горячей работать. Плечами, руками, талантом своим отстаивать себя, свои взгляды, краски, сюжеты. Мужское вроде занятие прикладника, керамиста, да мягкость, чуткость, нежность в нём– женская. И ты, думаю, всем сердцем молод! А подруга всё никак не «ухватит». Представляете, «ухватил»– таки я, скорее всего, Жанну Травинскую. Биографию не будем пересказывать, другие, может, получше расскажут. Я одно в ней выделить хочу– может быть, самое главное: как это она, хрупкая на вид, даже мягковатая женщина, дворянской крови на земле Новосильской, смогла дослужиться до «полковника» в изоискусстве. «Вот что, канальство, заманчиво»,–как говаривал Гоголь.

Прошла она все ступени, худсоветы и выставкомы (и на Алтае, и на Донбассе, кажется, за границей даже имеются её яркие, исключительно самобытные работы в керамике), а облика человеческого не потеряла. Принципам служит, людей «ухватывает», не подводит святое искусство.

В самом деле, имя человека много значит. А оно у неё прекрасно. Человек сам наполняет его содержанием. Жанна Травинская! Героиня –француженка подарила нашей Жанне то лучшее, что было в самой: умение быть громкой, быть лидером, идти мягко, чисто по –женски к цели, любить свою

Родину, даже ценой своей собственной жизни, восходя за неё на костёр.

Отправлялись орловские художники в Белгород, на зональную выставку. Сели в машину– одни мужики, а Жанна осталась. Пришлось поездом ехать ей для решения всяческих дел. В Малоархангельск теперь собирается. Глина там особая, девонская, просто золото для керамиста. Даже лечит, говорят, душу и тело. Однако всё никак Жанна до нас не доберётся, туда– в нижние горизонты. А КАМАЗы оттуда, из –под Малоархангельска, идут и идут потоком в Орёл, тоннами везут на ВИЛОР для облицовочной плитки эти самые под брезентом бело –рыжие глыбы. Это же мечта Жанны как керамиста –художника, материал для работы. Адам– первый человек, что в переводе означает «человек из глины», а Ева, согласно библейской легенде, из ребра его.

Да привезите, привезите ей глины, ребята! Подарите к празднику! Пусть она для всех нас делает эстетику, красоту, человечность.

18 октября 2008 года.

Глинописец

По земле надо ходить пешком. Ну, что бы услышал, что бы увидел я, если бы на машине? А ничего, кроме голого ветра да полей, закручивающихся по сторонам. А тут вот иду вверх от Ливен весенним просёлком — и время –то есть остановиться да почувствовать степь, да поразмыслить. да вздрогнуть, если рядом в орешнике лопнет вдруг почка, затенькает под овражным снегом капель. И не разминуться –то на просёлке с седой легендой, с интересной судьбой, от которой, будьте уверены, так замечется сердце и засветится всё в тебе, загремит великой гордостью от того, что и ты тоже русский.

Вот уж в какой деревне мне поминают Плешковский посёлок, знаменитый своими глинами, древним своим рукомеслом. В какой хате слышу про Егора Егорыча Красова – гончара, у которого, говорят, «золото в пальцах».

Синё отливает просёлок. Наезжен. Натружен. Конечно, машинами. А вот и узкий след конного хода — тоже торит дорогу. И без него ведь нет той привычности, той синевы у просёлка. За Введенским след ныряет в луга. Дальше — развалины. Сначала подумалось, что это остатки какой –либо крепости, потом догадался: плешковское производство.

Пустые саманные клети, лебеда. От печей до сушильных сараев петляют рельсы узкоколейки — гнутые н перегнутые, кто-то выворачивал шпалы. Вагонетки, машины. Провода высоковольтной линии обрезаны на последнем столбе, шевелятся, как щупальца... И таким запустением, одичалостью веет от всего этого, что и семь юных берёзок, все в дымно– салатных серёжках, выстроясь, очевидно, у бывшей конторы, не радуют,не утешают.И лишь отойдя шагов на сто, вздохнув полной грудью, замечаешь и эту равнину, по которой развеяны от воды голубые шурфы, и подступивший тёмно –рыжий дубняк с неумолчным грачиным граем, и ещё дальше — третьи, четвёртые горизонты с бслошиферными деревнями и фермами. Потому — в торжестве пробуждаемой жизни — ещё горше вид гиблого места и тревожнее мысль: а что же там с Красовым? Не опоздал ли?

Он встретил меня на завалинке. Невелик ростом, щупловат, но какой –то кустистый — то ль от крепких, корчажистых рук, то ль от дремучих бровей, накрывающих впадины глаз.

— Место, что ж, было знатное,— наконец, нарушает молчание Красов и степенно кладёт на колени большие ладони. — Да и нет в мире лучше нашей глиняной посуды! Ни тебе запаху, ни кислоты... А как затевалось всё, мы не упомним… А что, мил человек, интерес какой поимел?

Я киваю, и, постепенно оттаивая, начинает Егор Егорыч:

— Тут, понимаешь, место такое — плешинка. Кругом леса, а здесь, гляди, пустошь. Не родит ни хлеба, ни леса. Оттого и прозвание носим — Плешково. Так вот плешинку эту обернули люди великой пользой — нашли деды важную глину, завели дело. И ехали к нам сюда с бела света за огнеупорным кирпичом, за глиняной утварью... Ну, а я привадился к глине так, через баловство. Матка померла рано, а отец того раньше. Жил с пяти годков, где придётся, — по людям. Кому, вишь ты, игрульку за хлеб ай за соль принесут, кому батька сам слепит. Ну а мне кто, Егорке –сиротке? Взялся сам за глину, помял в пальцах— мнётся. Примял да расправил, да где надобно вытянул — получилась свистулька. Сперва сипло свистела, потом наладил звончее да чище. Первым мастером стал по свистулькам. И на хлеб ими пошёл зарабатывать. Вон Вязовики,а во –он Сосновка за лесом, левее от солнца…

Егор Егорыч привстаёт и, не удержавшись, идёт показывать её за погребицу, и я примечаю в нём. что –то птичье: и в этой щуплости, и в горбоватости, в выпирающей правой лопатке — следе неустанного сидения за гончарным кругом.

— Так вот в Сосновку в престол свой товарец носил. На житьишко. А подрос — иачал то. что и все: кувшины и тарелки, крышки на ульи –дуплянки, светильники под конопляное масло, трубы–фонтаны... По дворам ходил, по хозяевам. Были тут у нас кровососы. Земли слабые, так они что удумали: держали работииков, за труды их харчили, а посуду сбывали–червонцы клевали...

Я, бывало, на деда Малютина зарюсь: уж какой, какой мастер! Руку на глину положит—не дрогнет. И пошла, глядишь,из –под пальцев фигура. По посёлку болтали: дед –то порченый: всё его на бездельное тянет: то кувшин навертит кольцами, то светильник в узоры, каких не видали... Ну, и я

за Малютиным. Что увижу, то на гончарном кругу и кручу. Уважал больно всякие вазы и живность: петухов и ззйчишек. И притом петухов в разных фазах: когда пьёт, когда песенки поёт, когда сыт, когда на цесарочку глядит. И надо мной начали в посёлке подтрунивать. А тут меня хоп, в двадцать девятом –то, и в Орёл, да на выставку. Потом два лета подряд в гортеатр вызывали. Сидим, помню, с Федорой Мефодьевной, как артисты на возвышении. Она тут же, на людях, лепит сырцовый кирпич, а я кувшин верчу…

Вот какие, мил человек, дела были... Жизнь, конечно, налаживалась. А тут в тридцать третьем вдруг голод. Всем посёлком кормились на глинах, и соседям перепадало. В те дни даже дед Малютин перешёл вовсе на кубаны, рты в семье обрабатывал. Ну, а я возьми да и сделай на гончарном кругу красноармейца. Как есть, в натуру. Со звездой и винтовкой. Сезон провозился, а сделал. Выставил красноармейца в окно: вот вам, граждане, защитник нашей свободной жизни... Один заезжий, с Адамовой мельницы, заинтересовался: как это, братец, у тебя получается? А я ему: земли у нас на это способные, наши плешковские глины. Огнеупорные, вязкие, шелковистые, словно пряжа. Глина ли? Золотое руно... Да вон они в огородах. Пошли, познакомлю…А красноармейца, помню, убрал…

Егор Егорыч вскакивает и семенит расторопно, и примахивает рукой, совсем иной, вовсе не тот, что встретил меня на завалинке. Покладистый и разговорчивый.

— Тут скрозь жили,— как-то сереет он, кивнув на бурьяны— след от крестьянских дворов.— Съезжают. Мы теперь бесперспективные...

В полусотне шагов от красовской хаты — озеро. Синее, с прозеленью берегов. Веками брали отсюда глины — вот и чаша. Ветер морщит в ней талые воды: и темно, и ершисто там, на серёдке, а по гладким краям прилегли облака, режет белый след самолёт. В мае эти воды снижаются, а к

июню и вовсе исчезнут, и тогда обнажится дно, конечно, такое ж бугристое, глинистое, как и островки, берега, как вся эта земля.

— Утка пролётное место облюбовала,— машет вдаль Красов.— Да наезжают людишки, стреляют. А то и свои. Ружьём теперь не удивишь...

А вот и моя кормилица,выройка. Гляди –ка: верхний пласт — жёлтый, глубже—серая, красная, белая глина... Нету, мил человек, на свете ценнее земель, чем наши, расейскис. На всё –то способны, на всё мастериты. Не на хлеб, так на что –то другое. Вот, скажем, есть у нас глина такая, называется «дутик». Почему «дутик»? А бог её знает. Это ещё деды сй прозвание дали. Оттого, наверное, что чистоты особой в работе требует. Попади в замес глудка известняка, по – нашему «курьяка», горя не прохлебаешь. Нальёшь в посудину молока ай воды, «курьяк» от влаги распустится – всё глиняное на шмоты. Зато нету посуды сильнее, чем из этого «дутика». Керосин и тот держит, не пропускает... Да и вот он, «дутик» наш.

Егор Егорыч живо спрыгивает в непросохшую ямку, берёт глину в ладонь и разминает, и нюхает эту серую, на взгляд, обычную глину. И мне представляется сейчас агроном, чернозём у него на ладони, ожидающий семя; садовод, опускающий в лунку прививок, и думается: земля –то землёю – способны и мастеровиты люди на ней,знающие, что им надо от талантов земли.

– В войну в Персии был,– щурится, будто вновь представляет всё, Егор Егорыч. – Из Баку до ихнего Тегерана линию связи тянули. И скажу тебе, мил человек, глина там тоже хорошая. И посуда хорошая:кувшины, миски, горшки... И страна какая –то сказочная. Плоская, ровно стол. Глядишь, стоит хатка, блином покрытая, вокруг себя вертится. И вся – то из глины. Трубки, из чего курят, и те, брат, из глины. Во, метровые! За пояс заткнёт перс какой –нибудь, как топори-

ще, и ходит... И, помнится, жил по –соседски в такой хижинёнке персиянин Али. Лепил всякие плошки –матрёшки да в батальон к нам таскал. Суёт свой товар: купите. А ребята ему: да мы и сами с усами, сами мастеровые. Али головой качает: так, мол, не сможете.

– Не сможем? – вспыхнул как-то наш лейтенант. — А ну, говорит, Красов,покажи иностранцу, на что способна Россия.

Назначили день. Хожу сам не свой: руки от глины –то отошли, к винтовке привычнее. Утром Али приволок инструмент и подталкивает меня: ну, давай. А ребята — нашлись в батальоне и плотники — тоже круг мне гончарный представили и Али этому:

— Обойдёмся своим механизмом.

Обступили всем батальоном. Тут же,вижу, и заграница: мужчииы и дамочки ихние, и малолетки. «Ну, – говорю себе,– Красов, не посрами земли русской». Сел за круг, а дальше уж и не помню, что было. Поплыло всё... Когда кончил да встал, подбежал ко мне персиянин, на кувшин пальцем тыкает и прицокивает: видно, понравилось. Загудела братва: знай, мол, наших. Лейтенант подошёл ко мне и за плечи:

— Спасибо, Егор Егорыч. От России спасибо...

Долго ещё, взволновавшись, повествует Егор Егорыч про то, как тянул на фронте «шестовку» и кабель, как хлебнул ленинградской блокады, как закончил войну н вернулся домой. И застал Плешковскнй посёлок сожжённым, и пришлось браться солдату за новое дело — класть в землянках печи и трубы, пока не задымил снова, не поднялся из пепла их Плешковскнй заводик.

Рассказывает Егор Егорыч историю его возвышения и захирения, и вижу я, как вникла в этот заводик вся его жизнь, от него все и боли и радости Красова. До войны дело шло: промколхоз отправлял кирпич и посуду машинами. И

хоть после войны плешковский товар пуще прежнего нужен был людям, заводик уже не поднялся. Пошёл по рукам: передали его какой –то артели, тот – межхозяйственной стройорганизации. Наконец, потрёпанное наследство принял введенский промхоз.

Все эти годы, истосковавшись, вертел Красов на кругу горшки да тарелки — просто, бесхитростно, привыкая. Ему нравилось снова вдыхать запахи глины, чувствовать пальцами её понятную мягкость и думать о чём –то своем, затаённом, давнишнем.

Он бродил по лугам и полянам, примечая, как держатся в травах цветы, как клонится долу бордовый рожок наперстянки, как розовеет на взгорках вереск, сиренево смотрит вороний глаз... Он клал цветы на плоскую, жёсткую от работы ладонь, глядел на них, не уставая, стараясь понять, чем берут они, что в них человеку. Часами после возился в «гончарке»: вырезал из бумаги своих полевых и лесных знакомцев, накладывал бумажные трафареты на темноватую от сырости глину, прокрашивал её. Но не хватало чего –то. Квасные кувшины стояли такие же скучные, одноколёрные. со стандартными ромашками, колокольчиками, наперстянками.И когда однажды додумался «цветить» гусиным пером прямо по глине и колокольцы вдруг, как на акварели, попрозрачнели, задрожали ворсинками, пришёл председатель, сказал:

— Свёртывай, понимаешь, комедию. Будем, понимаешь, свечи делать для тракторов.

— Как? Из глины?

— Дефицит. — голова! А посудой и так весь местпром загрузили.

Делали свечи. Делали аптечные банки…Производство закрывал другой председатель.

Упросил его Егор Егорыч не сокращать, оставить их хотя бы с напарником. «А что?— рассудил председатель. —

Старики. Пускай ковыряются, хоть какой, а доходишко». Заводик доживал за посёлком свой век, и лишь деды –гончары в сезон, как и прежде, утрами шли на работу, принимались за дело. и печь начинала коптить, на посёлке вздыхали:

– Живут, кашеварят деды.

Каждый год доставался дедам всё труднее. Разрушались постройки, а подсобников не выделяли(рук в хозяйстве требовалось всё больше, а полеводству давай, животноводству давай, стройки пошли вон какие). Не выписывали дедам и глазури: Усть –Лабинск теперь не присылал.

Вспомнил Красов деда Малютина: свинец начал перетирать, пропускать через мелкое сито да замешивать, словно поспу на квас, тестом этим утварь и смазывал. Ну, а где взять свинца? Не валяется же. Вот уж это была находка – старые аккумуляторы. Хлам, кому они? А тут в дело.

Вновь ломал голову Красов: как под василёк, наперстянку, ирис подобрать свой, единственный колер? Жёг Егор Егорыч железо, в пыль мельчил, добавлял в тесто гуще – реже железа того и свинца, оттого лазурь зацветала, охристо, вишнёво, табачно. Подливал по вкусу купоросу, простого иль медного, и глазурь зеленела, голубела, синела.

– И куда так? – кипятился напарник. – Ай на выставку? Товар, можно сказать, без конкуренции. В хозмаге с руками…

– Для людей же,– отвечал Красов, и Данилыч стихал.

Пообвыкнув, уж на глаз составлял Красов любой тон глазури. Как-то делал цветочную вазу, да не смазал поспой ромашку. После обжига выделил вазу из прочих: раскрытая, ромашка цвела одним краем — лёгкая, чистая; другим — перекрывалась темневшей глазурью. «Так, — унял вдруг волнение Красов, догадавшись, что сделал открытие. – Попробуем– ка без глазури…»

И теперь так и делал. Без глазури. Обжигал изделия то слабее, то крепче, то ровней, то наплывом, давая говорить самой глине…

Зимой, как всегда, ходил сторожить на Введенскую ферму. А к весне, подточенная ветрами и водами, на заводике рухнула печь. С месяц Егор Егорыч не знал, что и делать. Но апрель приближался, и он насмелился пойти к председателю, хотел выпросить материалов — поставить «гончарку» у себя на глазах, теперь около хаты. Председатель вспомнил, что колхоз из хозмага до сих пор ещё не выбрал за гончарную утварь санями да сбруей, прикинул, обмозговал — разрешил.

И снова делал Егор Егорыч посуду. Под мёд и окрошку, квас и молоко, под крупы и ягоды. Сосуды под воду и фрукты. Цветочницы — вазы и кувшины. Товар не залёживался. Оттого, может, и расходился по людям, что жила в местах наших издревле красота: в домнинских ли кружевах, в покровских костюмах, в болховской деревянной резьбе, в плешковской керамике — во всём, что знавали в быту, к чему прикасалась рука не ремесленника, а умельца – художника.

Беспокоен Егор Егорыч. Едва вывели печь да наладили обжиг, едва сняли «горно» кувшинов да «цветить» стали прежним порядком, заметался опять: всё не то да не то.

— Ну, чего тебе? — утешал его временами напарник. — На ромашках уж руку набили. Копейка! Знай, лепи да лепи.

— Нам, Данилыч, сейчас, что ирис лесной, что полевая ромашка: одного фасона для них посудину лепим. А ирис, вишь, какой распушённый? А гляди –ка, ромашка: вся в кучке, лепесток к лепестку.

— Ну, в кучке, и что?

— А вот то... По одёжке и ножки. По цветку колёр, тон и фасон. Чтобы дух един шёл ог посудины, чтобы нравилась...

— А ну тебя, — отмахивался Данилыч.

И опять принимались за вазу с ромашкой, только с другого края: за силуэты, за линию; всё искал её — простую и скромную. И когда начинал видеть, что ваза стройнеет, тянется ввысь за цветком, венчал её обтекаемой ручкой, отчего она уравновешивалась, становилась законченной.

Наступила зима. Длинными вечерами он слушал крутую январскую вьюгу, перебирал своё в памяти. Жалел об одном: сын пошёл не в него, учится где-то в Макеевке на тепловозного машиниста. « Да ведь как нынче, – рассуждал Красов. –Это тебе не гончарное дело…»Размышлял о том да о сём. Люди строятся под железо да шифер.

Надо б хоть шлаковый дом и себе, да уж силы не те. Захворал вон Данилыч, и теперь не до сруба… Прогонял невесёлое, заставлял себя думать о мае,о лете, когда они с Данилычем снова возьмутся за глину, откроют сезон. Слышал он: тёплый ветер, забравшись в кувшин, гулял в звонких изгибах, оттого глина гудела мягко и грустно. А о чём? Млеет в нём одна думка: видел в городе чайный сервиз — духом в нём всё едино. Художественная вещица…

А в апреле Данилыч умер. Егор Егорыч шёл по раскисшей дороге вслед за гробом, вздрагивающем на ухабах. «Как же ж теперь я один –то? Ведь вместе задумали с тобой этот... сервиз. А ты взял да и помер… Я и снег от «горна» отбросил: скорей, думаю, обтянет землицу. А вчера председатель приехал: хозмагу, говорит, ещё посуду давай. Механик обещал пяток старых аккумуляторов…» Так и брёл, беседуя с Данилычем, Егор Егорыч, пока не выдвинулось из –за бугра здание Введенской школы– двухэтажное, светложёлтое. « Вот где смена –то»,— встряхнувшись, покосился на неё Егор Егорыч.

А дней через пять потянуло воздухом с юга, и земля начала подсыхать. Красов увидел на припёке чёрно – красных «солдатиков» и только тогда поверил: весна! Пошёл к соседу, постригся. Надел чистые штаны и рубаху. Отпра-

вился к берегу глянуть на глины. Вернулся домой, стал готовить «горно».

...Он ведёт меня по двору, показывает топку, куда сажают на обжиг посуду, духовники, обмазанные на зиму коровяком. Ведёт и к «гончарке». У стены три гончарных круга, под ними кубан с грязно –зелёным порошком.

— Свинец пережжённый, – притишает голос Егор Егорыч. — Скотина и та не может с ним в одном помещении. На сердце садится. А человек ничего, выдюживает.

Смотрю иа него. Сединой просветлило голову, даже брови. И за этим—вся жизнь. Всяко было, но, что б ни случилось, вновь и вновь разгибало Красова. заставляло браться за глину... Он сидит на завалинке. Глазами к заходящему солнцу. От лучей розовеют белёная стенка, руки, лицо.

Живёт человек в посёлке — самородок,умелец, способный разговорить даже глину. Ищет в лугах, на полянах нужную форму и краску — свой счастливый аккорд. И что за мера в чувстве прекрасного у пожилого крестьянина, что за нашенское рукомесло! Вот ведь дар –то какой, вот ведь семя, из чего в народе родится великое, вечное, чему надобно поклоняться.

2 июня 1968 года

Ливенка

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой толпой.

С. Есенин

Мы идём по нешумным, шелестящим листвой улицам. Усталое тополиное золото перепархивает перед глазами, мерный говорок собеседника вплетается в это недолгое золото, в тихий аллейный уют:

– Ходили тогда в серединной России всё больше «тулки». Ну ещё петранеевские, череповецкие, саратовские. Хаживали по земле русской, прославляли свои краины. А после крымской войны появилась и у нас в Ливнах своя гармонь –ливенка. По восточную руку уходила до самой Рязанщины, а по западную — до Орла и подальше. Голос на сжим и разжим одинаковый, меха длинные, хоть подпоясывайся. Оттого –то и звук приглушённей, напевней, приятней– человеческий голос. Начнут голоса выговаривать, а басы им давай то рожком, то жалейкой, то сопелкой подыгрывать. Не гармонь — целый оркестр на деревенском лугу...

Собеседник мой — мужчина средних лет, в меру сухощав и приветлив; слегка удлиненное лицо подвижно и выразительно, в фигуре, улыбке, в глазах, угадывается натура, что называется, артистическая. Это Занин, Леонид Иванович Занин, из третьего поколения именитой фамилии, с коей, по преданию, и началась пискунья –гармонь. Дед передал свое мастерство сыну Ивану. Оправдал, видать, сын доверие Федора, коль заказывал ему инструменты сам Пятницкий. А теперь ведёт это дело он, внук...

Мы проходим с Леонидом Ивановичем в городской парк, к откосу, садимся на тяжелую, с изящно изогнутой спинкой скамью.

Внизу, под откосом, сходятся две речки — Ливенка и Сосна. Как и в давние времена, смотрится отсюда легко. И удивительно знать и воображать в вечереющем воздухе, что здесь когда-то бывал Паустовский, а ещё раньше Лев Толстой, Бунин, Фет. И они, возможно, оглядывали эти места, речку Ливенку, ласкали взглядом её девичью гибкость, всю в перепадах –плотинах. Слышали где-то внизу живой голос пискуньи...

По соседству, за распахнутыми окнами клуба, пискнула гармонь, затем вторая. И вдруг затеялось, схлестнулось, пошло всё игривей, занозистей. Репетиция, что ли? Ну да.

Закрываешь глаза и слушаешь, представляешь былое, давнишнее...

Вот, в своей чёрной пиджачной тройке, этаким фертом шагает по ярмарке Иван Алексеевич Бунин. Останавливается у балаганов, перед которыми за бутылку стараются зазывалами гармонисты.

– Эй, бери, не скупись,– усмехается ухарь –приказчик и кивает на полки, а на полке главная ливенка: по углам мельхиор, серебро на басовых лоточках, планки в серебряной чсканке с подчернью.

– Капиталу на неё не имеешь?– усмехается лавочник и ведёт рукой по гармоням, какие попроще. Корпуса в русском узоре — ореховые, дубовые, ольховые наборы. Словно лес пришёл и улёгся в жаркие перламутры. Гладит Иван Алексеевич то одну, то другую, ненасытно смотрит светло – стальными глазами. А сбоку уж вьётся мужичонка –пройда.

– Вот гармонь,– достает пройда из –под полы свою неказистую ливенку,– всем гармоням гармонь.– И начинает, и пляшут в руках его залихватские планки, мечутся в желтизне соломенного набора, сыплют перепелом и жаворонком.

– Ай да Крест,– пересмеиваются мужички.– Ай анчихрист!

Рядом тенькнула другая гармонь.

– Наддай, наддай, Вахнов!– требует потехи толпа.

Появились ещё гармонисты. И пошло, покатило. Слобода на слободу — Стрелецкая на Черкасскую, Черкасская на Ямскую. Стучит сердце неровно за чёрным жилетом...

И какой же русский не любит гармони? Её ль не любить ему, если слышится в ней всё родное, всё близкое: и степь ветровая, гудливый подлесок, и грусть –развеселье, и нынешнее, и стародавнее. И нехитрый ведь инструмент — не какой –нибудь аккордеон с итальянским, немецким строем, а живо, простенько сотворил, сочинил его из двух планок да из

десятка четырёх пуговиц, да из мехов картонных, из голосов сребро –стальных, да вложил в неё всю свою лихость и душу россиянский самородок –любитель, да и пустил себе по свету: гуляй, взвеселяй, ободряй дух упавший, пускай в пляс дух радостный, звончее– забористей сыпь, чтоб слышно было в заморских землях, персидских да английских, чтобы, заслышав её, притишались там, удивлялись и ахали: да что же это за народ такой неуёмный, бедовый, черт ли сидит в каждом из них и бьёт такой искрометною дробью, что волнуется море, качаются всякие тутошние острова!

Ах, гармонь, гармонь, что за гармонь! Нащупала голос и рвётся, срывается вслед за пальцами разливанное полымя, да и мёртвого из могилы подымет, а не то, чтоб не бросить в круг жар –девчонку да не вырвать у неё из сердца частушку, не заставить тряхнуть, повести цыганским плечом. И вот она вскрикнула, понеслась, закружилась:

Я царевной пройду
До околицы.
Эх, подковки мои,
Колоколицы!

Летит всё вместе с ней: люди, годы, города и веси, и небо, и звёзды; всё вертится, крутится, мчится в огненной пляске. Озоруют пальцы на планках, выкомаривает трехрядка: «Шире, шире круг!» И бьются, трепещут, несут – влекут всё вперёд, вперёд её меховые крыла...

– Ого –го –го!– сложив у рта руки рупором, кричит по –мальчишески Занин, но звук с откоса до воды так и не долетает.

Кто-то высовывается в окно клуба и, улыбаясь, машет рукой нам. Занин машет в ответ, и снова бредём мы по шелестящим аллеям, мимо фанерных и дощатых павильонов, кассовых будок, качелей –гигантов, танцевальной «клетки», и Занин всё говорит, говорит. Иногда возникает слабый ток

воздуха, и листва начинает сыпаться чаще, голос глохнет — так волнует Занина говоримое.

– Предствляете, в деревнях ближних и сложилась тогда мудрость такая: купи смолоду ливенку, а после– удалой да весёлый, удачливый– купишь и лошадь... Ливенками завлекали невест. Наперебой резали «Страдания» под жасминными окнами. Наутро побеждённый брёл к отцу моему и выкладывал: «Выручай, Иван Федорыч! Сделай гармонь, чтоб была самой лучшей. Лучше Петькиной. Присушить надо Лидку Степанову».

Соглашался отец– и тогда за ним начинала следить вся Черкасская: чья гармонь возьмёт– Петькина, которую сделал Градов, или у Митьки– его, занинской марки? Каждый мастер делал её по своему разумению. Один добавлял к басам «барабанчиков» и «пискунчиков», другой — сталь в голосах заменял бронзой, так и певучей, и мягче, и надёжней от сырости; третий — делал голоса повыше, крикливее; четвертый — пониже, увереннее. Каждая пела по –своему, голосом мастера. А делали пискуньи мастеров десять — пятнадцать. Здесь, в Ливнах, да в ближних слободах. И хотя мудровали, как вздумают, одно всяк держал общим — обряжал гармонь по тогдашней моде, как женщину: сорок пуговок вверх по планке– «платью» до самого горлышка, а развод непременно из сорока одного меха...

Разливались по сёлам ливенки: то вытягивали душу медовым заноем, заходили под самое сердце, то рассыпались капелью, тенькали луговым колокольцем, вели «Барыню» с «подтетёхом». Каждый в игре был сам себе голова– веди куда выведет. И запало младшему Занину: а что если взять да собрать всех в ансамбль?

Всё смешала война. Поспалила она крестьянские хаты, а в хатах и ливенки, унесла мастеров. Да была бы лишь кость. Разыскал младший Занин старого Градова, уже ветхого, слабого.

«Петр Осипыч,– сказал ему,– совсем, слышишь, вывелась ливенка. Хочу поднимать её».—«Ищи,—вздохнул старый мастер.— Ищи, Ленька, гармони по селам. Мои, значит, градовские, и ваше, занинскос...»

Вслед за тополиными листьями текут, падают слова Занина, а мне вспоминается одна зима моя в Губкино, где был я учителем. Жилось мне легко — в небольшой чистой хатёнке у Антоновны, доброй, хлопотливой старушки, и даже приятно — за утренними и вечерними разговорами. Старший сын переехал в город, а к младшему Антоновна не пошла. Так и жила.

С сумерками заиграла, рванула однажды гармошка под окном.

– Ливенка,– встрепенулась Антоновна и заспешила, запричитала:– Сидишь тут, а гожие уж идут с ихахошками.

– Это кто ж такие?

– А некрута, что ли... Раньше так... берут кого в армию– тот, значит, и гожий. А девки голосят, поют «их – ах – ох»—провожают... Пойдём –ка и мы с тобой в клуб. Дай –ка кудри свои седые на голову заведу,– прищурила Антоновна глубокие, весёлые глазки.

Вышли наружу. Луна висела, словно бы в молоке, в раките гудел жидкий ветер, покалывало лоб и щёки. Затевалась метель. Антоновна опустила ниже клетчатую шаль, перетянула лоб белым платковым жгутом.

– Так-то спокойнее,– сказала она,– а то, гляди, зимно –холодно.

Навстречу двигался человек– городской: в фуфаечке, туфельках; то и дело схватывался за уши и приплясывал от холода.

– Ровно как февралёвский, с недохватом,– вздохнула Антоновна, когда прохожий скрылся в поле за поворотом.– С зимой шутки шутит.

Запуржило вдруг сразу. Всё смешалось, завыло, стало валить с ног. «А ему каково?– подумал я о проходящем.– Ведь ближайшая деревня– Смородинка. Километрах в семи...»

И представилось мне, как замерзают: сначала является ко всему равнодушие, потом непременно захочется отказаться от ходьбы, от борьбы, потянет на тихое, мягкое: сесть, прикорнуть, потом, махнув на все свои надежды и планы, сложить руки, утешиться, что и так хорошо, пусть другие. И тогда всё... конец...

– Сын у меня здесь живёт,– потянула меня Антоновна.– Зайдём.

Вскоре мы грелись в жарко натопленной хате, а хозяин– сын Антоновны, небритый и полупьяный, совал в печку плашки ещё и ещё, потом вышел зачем –то во двор. Мы прислушались и уловили во дворе голоса. Наконец, в сенях громко застучали о пол, и в дверях показался хозяин, поддерживая одной рукой человека. Это был тот, проходящий. Кулём опустился на лавку.

– Вот нашёл за сараем,– сказал мрачно хозяин и повернулся к незнакомцу:– И какой ляд погнал нынче тебя, дурака, в путь –дорогу?!

– Полегше с ним,– зашептала Антоновна,– посердешнее. Не вишь, еле держится.

– За гармонями я,– вздохнул проходящий и попытался сделать улыбку.

– За гармонями!– всплеснула руками старушка.— За какими гармонями?

– А за ливенками,– оживился тот, начиная растирать руки, отогреваться и уже радуясь и теплу в хате, и людям, и тому, что всё позади, что он будет теперь — по примете — жить удачливо, долго.

– За ливенками,– тяжело рассмеялся хозяин.– Да мне миллион дай– в такую погоду не двинусь.

– Да уж ты такой, Сеньк: топора на свою ногу не бросишь,– заворчала старушка.– Только б себе всё.

– Ну, а как же, — воздвигся Семён над столом.– А кто же откажется? Да мне хотя руки руби — на спину, скажу, положи– понесу.– И опять усмехнулся:

– Так за гармонями, значит? Дела –а... А у нас батя– верно, мать?– был по этому делу монтёр. Может, слышал? Крестом звали.

– Крестом? Ну да! Неужели отец?

– Лет пятнадцать как помер,– продолжал Семён.– Не хозяин был, фьють и нету, ничего не осталось... Только лих был на драку и на этой... гармони. Где в деревне завяжется, там и он. Кантырем по башке в один час ему двинули, принесли домой: нате...

– Ну, а гармонь –то цела его?

– Мать,– повернулся хозяин к Антоновне.– Не знаешь, цела?

– А кто ж её? Может, на чердаке?

Семён полез туда с лампой. Долго возился там, наконец, вместе со всякой рухлядью подтащил к краю и разваленную в лоханку гармонь, собрался было сбросить её вниз.

– Да ты что?– испугался проходящий и подставил свои осторожные руки.

Протёр носовым платком планки: она, гармонь самого виртуоза Креста! Кто не знавал её в прежних Ливнах по инкрустации — по соломенному набору на планках. Кто же не слыхивал, как наяривал на ней Крест по ярмаркам...

Я всё слушаю и слушаю Занина, но ни словом, ни взглядом не выдаю того, что узнал его в том проходящем. Слушаю занинский рассказ– целую эпопею, дело всей его жизни. Про то, как нашлись гармони в деревнях, как, отремонтировав, они с Градовым ладили их, приводили в одну– для ансамбля– тональность. Потом сами сделали три новых

ливенки. Кузнец Евстигней Горбачев отковал на свой лад и вкус трензель. Трензель да бубен, да ложки, да балалайки– вот и ливенский дух.

Подобрались гармонисты– деды мигом вспомнили ливенку, потянулись и внуки. Петухами сцепливались деды.

– Ты, Павел Ильич, не выпирай, не выпирай,– поучал дружка на репетиции Зеленцов.– Под меня строй.

– Как это под тебя?– обижался Зеленцов.– Да я... я на Черкасской первым, вот именно, был гармонистом.

– Да у вас на Черкасской,– с чувством явного превосходства улыбался Зеленцов,— вовсе не умели «Страдания».

– Это у вас на Стрелецкой, Сергей Иванович, вот именно. А все Ливны играли только по –нашему. Сначала «Чёрные брови», потом...

– Как это, сверх рубанка да топором?!

...Приближался концерт. С утра Леонид Иванович ходил весёлый и праздничный. Но уже в клубе струхнул, выпил графина четыре воды, без конца облизывал пересохшие губы. Зал ломился от публики. В первом ряду чинно сидели старейшие жители города, напирала в дверях молодёжь.

Вышли на сцену. Сели. Смущенно задвигали стулья. Развели от плеча до плеча цветные мехи — поплыла перед залом Россия, чёрноземная, полевая, ромашковая.

– «К ней»,– заводили «Страдания» ливенки. Это парень шёл на свидание, в неизвестность.

– «От неё»,– брызгали радостью ливенки. Это парень возвращался домой на рассвете, переполненный счастьем.

Выкатывали деды над гармонями грудь, молодецки глядели в первый ряд, где сидели их сверстницы — захмелевшие, помолодевшие от воспоминаний. И представлялось дедам, как лет сорок тому, а то все пятьдесят, шли они слободой — молодые, чубастые, сильные, и ливенки

озоровали под пальцами. И подругам их в первых рядах делалось весело, расприятно, словно б не было за спиной старых женщин ни гражданской войны, ни войны сорок первого, будто не они выдюжили и разруху, и голод, не они творили своими руками хлеба и заводы, не они выходили сыновей своих, внуков и пустили их по свету врачами, инженерами, летчиками, музыкантами...

...А листья струились, струились, стекали. Как и слова Занина. И слышалось мне дыханье Занина, неспокойное сердце Заниина, виделась сцена из луговины, купол из целого неба и гигантские ансамбли из окрестных сёл и деревень; вот они растянули мехи — и идёт «К тебе» спящей улицей чуткая ливенка. «От тебя» — уходит вниз по излуке, вместе с рекой. Ах, Ливны, Ливны, — гармонями дивны... Рекрута ходили с ливенкой разухабистой толпой…

9 августа 1969 года

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Казаки. Дети Солнца. «Мы идём с конём по полю вдвоём»

Широкий казачий круг под Мценском, и песня звучит под баян:

– Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён,
Пой о том, как я в Россию влюблён.
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён,
Мы идём с конём по полю вдвоём.

Виктор Садовский поднимает баян над головой.

– Эй, станичники! Донцы– молодцы!
Кубанцы– бубенцы! Пойте, пойте, ребята,
Во все свои широкие глотки,
Славьте родную Россию свою!

Каждый год собираются тут они, орловские казаки. Каждый год душу бередят историческим прошлым своим, укрепляя вековые традиции на любимой Орловщине, в которой слились теперь казаки всех краёв и весей.

Вот хомутовские –судьбищенские на конях во главе со своим атаманом Алексеем Семёнычем Злобиным.

Вот кубанский казак Виктор Фёдорович Садовский с баяном, с которым и он тоже сросся, как казаки с конями.

А вот и я бы сюда всей душой, донской казак, с пером своим летучим, как с шашкой над головой.

Широкий казачий круг. Широка душа, широка страна моя родная...

Вернулся Виктор Фёдорович на Кубань свою, объехав с баяном 33 штата Америки, прошёл по Европе, пропагандируя русскую песню. И с Кубани сюда, на Орловщину, где учился в музыкальном училище, институте культуры и искусств. Чтобы стать настоящим, профессиональным музыкантом,

композитором, собирателем русских народных песен. Здесь, в Орле, у него дом и большая, дружная, песенная семья.

Каждый год собирается Виктор Садовский к себе туда, на Кубань. Доложить землякам, как он тут держит марку кубанскую, чем занят, что у него получается, а что ещё требует сил и внимания. Неожиданности случаются. Думал, что он музыкант, исполнитель, пишет песни на чьи –то слова, а попробовал на свои, вышел у него сборник «Берёзы мценской стороны» (1988г.). Оценили его положительно. Решил Садовский попробовать себя в стихе. Издал в «Вешних водах» книгу стихов и переводов (2000г.), затем книги стихов «Оберег», «Органная высь», статьи в газетах пошли. Увидел сам, что получается, все это увидели. Пригласили Виктора в отдел культуры областной газсты «Орловская правда». Вот где раскрылся, можно сказать, его главный талант– публициста.

И тут стали публиковаться у него очерки о талантливых людях Орловщины. Интуицией дошёл он до сознания того, что о талантах надо писать талантливо. Вот хотя бы очерк обо мне. Одно название чего стоит. «Мастер Леонардо из Малоархангельска». Сразу приковывает к себе внимание. Посмотрите, какой стиль, тут и метафоры, глоссы, эрудиция, слитность мыслей и чувств, и всё это эстетика, ощущение гармонии, красоты.

«Он не причисляет себя к композиторам, которые мучаются часто очень долго в поисках нужной интонации или гармонической краски. Его мелодии рождаются сами, одновременно с текстом, и воспринимать их нужно именно так, в таком синтезе. В этом смысле он сродни античным аэдам, древнерусским певцам– сказателям, таким, как легендарный Гомер, песнопевец Боян. То есть можно говорить о продолжении Леонардом Золотарёвым античной, древнерусской традиции былинно –эпического жанра, где автор текста, музыки и исполнитель представлены в одном лице, а тематика музыкальных повествований отражает то, что происходит в

данное время с соотечественниками, страной и даже всем миром. Им создана «Звуковая поэзия мира», из десятков аудиокассет – музыкальное зеркало звездочётов земли».

То же самое я мог бы сказать и о самом Викторе Садовском. Это песнопевец Боян. Особенно в журналистике. Недаром членом Союза журналистов России он стал прежде, чем членом Союз писателей России. Откровенно говоря, он человек многих способностей и щедрой души. Написал я немало авторских песен, но не мог положить их на ноты, сделать их фактом профессионального звучания. А Виктор Садовский смог это сделать, не в пример другим, к которым не подступись. Он положил на ноты целый сборник моих стихов. Да не только мне, но и ещё, я знаю, одному «страдальцу» – сочинителю песен из Змиёвки.

И ещё такое качество широкой души Виктора Садовского. Он любит людей, стремится к ним, он всегда среди масс. И не только потому, что у него такая профессия: по диплому Виктор– дирижёр народного хора. Дирижировал хоровым коллективом в Отраде, на сталепрокатном заводе, областным народным хором, где, возможно, и развилось это его качество: тяга к людям. Считаю, что это всё у него и врождённое. Ну, кто просил его передать черты характера, частичку души своей Виктору Викторовичу Кузьминову– агроному из мценского Подбелевца? Послушайте, как играет Виктор Викторович на баяне, как он может сплотить людей вокруг себя, создать коллектив, как звучит у него русская песня.

Вот с каким багажом вполне может ехать Виктор Садовский туда к себе, на Кубань. Есть ему, что показать землякам. Краснеть за своего казака тут у нас, на Орловщине, им не придётся. Вот он и ездит туда каждый год и везёт всё новые и новые достижения. Не так давно там на Кубани, а конкретно в Тамани, известной по лермонтовскому «Герою нашего времени», состоялся грандиозный праздник, посвящённый 27 векам этого греческого поселения. Виктор Са-

довский, как всегда, одел свой казачий чекмень с газырями, подцепил к поясу кинжал и вместе со своими станичниками, с войсковым старшиной Львом Анатольевичем Яковых отправился на берег Чёрного моря. Повёз на краевой праздник свои песни, сочинённые им тут у нас на Орловщине.

Вишня. Старый верстак.
Шепчет дед, словно молится:
«Бог, Россия, казак–
Неделимая троица».

Вот и к нам сюда, в наш степной городок Малоархангельск, приезжает он 6 июня, на День рождения Пушкина, этот ныне всемирный праздник, объявленный ЮНЕСКО Днём русского языка. И что мы читаем? Конечно, Пушкина. И что мы поём? Конечно, народные, казачьи песни, то с этой начинаем, то с другой.

Сяду я верхом на коня,
Ты неси по полю меня!
По бескрайнему полю моему,
По бескрайнему полю моему.
Полюшко моё, родники,
Дальних деревень огоньки.
Золотая рожь да кудрявый лён,
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён.

А придёт домой к нам, что на той же улице, где и памятник Пушкину, пойдём в сад с Садовским, сядем за стол под моей материнской яблоней, да как растянет Виктор меха баяна, как грянем мы песню:

Распрягайте, хлопцы, коней!
По Дону гуляет казак молодой.

А я вспомню ещё и песню из военных лет, из лета 43 – го, когда услышал я такую песню от казаков, встреченных мною на конях у колодца.

Где-то там, далеко за Волгой,
Догорает небывалый бой.

Потеряю я свою кубанку
Со своей удалой головой.

Виктор скажет мне:

– Слушай, друг, спиши песню. Хочу знать её, буду петь.

– Спишу, – скажу,– напою тебе на магнитофонную ленту.

А потом опять же как грянем:

– Маруся, раз –два –три,
Маруся, раз –два –три,
В саду ягоду брала!

И птицы примолкнут в нашем саду, и даже хор соседей– ветераны – бабушки на лавочке и их солист –тенор Алексей Иванович Агарков, и те, бывало, затихнут, нас с удивлением слушают и интересом. На полгорода летят наши песни, до самого Парка Победы, где лежат герои войны. А соседка Валя Кононова скажет мне через загородку:

– Ну и много же, наверно, вы получаете за такие песни! Внучку свою хочу отправить в музыкальную школу.

А мы с Садовским переглянёмся, перемигнёмся:

– Маруся, раз –два –три,
Маруся, раз –два –три,
В саду ягоду брала.

Перейдём в дом, в комнату, где Садовский мои песни на ноты клал, а тут четыре стены со всех сторон, а не как в саду вокруг свободное пространство. Тут-то на тебя и навалится что –то странное, необычное и в то же время привычное, что враз меняет картину, переводит душу в другое состояние. Тут уж «Распрягайте, хлопцы, коней» не пойдут. Не то настроение, не те должны быть слова и мелодии. И Садовский это понял. Тихо тронул он одну, другую кнопку баяна, положил голову на него и едва –едва слышно запел старую казачью, любимую песню Шолохова, так и видишь Шолохова, вроде сидит он в подпитии, обхватив голову руками, и вдруг эта песня откуда-то. Сапог с полноги переста-

нешь снимать, так и останешься с рукой на пятке, остановишься на половине дыханья, сердцем вздрогнешь, душа встрепенётся, заноет внутри.

И поёт Садовский просто, задушевно, с казачьими малороссизмами. Под баян:

– Не для меня цветёт весна, Не для меня Дон разольётся.
И сердце девичье забьётся
С восторгом чувств – не для меня.
И сердце девичье забьется
С восто –с восторгом чувств– не для меня.
Не для меня текут ручьи.
Звенят алмазными струями.
Там дева с чёрными бровями,
Там де– там дева с чёрными бровями,
Она растёт не для меня.
Не для меня цветут сады,
Над яром роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он бу– он будет петь не для меня.

Душа моя поплыла, оторвалась от земли, ввысь куда-то взлетела. Просто невозможно стало, так сжало всего, так сделалось хорошо. И Дон, и дева, и сады, что расцветают, так и слились с Садовским, с его неприхотливым человеческим голосом, с простым, чуть с хрипотцой, исполнением, аж в носу, эх, да как защекочет.

Не для меня пасха придёт,
Родня за стол вся соберётся.
«Христос воскрес!» Вино польётся,
Но энта жизнь не для меня.
Вино по рюмочкам польётся,
Но энта жизнь не для меня.

Баян разливается, баян поёт голосом Садовского, тонет где-то в донской степи, куда уходит с конём казак.

А для меня придёт война.
На фронт германский я умчуся.
Домой я больше не вернуся.
Там пу– там пуля ждёт меня одна.
И прилетит кусок свинца,
Он в тело белое вопьется.
Вот ен – вот ента смерть там ждёт меня.
Вот ен – вот ента смерть там ждёт меня.
Не для меня цветёт весна,
Не для меня Дон разольётся.

Одна война германская не дошла сюда, так другая зацепила куском свинца белое тело казака. Вёшенская, Шолохов, Шукшин в образе солдата Лопахина в фильме «Они сражались за родину». Вот такая картина, как в кино, мелькают одни за другой за этой песней казачьей о судьбе человека.

Так всего меня и перевернуло.

– Друг! – говорю я Садовскому. – Дай –ка и я попробую, я же ведь тоже казак.

– Попробуй,– тронул Садовский белые кнопки баяна.

– «Ну что там?– думаю.– Оперные вещи, неаполитанские песни пою, как и про ямщика... Дятлова слышим, а за душу так не берёт. Поёт Садовский, хорошо – то как, и не знает ведь, как он поёт...» И вспомнились мне отчего –то «Певцы» Тургенева. Яков Турок в шинке. Поют певцы один и другой. За Якова рубаху последнюю сымешь, другого послушаешь, похлопаешь в ладоши, молчишь.

– Витя, – говорю.– Как хорошо, что ты есть на свете. Что есть у тебя баян, что ты поёшь эту песню. Она у тебя изнутри идёт. Ты даже сам не знаешь, как выворачивает она всего меня, всю нашу человеческую натуру.

– Хочешь, я тебе расскажу, откуда у меня баян,– завлажнелись у Вити глаза. – Всё в этих стихах,

посвящённых отцу моему Фёдору Макаровичу.

– Послушай, на озере Чад

Изысканный бродит жираф, – говорю я таинственное, гумилёвское. – Дедушка у меня тоже Макарыч, Герасим Макарыч. И Садовский начал читать свои стихи про баян.

Баян

(в сокращении)

Продав на ярмарке корову,
Не положив гроша в карман,
Отец купил в сельмаге новый
Известной фабрики баян.

Домой пришёл «уже хороший»–
Полураздет, полуразут–
И на вопрос: «Где, Федя, гроши?»
Открыв футляр, ткнул пальцем: «Тут».
Мать, где стояла, там и села.
Но, зная мужа нрав крутой,
Скандал затеять не посмела.
Лишь прошептала: «Боже мой!»
«Сын третий год без инструмента.
У хлопца — к музе интерес.
А ты всё ту же крутишь ленту.
Послухай лучше полонез.
А ну, сынок, заграй для батьки.
Нажми на клавиши, сынок.
Я отложил свои тетрадки
И «жал на клавишу», как мог.
Играл Огинского и Баха,
Набор мелодий из кино...
Отец стоял в дверях и плакал.
Точнее– плакало вино.
Потом, впервые не буяня,

Обнял за плечи нежно мать:
«Не думай, Вер, что я по пьяни,–
Сынок играет на баяне,
Большим артистом может стать.»
– А что,– сказал я,– молодец– отец.
Купил баян тебе... Не Лист!
Но всё же, Витя, ты артист.
А мне мой дедушка Макарыч
Всё скрипку собирался сладить вроде.
Чертёж так и лежит, положен на ночь.
А пролежал сто лет в комоде.

– Опять экспромт?– сказал мне Виктор.– Помнишь, как «Горлинку» свою ты сочинил?

–Когда?

– Я песни клал тебе на ноты.

– А, помню... Прилетела горлинка и села на берёзу, что напротив наших окон, и перелетела в сад. Бросился я к ней с фотоаппаратом. А после стихи написал, наверно, за полчаса.

– И музыку минут за пятнадцать,– улыбнулся Садовский.– И я тут же положил их на ноты. Поём теперь её с тобой иногда, эту «Горлинку».

– Про меня хватит,– говорю.– про меня ты сказал достаточно. Я же пишу про тебя, Витя, про твои книги, стихи, циклы стихов, принимаю тебя как поэта. Скажу про такие, какие особо понравились мне. Например, «Пруд Савиной», про тургеневское Спасское–Лутовиново. Это живопись словом, микророман, любовь стареющего Тургенева к молодой актрисе...

– Ну, а «Четыре чубука?»– спросил меня Виктор Садовский.– Как они тебе показались?

– Аллитерация. Че –че... «Четыре чубука»... Как у Пушкина: «Очей очарованье...»

– Я всегда говорил,– рассмеялся Садовский,– что у тебя есть вкус. Значит, от тебя можно ожидать «Четырнадцать чубуков».

И что я скажу напоследок. Всяко у человека бывает. Мелькнёт он пред тобой, как метеор, но не исчезнет, так и останется в тебе, пока ты живой. Спасибо, дорогой! Что ты есть, что ты будешь во мне. Бывают люди– двойники, которые сходны внешне, а мы с тобой, наверно, сходимся внутренне.

Ты, Витя, спел мне старую казачью песню, любимую Шолоховым. Спасибо тебе за песню. Без неё я не осуществил бы мечты своей жизни, не написал бы оперу. Вот она на аудиокассете– «Голубая дивизия», где ты поёшь под баян эту песню «Не для меня». Я вижу тебя, ты видишь меня, мы видим с тобой Русское поле под солнцем. И мы с тобой два казака, дети солнца, идём по нему и поём под баян.

Будет добрым год — хлебород.
Было всяко, всяко пройдёт.
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён.
Мы идём с конём по полю вдвоём.

21 сентября 2013 года.

Талант Рокосовского

Рокоссовский с детства в сердце моём. Я увидел его летом 43 –го в Малоархангельске, накануне великой битвы на Орловско –Курской дуге. Он стоял среди своих генералов – высокий, статный, красивый. Сказочный богатырь. Освободитель нашего городка. Таким он запомнился мне на всю жизнь. И теперь, к 70 –летию Победы на Орловско –Курской дуге, где роль Рокоссовского была решающей, он остаётся героем для меня, стал героем для всех. Сейчас, когда мы знаем многое о войне, он предстаёт для всех нас талантли-

вым полководцем, одним из главных творцов великой Победы. И мне от имени детей войны хочется сказать слово о Константине Константиновиче Рокоссовском.

х х х

Отгремела война, Родина салютовала Победе 9 мая 1945 года. А мы и наши потомки ещё долго будем разбираться в ней, помнить, не забывать никогда.

5 июля 2013 года по Центральному телевидению была показана телепередача «Восход Победы», посвященная битве на Орловско –Курской дуге. Основным ударом Центрального фронта под командованием Рокоссовского признан удар от Понырей – Ольховатки, вспомогательным– от Малоархангельска. Попробуем разобраться, проникнуть в тактику и стратегию Рокоссовского, в его противостояние вермахту в этой битве. Из чего сложилась наша победа жарким летом 1943 года на Орловско –Курской дуге? В чем мифы и в чём правда об этом, третьем по значению сражении в Великой Отечественной войне? В чём, на мой взгляд, выразился талант Рокоссовского?

Битва на Орловско –Курской дуге – переломное, грандиозное сражение, какого не знала история. По протяженности с севера на юг – сотни огненных верст, по людской массе – миллионы с обеих сторон. Центральным назван фронт между Курском и Орлом под командованием Рокоссовского. Но основное внимание ныне уделяется южному фасу – Воронежскому фронту, Прохоровке, через которую враг прошёл, оставив у себя за спиной 36 километров. Поднимаются на щит танки, бронетехника, хотя танков и на Центральном фронте было задействовано предостаточно. Правда, на южном фасе бились лоб в лоб танковые армады. А тут, на Центральном фронтс, была сосредоточена артиллерия РГК – Резерв Главного Командования, активно использовался чело-

веческий фактор, о котором ныне предпочитают говорить сдержанно. И вообще редко что услышишь о Центральном фронте. Однако подвиг есть подвиг. Поле Куликово есть поле Куликово, Бородино есть Бородино. Так чем же Куликово поле, Бородино держатся в душе каждого русского? Конечно, героизмом наших полков и глубоким общечеловеческим смыслом, гением наших полководцев. Дмитрий Донской, Кутузов, а тут, на Центральном фронте, Рокоссовский с его безусловным полководческим даром.

Битва на Орловско –Курской дуге – это уже история. Пять фронтов участвовали в сражении. Рокоссовский начал войну полковником, возвратившись из мест не столь отдаленных. И тут, на Центральном фронте, после Москвы, Сталинграда он был уже генералом армии, на одно воинское звание ниже заместителя Главнокомандующего и начальника Генштаба. И здесь, на Центральном фронте, снова проявился военный талант Рокоссовского.

Попробуем определить роль Центрального фронта в этом сражении, роль Рокоссовского как полководца. Война – это игра умов, игрой она и остаётся. Вермахт разыграл свою карту под Прохоровкой. Расчёт был таков: придать Прохоровке значение, притянуть сюда к своим танкам нашу бронетехнику, оттянув её от Центрального фронта, от Ольховатки изобразить удар на Курск. Наши, естественно, клюнут на это и, в свою очередь, сосредоточат силы именно в этом месте. А что же Курск? Посмотрим на карту: зачем нужен был вермахту Курск? С юга и с севера к нему якобы тянутся клещи врага (удар от Прохоровки и удар от Понырей – Ольховатки). А что было на самом деле?

Когда после Сталинграда немцы покидали наш городок под натиском войск Рокоссовского, они говорили, что уходят, но скоро вернутся, чтобы устроить нашим здесь «котёл» пострашнее того, в какой они сами попали в Сталинграде. Противник решил овладеть инициативой и ликвиди-

ровать курский выступ, на котором наши войска выдвинулись далеко на запад. В этой операции Гитлер делал ставку на новейшую технику и сосредоточил здесь огромные силы. Задача заключалась в том, чтобы взять в кольцо наши войска. Вот какой «котёл» у них получился бы нашему курскому выступу, изогнувшемуся далеко на запад до Рыльска. Это, если обрезать его по центру, по Курску. А если бы им пройти ещё дальше за Прохоровку, за которой они уже были, пройдя 36 километров, то в их «котёл» могли бы попасть часть Центрального, Воронежский фронт и запасной Степной фронт вместе со всеми линиями нашей обороны. Но надеяться на успех вермахт мог только в одном случае: если бы в качестве основного удара на Центральном фронте был бы удар не в направлении на Курск, по 70 –й армии генерала –лейтенанта И.В. Галанина, а в глубину 13 –й армии генерала –лейтенанта Н.П. Пухова, то есть на Малоархангельск и далее, после него, с выходом на стратегический простор. Немцы так и сделали: ударили по армии генерала Галанина, а от Галанина, осуществляя свой замысел, пошли главными силами на Поныри, а с Понырей– на генерала Пухова, на Малоархангельск.

Война была войной не только умов, но ещё и дорог. Малоархангельск – старинный, уездный город, вокруг него восемь дорог. Пройди через него до Колпны, а от Колпны на Щигры, что могло получиться? Отсюда туда на юг, а от Прохоровки сюда на север, если замкнуть «колечко», посмотрите по карте, какой котлище получится?

Рокоссовский раскусил эту немецкую хитрость, разгадал замысел немецких генералов. До войны некоторые из них учились у нас в академии Генштаба, сидели за одной партой с нашими генералами. Рокоссовский знал их менталитет. Если «сумрачный германский гений» ухватится за идею, то уже от неё не отступится.

Рокоссовский расположил штаб Центрального фронта в Свободе, в Коренной пустыни, в 25 километрах от Курска. У Рокоссовского был свой резон. Если немцы всё же попрут на Курск, то Коренная пустынь, коренской монастырь с его знаменитой иконой «Знамение», не раз защищавшей древнерусский город Курск от степняков, на сей раз снова сделает своё дело. Рокоссовский был нравственным, верующим человеком, он знал, что религия– это не просто идеология, это глубокая вера, помогающая в бою. Недаром икону Владимирской божией матери –заступницы Москвы возили на самолёте в декабре 1941 года перед сражением за Москву, воодушевляя солдат.

Официально штаб Центрального фронта располагался в Свободе, у Коренной, а фактически оперативный штаб Рокоссовского был под самим Малоархангельском, то в посёлке Курган, то в Серебряном, то поглубже – в Легостаево, в зоне действия 13 –й армии Пухова. Командующий бывал и в расположении 70 –й армии Галанина под Ольховаткой. Блиндаж Рокоссовского до сих пор существует неподалеку от Тагино. Однако в основном Командующий фронтом находился в боевых порядках Пухова. Сюда накануне сражения приезжал к нему заместитель Верховного Главнокомандующего Г.К.Жуков. Здесь и произошла кровавая «мясорубка», в неё попали, можно сказать, «ополченцы», хлеборобы малоархангельские, колпнянские, ливенские, должанские, как в народе потом её назовут «штрафная армия» Рокоссовского. Все знали, Рокоссовский жалел солдат, сам имел непростой жизненный опыт, однако не всё зависело от него. По словам писателя –фронтовика Виктора Астафьева, мы «закидали противника трупами». Думаю об этом всё время и вспоминаю героев: друга нашей семьи майора А.Е. Лисунова, капитана Евдокимова П.П. с его боевыми товарищами, которых хоронили в центре Малоархангельска под самый

первый стихийный салют из всех видов оружия. Имена их читаем на плите в Парке Героев.

Важно отметить, что в битве на Орловско –Курской дуге были две фазы: оборонительная и наступательная, где и проявился настоящий военный талант Рокоссовского. Накануне в Ставке долго не решались нанести удар первыми. Был избран оборонительный вариант. На позициях Рокоссовский интуитивно понял, что ситуация складывается по – другому. Надо было принимать самостоятельное решение, связанное даже со смертельным риском для жизни. Наши разведчики захватили в плен немецких саперов, фельдфебеля, они назвали час вражеского удара где-то в 3.00 утра. Рокоссовский принял решение: нанести упреждающий удар в 2.50. Полтысячи гаубиц, чуть меньше «катюш». Раньше этого часа нельзя – снаряды выпустишь вхолостую, по полям и перелескам. Позже – немцы покинут передовую и перейдут в наступление. Командующий всё рассчитал точно. «Бог войны»– дальнобойная артиллерия Резерва Главного Командования била из Малоархангельска и его окрестностей по передовым позициям сосредоточившегося для атаки врага, затем переносила огонь в глубину обороны немцев до 40 километров. За Ольховатку, на вражеские траншеи перед дивизиями генерала Галанина.

Жуков позвонил Рокоссовскому в 10 утра. Командующий фронтом доложил обстановку: наши гаубицы и «катюши» попали в самую точку.

Рокоссовский обладал не только стратегической мудростью, но и хорошо чувствовал любую ситуацию. В Генштабе могло бы оказаться подобное тому, что произошло в Тегеране на конференции Глав трёх великих держав. Не успели Главы держав принять решение, как фюреру тут же всё стало известно. Слуга у Черчилля, оказывается, был немецким шпионом.

Так вот, о второй, наступательной фазе сражения на Центральном фронте. Как проявился военный талант Рокоссовского в наступлении? Начавшись 5 июля 1943 года, первая фаза сражения закончилась на Центральном фронте 12 июля. На три дня раньше, чем на Воронежском фронте, у Белгорода. Дело в том, что оборонительная операция на фронте Рокоссовского оказалась результативнее. Немцы прошли тут не более 12 –16 километров, увязнув на подступах к Малоархангельску. Ставка приказала ему наступать, помогая южному фасу битвы, прохоровскому крылу, значительно прогнувшемуся под напором немецких «тигров» и «фердинандов». Контрнаступление наших войск началось 12 июля, 23 июля немцы были остановлены, а 3 августа наши войска перешли в наступление по линии Орёл – Курск – Белгород. После этого стратегическая инициатива до конца войны принадлежала нашему командованию.

На Центральном фронте, имевшему два направления, две армии: 70 –ю Галанина– от Понырей до Ольховатки, и 13 –ю Пухова– на подступах к Малоархангельску, бои велись одновременно. За Понырями, у Ольховатки, за один день боев на Тепловских высотах к Звезде Героя были представлены сразу 17 человек. Золотом на Ольховатском мемориале ныне сияют имена девяти героев. Некоторые склонны отнести это на счёт прессы: фронтовым корреспондентом был тут Константин Симонов, а поэт Лев Ошанин написал после поэму «Поныри». Конечно, Тепловские высоты заслужили внимание, а Сабуровское поле в зоне наступления 13 –й армии? Заметим, не Соборовское поле, что в Троснянском районе, а Сабуровское, что в Глазуновском районе, в 10 километрах от Малоархангельска. Тут в одной атаке на каких –то десяти гектарах легли сразу 10 тысяч наших солдат. Русское поле, Сабуровское поле. Те самые хлеборобы, «ополченцы», так называемая «штрафная армия» Рокоссовского.

Обратим внимание на то, что 70 –й армии генерала Галанина были приданы авиация, танки, артиллерия. Они были тесно связаны с пехотными подразделениями, вовремя приходили на помощь, когда это было нужно солдату. А при дивизиях 13 –й армии самолётов и бронетехники не было, такие части были отдельными, что вело к большой потере в живой силе. Новобранцы и «штрафники» шли в бой порой без оружия, ненакормленные, офицеры в картонных погонах со звёздочками, нарисованными химическим карандашом. И гибли под огнём, не подкреплённые ударами с воздуха, наземных войск – танков и артиллерии. Трупы с обеих сторон лежали в окопах, как говорится, «слоями», и это было действительным фактом, такова была цена тут нашей победы.

Вернёмся ко второй фазе сражения. Итак, 12 июля 1943 года Центральный фронт сдвинулся с подступов к Малому городу и перешёл в наступление. После Глазуновки и Понырей, после Ольховатки и Тепловских высот удар был нацелен только на Запад, южнее Орла,– к Хотынцу и Карачеву по направлению к Брянску. А севернее Орла – от Мценска через Болхов на тот же Хотынец и Карачев наступали части Брянского фронта, вместе с нависающим с севера, от Калуги, Западным фронтом, а с юга Центральным фронтом выдавливая неприятеля из Орла. Поскольку Малоархангельск был ключевым, обеспечивающим осуществление замысла Командующего, оборону и наступление Центрального фронта, его роль была неоценима.

Неоценима была и роль Рокоссовского. За тактикой в развитии наступления просматривалась стратегия. В чём она выражалась? С тактикой ясно: гнать и гнать врага на Запад. Стратегическим выглядело само ускорение наступления: из девятисот вражеских танков, выведенных из строя у Малоархангельска и Понырей, шестьсот можно было отремонтировать. Любая задержка немецких войск на позициях при отступлении означала ремонт этих танков и введение их снова в бой. Это давало возможность неприятелю закрепить-

ся в том же Брянске и далее до Белоруссии. Развивая ускорение движения своего фронта вперёд, Рокоссовский создавал предпосылки для успеха будущей операции «Багратион», в которой после войны генштабы армий других стран высоко оценят роль Рокоссовского, признают эту операцию как самую выдающуюся во второй мировой войне. В результате была освобождена Белоруссия, Центральный фронт, переименованный в Первый Белорусский, подошёл к государственной границе и отсюда был нацелен на Берлин. Только перед взятием Берлина Командующим Первого Белорусского фронта был назначен Жуков, а Рокоссовский перемещён на любимый им фланговый удар от Померании – с севера на Берлин, став Командующим Второго Белорусского фронта.

Выходит, танкисты Центрального фронта недаром писали на башнях своих танков ещё под Малоархангельском «За Родину, на Берлин!»

Военный талант Маршала Рокоссовского требует дальнейшего осмысления. Но уже сейчас Рокоссовский признан выдающимся полководцем. Главное в его таланте была вера в человека, в солдата, он умел воодушевить их, повести за собой. Солдаты шли за ним, как за Суворовым, в огонь и полымя, верили ему, зная, что они победят. У них вырабатывался дух победителя, и они победили.

24 июня 1945 года на Красной площади, на Параде Победы, Рокоссовский вместе с Маршалом Жуковым объезжал победителей на вороном коне. «Служу Советскому Союзу!»– гремело у стен седого Кремля, а мы тут, в Малоархангельске, воспринимали это ещё и как службу Коренной, Серединной Руси, а с ней и нашему Малому городу – Малоархангельску.

Именно здесь, волей случая, тогда, в сорок третьем, восьмилетним мальчишкой увидел я Рокоссовского во дворе старой школы. Он стоял перед нами– высокий, красивый, распекая своих генералов за погибших под Сабурово, под станцией Малоархангельск, у Красной Слободки, у Панской.

Через годы я написал стихи «Китель Рокоссовского», заметив, что на кителе у него даже треснуло от натуги под мышкой. Таково было тогда напряжение от всего: от военной обстановки, от большой любви и жалости к нам, детям войны, к горстке жителей Малоархангельска, стоявших тогда поодаль и смотревших сюда, потерявших в районе за войну больше людей, чем есть теперь в городе.

Не меркнет имя его – нашего Освободителя, вспоминаем его особенно в главный день Красной Армии – 23 февраля, в тот день части Центрального фронта пришли к нам сюда с Волги, сразу же после Сталинграда.

Я хочу, чтобы имя Рокоссовского помнилось, было увековечено. Чтобы во весь рост стоял ему памятник на самом высоком месте города – у церкви Михаила Архангела, покровителя воинов. Пусть высится Рокоссовский в начале главной улицы. Пусть видят всё – это проспект Рокоссовского.

Пусть смотрит Маршал на Русское поле перед собой, на Орловско –Курскую дугу, на обелиски до самого горизонта, на свои полки и дивизии, на застывших у братских могил, окаменевших, известных и неизвестных, бессмертных солдат.

3 сентября 2013 г.

Мэр нашего города

Каждое утро мэр Малоархангельска Александр Сергеевич Трунов появляется в своём кабинете, подходит к окну, смотрит со второго этажа на Александра Сергеевича Пушкина в виде бюста через дорогу, в детском парке, в обрамлении ёлок.

– Здравствуй, племя младое, незнакомое,– приподнимает Пушкин свою беломраморную шляпу. – Здравствуйте,

жители города, где я был проездом на юг и где, по легенде, меня приняли за ревизора.

Так приветствует Александр Сергеевич – поэт Александра Сергеевича– мэра, передавая ему души прекрасные порывы. Глава города предстаёт, в самом деле, человеком племени младого, незнакомого. Когда бюст Пушкина, первый на Орловщине, появился в городе, будущий мэр был ещё юношей и жителям незнаком. И вот каждое утро он говорит теперь по душам с тёзкой своим – великим поэтом, настраивая себя на добрые дела, на высокие помыслы.

х х х

Конечно, главе Малого города, учреждённого как уезд ещё Екатериной и «отредактированного» «Ленгорпроектом», не хочется быть гоголевским персонажем, просто властью, обожающим себя банальным чиновником. Хочется изменять стереотипы, всё –таки за плечами пять лет учёбы в одном из вузов Санкт-петербурга, этого красивейшего, столичного города на Неве. Вот и ему тут, в этой глубинке, как бы не утонуть в ревизорской «луже» посреди Малого города. Как передать хотя бы частицу той красоты, той культуры, всего того, что было получено им за годы жизни в Северной Пальмире от Медного Всадника Петра – преобразователя, наполненного идеями Пушкина.

Тут, в Серединной Руси, сколько всего предстоит сделать ему как мэру, чтобы поддержать статус города, чтобы он стал привлекательнее, еще более зелёным и уютным, удобным не только для проживания, но и более цивилизованным, жизнеспособным, современным. И, глядя на Пушкина, видишь, как у мэра «по сердцу пламя пробежало».

Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!

Куда ты мчишься, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Дни лета сочтены, дело к осени. За Спасом яблочным, за Преображеньем, лето переходит в осень. Уже засентябрило, осенним хладом небо дышит. У нас тут были французы из Швейцарии, из такого же малого городка в предместье Женевы. И что увидели они у нас, что подумали? Не хочется пасть лицом в грязь, хочется видеть городок со своим лицом, на европейском уровне.

Родился ты, Пушкин, летом, в июне. Шестого числа. И в той же Швейцарии, в Женеве, ЮНЭСКО объявило твой День рождения Днем русского языка. И мы в твой день, поэт, проводим праздник тут, у твоего пьедестала. И это стало традицией. Вот и этим летом мы с сыном участвовали в нём, сознавая всю важность этого праздника не только для России, русский язык является одним из шести языков, признанных языком международного общения. У пушкинского бюста говорили о Пушкине, о живых книгах, которые в эпоху интернета не умрут, будут вечно сеять разумное, доброе, вечное. И мэр нашего города участвовал в этих пушкинских днях, стремясь придать значение этому событию в жизни города, понимая, что праздник несёт в себе духовность, прививает тягу к знаниям у молодого поколения. Это приостановит худшие традиции в чиновничестве, идущие от гоголевского «Ревизора». Такие диалоги ведёт мэр нашего города Александр Сергеевич с поэтом Александром Сергеевичем, глядя со своего второго этажа на беломраморный бюст.

В начале осени городу исполняется 235 лет. Юбилейная дата. Как всегда, День города отмечается 5 сентября. Но дождь, но непогодь, но холод. Всё льют и льют потоки. Как на востоке страны. Думали перенести юбилей на пару дней, когда обещают солнце, но не перенесли. Пушкин! Ты солнце нашей поэзии, и в дождь ты светишь людям. Однако дела к

суровой прозе клонят. И сколько же надо сделать всего и «коммунхозу», и торговле, и предприятиям города, а мэру надо, как говорится, держать всё на пульсе, крутиться, как белке в колесе. Итак, обо всём по порядку.

Проблемы и факты. Случаи и звонки, звонки.

Центр города. Цветы в Парке Героев.

Сюда к нему, в кабинет, звонят и звонят. По обычному телефону. Всюду, куда он ни мотнётся, его достают по сотовому. Придумал же он такое: два сотовых у него – рабочий и личный. И оба в звонках. С двух рук говорит он порой то с теми, то с другими. То дерево ветром свалило, и оно упало на сарай, то крыша потекла. И всюду надо побывать, оценить ситуацию, чтобы помочь. А то повести за собой к цветникам у обочин дорог, браться за лопату кое-когда самому. Жители говорят: наш мэр доступен, он всегда приходит на помощь.

Внешний вид города. Мэр следит за всем, что делается на улицах Малоархангельска: как укладывают тротуары вдоль «бетонки»– по магистрали, по которой КАМАЗы везут через весь город в Орёл белую девонскую глину; на станцию зерно везут, повезут скоро свёклу. Цветы на обочине подбираются в тон, чтобы, украшая город, они создавали гармонию; кустарники надо постричь, фонтан чтобы работал, освежая в жару, был любимым местом горожан. Чтобы мусорные баки вывозились вовремя, не разводили всякую мухоту. И тут не обходится без Пушкина.

Ах, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной да пыль, да комары, да мухи.

А зимой, чтобы улицы посыпали песком, когда надо и где надо. Покрасить в юбилейное лето крыши, побелить стены домов. Регулярно подводить итоги по образцовому содержанию жилого фонда, поквартально. Особое внимание уделить Центральной площади, центральной улице, пересекающей город надвое.

Внутренний вид, проблемы. Ну, конечно, в первую очередь это магазины и цены. Особая боль для жителей, и это

так важно. То и дело звонят мобильники, с двух рук он говорит и слушает каждого жителя. Обратите внимание, какие цены в магазинах. Дороже, чем в Орле. А тут ведь производят и хлеб, и молоко, и мясо, даже колбасы. Так почему у нас должно быть всё дорого? Прислушайся к голосам, встань, мэр, иди и разбирайся, объясняй, каковы пределы его компетенции, какова прерогатива района? Где и в чём можно власть мэру употребить? Закрыли маслозавод, а ведь открывался ещё когда, сразу после Освобождения. И механический завод приостановлен. Вроде не твое дело, а возникает и существует проблема безработицы, и это уже серьёзно касается мэра. По улицам «бомжи» бродят, как призраки, протягивают руку: дай пять рублей– на пиво, на корку хлеба. А это тоже ведь облик города, как мэр ты ведь должен всё видеть, предвидеть, кому-то помочь, а денег в городе кот наплакал. Глину, говорят, везут на ВИЛОР без налогов. И ещё. В городке всегда было 4,3 тысяч населения, а сейчас 3,7 тысяч. Вот какова демография.

Пожилые люди. Стареют жители. И за этим тянется шлейф проблем. И думать надо, что предпринять, что можно сделать самим, а чего нельзя без финансовых вливаний. Окраины застраиваются, растут коттеджи для молодых, чтобы молодежь держалась, уезжала отсюда меньше, а инфраструктура не меняется. А что ещё? Посмотрите, сколько у нас кварталов, а в кварталах пустых домов? Или по одному, двум жителям в доме. И те пожилые. Осталось в городе всего два –три ветерана войны, ветеранов труда больше, всем нужно внимание и забота. А молодые– в Москву, в Орёл, в Курск. Проблема, она –то больше всего и волнует мэра.

Однако снова утра луч блеснул. И, глядя на Пушкина в окно, опять по сердцу пламень пробежал. И Пушкин снова тут, в местах ему знакомых, направил дух к нам беспокойный. В «Борисе Годунове» что сказал поэт, а Мусоргский что положил на ноты? За что Козловский получил премию? Так вот, он получил госпремию за партию Юродивого, со-

стоящую всего из двух слов и одного ответа: «Нельзя молиться за царя –ирода».

Так мог говорить только потомок Ганнибала, а мы способны воспринимать и можем сказать вслед за Пушкиным, высказанное им на века:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Сидит мэр в зелёном своем кабинете. Цветы и тут, как всюду, по всему городку. Уходит, исчезает за окном песня лета. Бумага на столе, стило в руке. Вот что такое Александр Сергеевич, что мэру сил и духу придаёт. Речь стихотворной кажется, мэра из кабинета тянет на народ.

А праздник на носу. Погода петербургская, как взбесилась, всё мжит и мжит, всё льёт и льёт. И всё равно в городке должно быть красиво и празднично; да было бы на что глядеть и чем полюбоваться.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.

Вот он и праздник. Без военной темы. Но как тут обойдёшься без неё? И площадь приготовлена Центральная, помост поставлен для выступлений. Но дождик гонит в «Колос» всех, в кинотеатр. Для излияний и одушевлений. Особенно чиновный люд, чтобы народ их знал, внимал и не совался, куда не надо.

Напротив, через дорогу, у входа в Парк Героев, слова:

«Остановись,
Памяти их
Поклонись».

А дорога рядом – это главная, центральная, осевая улица. В самом верху её– храм Михаила Архангела. И это самое высокое место города. Дорога федеральная, ведёт отсюда на Орёл, Сабурово, что в ту же сторону, на подступах к Мало-

архангельску, от него километрах в трёх была в 43 –м триангуляционная вышка, был НП – наблюдательный пункт Рокоссовского. А в городе, на этом месте, на холме и стоять бы Маршалу, дважды Герою. Таким на родине и ставят памятники – бюсты, а родина его у нас тут. Он – главный наш Освободитель. Именно у нас и проявился больше, чем где – либо его талант, военный гений полководца. Да, именно у нас, на подступах к Малоархангельску, от которого Центральный фронт пошёл вперёд, только на запад, на Берлин.

Предлагаю объявить сбор народных средств, открыть счёт на памятник Рокоссовскому, нашему Освободителю, великому полководцу. Уверен, вся страна подключится к этому благородному делу, к этой народной акции, которую я хотел предложить на празднике в честь юбилея города и 70 –летия его освобождения в 1943 году. И будет стоять Константин Константинович на этом самом высоком месте города, и улицу мы назовем проспектом Рокоссовского.

Пусть ведёт она к Пушкину, где стоит его беломраморный бюст. На этой улице в своём военном детстве, во дворе старой школы, и видел я Рокоссовского. На этой же улице со второго этажа мэр нашего города Александр Сергеевич Трунов глядит в глаза нашему гению Александру Сергеевичу. Думает, как это важно глядеть с утра в лицо поэта. Как важно беречь честь смолоду, достойно нести своё имя, не опускать никогда.

Готовясь к юбилею, к 235 –летию Малоархангельска, зашёл я к мэру нашего города, и пошли мы с ним к Пушкину – близко тут,через дорогу. И стал я сразу обоим Александрам Сергеевичам читать свои стихи как подарок к юбилею, на котором и я своё слово молвлю. Читаю и знаю, что он слышит меня.

Как грустен мне август, с чего бы?
Откуда вселенская грусть?
Но очень уж хочется, чтобы
Спокойней жила наша Русь.
Чтоб видеть подольше зелёной,

Чтоб лету все быть впереди.
Чтоб вместе стоять нам под клёном
С любовью в горячей груди.
Чтоб путь перед нами стелило,
Божественный длился глагол,
Чтоб солнце утрами светило,
Чтоб детство вернулось и было,
Чтоб сердце отчизну любило,
Чтоб Пушкин домой к нам пришёл.

15 октября 2013 г.

«Здравствуй, земля колпнянская!»

Письма лежали во внутреннем кармане. Борис Иванович счастливо улыбался, вспоминая по –материнскитёплые строчки. Александра Евсеевна Клочкова писала: «Я вспоминаю ваши слова. Вы мне сказали тогда: если останусь жив, я вернусь к вам…»

И он возвращался сюда 24 года спустя. Тогда, осенью сорок первого, Евсеевна вместе с дочерью Ниной помогла ему, восемнадцатилетнему лётчику, совершившему вынужденную посадку на оккупированной территории, пробраться к своим через линию фронта. Нынешней весной через газету «Красная звезда» они случайно нашли друг друга. Какова она теперь, Евсеевна, простая русская женщина? Какой стала тогда шестнадцатилетняя Нина! Как изменились те памятные места?

Вопросы роились в голове, нетерпение подгоняло машину, мчавшуюся к Колпне. В кабинете первого секретаря райкома Борис Иванович Ковзан сразу же попал в атмосферу радушия, добрых улыбок, тёплых рукопожатий — в ту атмосферу, которая потом окружала героя –лётчика во всей поездке.

Сказали: Нина Ивановна Терещенко сама приехала встречать героя. Запыхавшись, она появилась в дверях и упала в объятья Бориса Ивановича.

Они смотрели друг на друга. На седины, морщины... Жизнь! Сколько вёсен отшумело с тех дней, когда они были юными, когда им не было на двоих и тридцати четырёх, когда она вела его ночью знакомыми тропами и оврагами за линию фронта. Сейчас она приехала из Запорожья, чтобы вновь увидеть его.

А в Ярище его ожидала Евсеевна. Она выскоблила до желтизны полы во «времянке», наготовила всяких кушаний, чтобы было чем угостить дорогого гостя. Сидела в тенистом саду перед домом, не зная, куда деть неожиданно оказавшиеся без дела жилистые от работы, тёмные крестьянские руки. Сердце замирало от близящейся радости и затихало от временами вспыхивающего горя.

Её родной сын Алексей!.. Когда она получила с фронта похоронку, лежала два года — ослабевшая, равнодушная к жизни: отнялись руки и ноги, никто не думал, что она будет жить...

Теперь она ждала лётчика, чтобы поделиться с ним своим материнским горем, выплакаться, обмякнув, у него на плече. Ждала, как мать своего родного сына, который ведь никогда не вернётся, похороненный где-то на далекой Полтавщине. И, может быть, потому велико было радостное удивление от известия, что лётчик тот жив, потому так счастливо всё горело внутри, что она увидела в Борисе Ивановиче своего погибшего и вновь воскресшего сына, поняла, что не зря приняла за него от немцев такие муки... Что и говорить, трогательной была та встреча под вётлами перед домом Клочковых.

Так и появились они на митинге, стихийно возникшем на совхозном току,– новая семья, связанная не кровным родством, а узами более крепкими. С не просохшими от счастья глазами.

— Да, я счастлив сегодня, — сказал на митинге Борис Иванович, — назвать своей матерью Александру Евсеевну и сестрой — Нину Ивановну.

А на ток все сходился народ. Стояли приодетые, словно на праздник. Механизаторы, животноводы совхоза «Ярищенский», школьники окрестных школ. И небо, которое до этого дня было «нелётным», щедро лило на зелёную землю не дождь, а потоки жаркого солнца. «Лётчик погоду привёз, — шутили в толпе, — теперь уборку развернём во всю ширь»... А пока замерли на току зерноочистительные машины, остановился транспортёр, прижались к автовесам наполненные зерном «газоны». Люди слушают рассказ легендарного лётчика о его боевых делах.

Рассказ Б. И. Ковзана

В довоенное время был брошен клич: «Комсомол, на самолёты и в Военно –Морской Флот!» Когда мне не было и семнадцати, я подал заявление с просьбой зачислить меня курсантом лётного училища. Прошёл всю медицинскую комиссию, оставался только хирург. А он сказал:

— В тебе же вес — 48 кило. Не хватает целых тринадцати до нормы...

— Ну и что же, — сказал я, — всё равно буду летать.

Настоял на своём — стал лётчиком. Как сейчас помню первый день войны. По приказу поднялись в воздух, встретили фашистские самолёты. Я подстроился к одному в хвост, но так и не открыл огонь. Просто не мог привыкнуть к мысли, что началась война, что надо в кого –то стрелять, кого –то убивать. Внизу меня ждал нагоняй.

— Это тебе не детсад, — сказали на аэродроме. — На земле льётся кровь наших стариков и детей. Родина доверила тебе боевой самолёт, а ты...

Шёл третий день войны. Звеном мы идём в пелене облаков. Неожиданно выскакиваю на «Хенкейля»... Бывают такие, что говорят, мол, ничего им не страшно. Мне тогда было страшно. Первый воздушный бой, первые пулемётные очереди... Нажал гашетку и закрыл глаза. Когда я глянул перед собой, увидел: «Хенкейль» резко падает вниз. Это было в Белоруссии, неподалеку от тех мест, где я учился, где жили мои родители.

Шло время. Воздушные бои, сбитые самолёты... Враг неумолимо двигался к Москве. В одном воздушном бою мы с «Мессершмиттом» оторвались от основной массы. И когда я удачно подстроился к нему, чтобы расстрелять, как на полигоне, у меня кончились боеприпасы. Что делать? Я решил рубить ему хвост винтом.

И до этого ребята из нашего полка таранили вражеские самолёты — Кокорев, Харитонов, Зайцев, Хлобыстов. Таранили и погибали. Не было опыта, не знали, как проводить этот вид боя. Скажу откровенно: первый таран и я проводил вслепую. Но получилось на редкость удачно: «мессер» плюхнулся где-то в стороне, я благополучно приземлил свой самолёт. Через два дня, когда мне заменили винт, я на том же самолёте вылетел снова на фронт.

После этого нашу часть перебросили. Мы штурмовали скопления фашистской техники на железнодорожной станции Орёл. Штурмовали дороги в области, по которым неприятель подтягивал войска к передовой. Под Колпной осенью сорок первого я попал под обстрел и был сбит. Тогда –то и помогли мне простые русские женщины, провели меня через линию фронта.

Потом я воевал на Северо– Западном фронте. В одном из воздушных боёв я зашел в хвост вражескому самолёту. Можно стрелять! Но... отказывает вооружение. А фашист, вот он — перед тобой. Я принял решение идти на таран. Теперь у меня был кое –какой опыт, который придавал мне уверенность.

В этом бою я сбил фашистского обер –лейтенанта, награжденного двумя железными крестами. Свой третий таран я совершил над городом Валдаем.

Ещё мне вспоминается бой, в котором я дрался один против тринадцати. В том бою я сбил фашистского аса подполковника, убелённого сединами, облетавшего почти всю Европу, сбившего до этого не один десяток английских, бельгийских, французских, польских самолётов. Когда его пленили, то подвели к группе наших лётчиков и предложили угадать, кто сбил его. Он передёрнул плечами. А когда ему указали меня, он позеленел от злости. Ему тогда было пятьдесят четыре, мне не было и девятнадцати...

Четвёртый таран я совершил летом сорок третьего в очень тяжёлом воздушном бою. Меня атаковали сразу пятеро. Вижу: двое идут снизу, двое сверху, один переходит в лобовую атаку. Перебита водяная и масляная система. Огонь лижет руки, лицо. Я открываю «фонарь». А вражеский самолёт всё ближе, ближе. Что –то хлестнуло по кабине. Схватил рукой голову: кровь. «Э, всё равно пропадать»...

Лишь в прошлом году мне показали плёнку с записью моего голоса. Не помню, кричал или не кричал я в то время, но вот услышал свой голос и слова: «Пробита голова, вытекают мозги, иду на таран!..»

Видимо, после этих слов, когда вражеский самолёт перед самым моим носом попытался взмыть вверх и показал «брюхо», я врезал в него свой истребитель. Словно взорвалась бомба. Меня выбросило. С 3.700 метров, где разыгрался бой, я падал до 300. За это время меня, по –видимому, обдуло ветром, я пришёл в сознание, дёрнул за кольцо парашюта. Упал в болото...

Очнулся я через семь дней в Москве. Забинтованный, как кукла. Спрашиваю:

— Здорово я порубился, сестрёнка?

— Да нет, — говорит, — правда, переломаны обе руки, обе ноги, пробила голова, треснула челюсть, сломана ключица, выбит глаз и немного обгорели...

После того, как вышел из госпиталя, я прошёл множество медицинских комиссий. Врачи стояли на своём: нет, не можем допустить к полётам. А иные говорили просто: «Ну, что тебе больше всех надо? Отдохни, подлечись»... Но я настоял на своём. Наконец меня комиссовала та же комиссия, что и Маресьева. Написали: «В виде исключения, учитывая большой опыт работы, допустить Б. И. Ковзана к полётам на всех типах истребителей»...

После этого я сбил ещё шесть самолётов противника. Всего совершил 360 боевых вылетов, участвовал в 127 воздушных боях, сбил 28 самолётов.

Затем выступают председатель Ярищенского сельсовета П. Д. Колосов, главный агроном совхоза «Ярищенский» И. Н. Березуцкий. Они рассказывают о большом хозяйственном и культурном строительстве в совхозах «Островской» и «Ярищенский» за последние годы. Здесь выросли две средние, две восьмилетние, восемь начальных школ, построена участковая больница, медпункты. Совхоз «Ярищенский» по многим показателям стал одним из лучших не только в районе, но и в области.

Взволнованно звучат слова директора Ярищенской средней школы Распоповой:

— Немцы изучали Россию, русскую душу. Но так и не могли понять их. Где им со своей моралью было понять широту и беззаветную любовь к Родине русского человека... Вы видите: над нами ясное солнце, голубое небо, улыбки детей. Это же счастье, что люди спокойно могут идти по земле, растить урожаи, учить детей. Этому светлому голубому счастью, может быть, больше других отдали здоровья, сил и энергии трое простых русских людей — Борис Иванович, Евсеевна и Нина. Спасибо же вам от нашей колпнянской земли!

А юная пионерка, ученица Ярищенской средней школы Лёля Дурова, тянулась с цветами к герою. Голос её звенел:

– Мы не видели ужасов воины. Мы не хотим их видеть... Мы хотим быть во всем похожими, Борис Иванович, на вас — хотим расти такими же упорными, сильными, смелыми, так же любить свою Родину...

С тока Борис Иванович вместе со своей новой матерью и сестрой отправляются к могиле павших в Отечественную войну. И яркие цветы легли на постамент.

На следующий день Борис Иванович посетил семью Василия Евстратовича Чистякова — одного из тех, кто помог Клочковым в трудные дни фашистской оккупации. Когда оккупанты сожгли хату Клочковых в деревушке Иваносипово, когда предатели выбрали из ямы все их пожитки, когда немцы пытали Евсеевну и искали её дочь, Нина пряталась у Чистяковых. Они не побоялись расправы, приняли у себя девушку. Кормили, одевали... У Чистяковых, дом которых находится неподалёку от леса, была по сути партизанская база. Здесь скрывались советские солдаты и офицеры, попавшие в окружение. Здесь целую зиму сорок второго провёл советский разведчик с рацией.

Когда немцы стали частенько заглядывать в этот дом, Василий Евстратович отвел радиста к своему закадычному другу. Матвей Ильич Васильев рассказывает:

— Как сейчас помню, мы дважды провожали его через линию фронта, после того как он выполнил задание. Один раз до Коротеево — не получилось, второй раз до Фошни... Дали лыжи, одежду, еды... Был он лет двадцати трёх, среднего роста, светлорусый, крепкого телосложения. Отчаянный. Назвал себя — Анатолий Александрович Серов, уроженец Подмосковья. Интересно, жив он сейчас?

Два старика, два друга — Чистяков и Васильев — беседуют, вспоминают войну. Сколько их, вот таких простых

русских людей, делавших свой посильный вклад в общую победу!

Не в этом ли кроется разгадка русского характера, который стремились понять, но так и не поняли оккупанты? И тем более гадливо выглядит лицо того, кто живёт сейчас в Иваносипово, того, кто пресмыкался перед фашистами, кто донёс им тогда, осенью сорок первого, что Клочковы прячут лётчика.

Провожали Бориса Ивановича Ковзана всем селом. Снова у хаты Клочковых собралось всё Ярище. К герою подошли механизаторы.

— Видите? — показали трактористы на соседнее поле. — Вчера мы вспахали, сегодня уже засеяли. Это, Борис Иванович, в честь вас...

— Видите вон то громадное поле? — подошли комбайнеры. — Мы убрали его за полдня. Это тоже в честь вас, наш дорогой гость.

...И пока не скрылась за поворотом машина, увозящая Б. И. Ковзана, над провожающими всё вспархивали платки и руки, которыми помахивали ярищенцы:

— Счастливого пути! Голубого вам неба!

24июня 1967 года

Русские люди

Посмотрите, когда был написан этот очерк «Русские люди»? В 1965 году. Именно в тот далёкий теперь от нас год и произошла встреча на колпнянской земле героя– лётчика Бориса Ивановича Ковзана с русскими людьми Клочковыми– матерью и её дочерью, которые помогли ему в 1941 году перебраться через линию фронта ценой, можно сказать, собственной жизни. Работал я тогда в «Орловском комсомольце». Помню, сижу в редакции, листаю под вечер «Красную звезду», а в ней заметка о том, как над Колпной немец-

кая зенитка подбила наш «ястребок», и он совершил вынужденную посадку на оккупированной территории у небольшого посёлка колпнянского совхоза «Ярище». Прежде чем нагрянули немецкие мотоциклисты, Клочковы, переодев лётчика в гражданское, отправили его к своим за речку Фошню. Дом Клочковых немцы сожгли, мать едва не забили шомполами, дочь скрывалась где-то в округе у родственников.

Целую ночь Нина вела его за линию фронта. Ей тогда было шестнадцать, ему– восемнадцать. После он совершил свои подвиги: единственный в мире лётчик, у кого четыре тарана, Герой Советского Союза. А она в его брезентовых сапогах, став медсестрой, прошла в частях Рокоссовского до Берлина.

Прочитав заметку, я написал Ковзану в Рязань, а ей– в Запорожье, где она тогда жила, сменив при замужестве фамилию на Терещенко. И вот мы встретились на Орловской земле– в колпнянском селе Ярище. Сейчас Нина Ивановна Клочкова –Терещенко переехала к дочери в Днепропетровск, живёт на Проспекте Героев. Представьте себе, всю жизнь после 1965 года она пишет мне письма. Посчитайте, этому почти пятьдесят лет. Как молоды мы были, и каковы мы сейчас? А дух в нас тот же: мы народ –победитель. Вот с каких пор связывают нас не дружеские, а почти родственные узы. Я побывал в Запорожье и Днепропетровске, она не раз приезжала в Ярище.

Недавно, как всегда к Дню Победы, я получил от неё письмо. Вот оно, почитаем.

« 20.04.2013г., суббота,
г. Днепропетровск.

Здравствуйте, дорогие родные мои земляки– Леонард Михайлович, ваша супруга Людмила Серафимовна и сын

ваш Игорь! Как вы поживаете, чем сейчас занимаетесь? Что там у вас? Трудно представить, что ожидает Украину. А что делать? Нам, старшему поколению, уже ничего не надо. В Днепропетровске я живу уже 11 лет. Все эти годы страдаю, что уехала из Запорожья. Время очень быстро пролетело. Родителей нет уже 29 лет, мужа– 24 года. Похоронены в Запорожье, и я езжу туда каждый год.

В прошлом году я к Дню Победы получила Почётную грамоту от белорусского общества ветеранов войны за Бориса Ивановича Ковзана, он же ведь белорус. В 2012году по распоряжению посольства мне прислали 1000 гривен. За него мы с мамой стояли под дулом пистолета. Наверно, ещё жива в Москве женщина, которая видела, как привели меня немцы с овчаркой в другое село Турбинки на очную ставку с предателем.

Мне трудно писать, я даже через очки теперь плохо вижу, всё плывёт перед глазами, пишите мне крупнее. Спасибо, что вы меня не забываете. Здоровья вам, удачи в жизни, берегите ссбя. А я болею сердцем, у меня высокое давление.

Пишите чуть покрупнее. Очки мне не помогают. Пишу по памяти. Обнимаю вас крепко, крепко.

Ваша Нина Ивановна».

* * *

Очерк

Газета «Красная Звезда» поместила очерк о Герое Советского Союза подполковнике Борисе Ивановиче Ковзане. Интересна его судьба. Девятнадцатилетним сел он в краснозвёздную птицу защищать Родину. В одном из первых воздушных боёв был тяжело ранен: перебиты обе руки и ноги, травмирована голова, вытек глаз. Медицинское заключе-

ние было суровым: лётчик не сможет больше подняться в небо. Ковзан оказался упорным. После месяцев тренировок он снова в строю, снова в небе. Точность, хладнокровие, расчёт... И всё это у человека с пылким юношеским сердцем. Когда кончались патроны, он встречал вражеских асов грудью. Борис Иванович — единственный в мире лётчик, совершивший четыре тарана и оставшийся жить.

После опубликования очерка в «Красную Звезду» пришло письмо от Нины Терещенко. «Я узнала его по рисунку в газете, — писала она. — В сорок первом мы с мамой помогли ему перебраться через линию фронта»...

Об этом эпизоде из боевой биографии героя –лётчика, о том, как выручили его простые русские люди, о том, что пришлось вынести им в оккупации, об их несломленном духе и рассказывает материал нашего корреспондента, недавно побывавшего в Колпнянском районе.

Солнце садилось огромное, малиновое, как раскалённая сковорода. Назавтра в маленькой деревушке, затерявшейся в холмах средней России, ожидали сильного ветра. Но воздух начал движение уже сегодня. Первыми закачались высокие вётлы, окружавшие яблоневые сады. Из мягкого посвиста деревьев вырос резкий басовитый гуд. Над Иваносиповкой кружил самолёт. Мотор вдруг зачихал. Замолк. Самолёт ткнулся где-то за садом.

Евссевна осторожно выглянула из дверей: по огороду бежал человек. Весь в кожаном, весь в ремнях. Подбежал, сбросил с себя шлем, рассыпал русые волосы по мальчишескому лицу, едва выговорил, запалившись: «Где тут немцы, мать?»

— Сыночек, — ахнула она и повела рукой, — Да они ж, разбойники, везде тут — и в Ярище, и в Кривце...

Она провела его в горницу и, увидав в окно, как сбегается со всей деревни народ, приказала лезть на печь. От соседей прибежала дочка. Взглянув на стянутое напряжением,

лихорадочно спокойное лицо своей матери, Нина поняла всё.

— У тебя, Евсеевна, лётчик –то, а? — приставал Сухинин — язвительный мужичонко, живший через овраг. — Куда ж деваться ему? У тебя...

Евсеевна с Ниной боялись поднять на народ глаза: как знать, кто о чём теперь думает, какой правде служит? Вон Сухинин, послушать, до войны грамотный был да речистый, а сам отвертелся от армии.

– О чём это ты? – отбивалась от него Евсеевна. – О каком таком лётчике?

– Гляди. Коли шкуры не жалко…

Прилегли ранние осенние сумерки. Возле самолёта, возле дома Клочковых никого не осталось — все разбрелись по хатам. «Вот-вот нагрянут разбойники», — горело всё внутри у Евсеевны, и она вздрагивала от каждого шороха, ждала: не застрекочут ли мотоциклы?

– Слышь, милый, как тебя?

– Борис.

– Слышь, сынок, слезай…

Пока ел, подыскивала ему одежонку. Достала старый, затрёпанный пиджак, шапчонку, рубашку и брюки сына. Вынула из сундука новенькие ботинки, купленные для неё сыном. Все ей напоминало о нём, и жизнь свою она делила теперь до того, как был он дома, и после того, как ушёл в армию в первые дни войны офицером.

Мотоциклов пока не было слышно.

Кусок не лез лётчику в горло. Он встал, вынул из кобуры пистолет, переложил за пазуху, пересчитав патроны, решительно тряхнул головой:

— Ничего, мать, только седьмую себе.

Заныло материнское сердце. «Мальчишка. Совсем ить мальчишка, — подумала. — Нет, на взгляд, и двадцати. На-

много ли старше Нины? Ах, ты! Так, должно, и мой где-то горюшко мыкает»...

Она провожала его за сад. Рассказывала, как пройти мимо Гусевки, где подойти лучше к речке Фошне, по которой, говорили, стоял фронт. А когда увидела в сумерках, как, сгорбившись, побрела в неизвестность одинокая фигурка, когда подумала, каково ему будет ночью в совсем незнакомом краю, когда представила, что это не лётчик, а её сын – офицер уходит в ночь, облило чем –то горячим сердце Евсеевны, рванулась вслед; замахала рукой. Борис оглянулся. Вернулся. Она упала перед ним на колени и, проклиная себя за страхи, за то, что отправила из хаты его поскорее, за то, что решилась отпустить одного, чуя нахлынувшую на неё материнскую нежность к этому худенькому парнишке, о котором не знала — не ведала всего часа полтора назад, разрыдалась.

— Не надо, мама, — трогал он её волосы, — не надо.

Она успокоилась. Увидела в темноте, как белеют его ладони, принялась натирать их землёй, разведённой слезами, чтобы при случае руки не выдали его в крестьянской одежде. А потом, вдруг решившись, повела Бориса обратно в хату. И, взяв Нину за руку, дрожащим голосом произнесла:

— Последнее дитё доверяю. Пусть проводит тебя до фронта. Возвращайтесь, наши соколики, ждать будем..,

И ушли двое в ночь.

Нина вела лётчика на восток, едва угадывая дорогу в кромешной тьме. Километров через десять они увидели линию фронта. Вспарывали чернильную темь трассирующие пулёметные очереди, повисали в воздухе цветные ракеты. При свете ракеты, от которой всюду закачались длинные тени, она, обернувшись, увидела его лицо. Обыкновенное, чуть скуластое. Во взгляде отчаяние и твёрдость...

Ракета погасла, но Нине было достаточно этого мига, она запомнила его лицо на всю жизнь.

Вернулась домой на рассвете. Мать не спала. В печи шевелилась маленькая кучка пепла — всё, что осталось от лётной формы. Сапоги мать зарыла на огороде.

Утром с Кривца и Ярища, с Колпны понаехали немцы. Ходили у самолёта. Потом направились прямо к Клочковым. Вёл их Тычинский, кривецкий староста. Сбоку его, то забегая вперёд, то приотставая, юлил Сухинин. Они ввалились в хату — грузные, тяжёлые, страшные.

— Где меховая куртка? — допытывался переводчик. — Куда спрятали?

Евсеевна с Ниной — застывшие, бесчувственные — только стояли, раскачивались всем телом. Офицер с лошадиным лицом схватил Нину за волосы, тряхнул головою о лавку. Другой сунул Евсеевне в рот дуло пистолета:

— Говори! Говори!

И били, били...

Побои не ослабили, а лишь укрепили их дух. Они почувствовали, что смогут вынести многое. И если прежде проклинали оккупантов за то, что те незванно пришли на русскую землю, разрушили довоенную жизнь, то сейчас они ненавидели фашистов всем своим телом, сопротивлялись всей душой.

И когда однажды под вечер через линию фронта прорвалась группа наших бойцов, проводивших разведку боем, когда солдаты вошли в Иваносиповку — усталые, измученные, в пороховой гари, у Клочковых уже не думали, к чему приведёт этот шаг, они просто распахнули разведчикам двери, вывалили на стол всё, что уберегли от фашистов. И глядели на них, не могли наглядеться, счастливые впервые за долгие месяцы.

— А про лётчика не слыхали?– посерьёзнев, спрашивала Нина у командира. — Фронт здесь с неделю назад переходил.

— Нет, не слыхали.

И опять грохотало над деревушкой. Били с Кривца орудия. Разведчики едва выскользнули на Гусевку. Ещё не успели просохнуть слёзы от прощания с ними, как под окнами загорланили немцы.

Евсеевна с Ниной затаились за печью. Были наши — и нету. И оттого ещё горше, ещё больнее. Из дверей пахнуло в горницу сизым дымом. Вылетели наружу. Хата взялась ярым огнём, подожжённая с трёх сторон.

Немцы стояли поодаль.

— Подойдите сюда, — поманил Клочковых Тычинский.

Перед ними стоял офицер.

— Так где меховая куртка? — налились кровью глаза офицера. — Где лётчик?

— Не знаем, про какого лётчика он говорит, — кивнула на Тычинского Нина. — Не знаем. Не видели.

— Свол –лочь, — размахнулся Тычинский. И повернулся к Евсеевне: — Ты виновата перед великой Германией. Дочь у тебя комсомолка, сын — офицер, а сама ты партизанская морда, лётчика скрываешь.

— А ты холуй...

Офицер резко отдал команду. Два дюжих солдата поволокли Евсеевну за руки. Раздели. Повалили. Били шомполами. Били ножнами от кинжалов. Били не плашмя, а ребром. Пока не искромсали всю спину, не превратили её в живое, дышащее, кровавое месиво. Бросили, босую и раздетую, в сарай. Назавтра назначили казнь.

Она очнулась в сумерки. Заскребли в двери. Она напряглась.

— Евсевнушка, — задышал кто-то в щель. Евсеевна узнала Нюру Сухинину. – На, милая. – И просунула пару оладьев, испечённых из гнилых картошек.

Нюра ушла, а Евсеевна сидела, приободрившись, и всё думала, думала. Нет, не все в деревне спасали шкуру свою,

как Тычинский. Она вспомнила Климовых, Нюру Сухинину, тетю Дашу – всех, кто относился теперь к ним теплее, чем прежде, для кого «партизаны», приклеенное фашистами к их семье, не было бранью.

Разорвался снаряд. Она вздрогнула. Оживилась. «Вот оно — началось». Ревела канонада. Посреди ночи кто-то звякнул замком. Она сжалась: «Это –конец». Тронула дверь — никого. Заколотилось птицей сердце: «Свобода?.. Ну, а кто же открыл? Кто?»

Приползла к тёте Даше.

На утро пехотную часть сменили эсэсовцы. Фронт приблизился. Иваносиповцев выгоняли за несколько километров в Ярище. Шли в пургу. Слабые падали, замерзали. Евсеевне не дали упасть. И в Ярище нашлись добрые люди. Со всех дворов носили хлеб и картошку «партизанской» семье. Отлежалась Евсеевна, потянуло на пепелище. Вспомнила угрозы Тычинского («С комсомолочки твоей шкуру спущу»), повздыхала, оставила Нину людям, возвратилась домой.

Она подняла по дороге солдатское одеяло, пробитое пулями, сшила из него юбчонку. Жила в погребе. Иногда приходили соседи, приносили поесть, предупреждали, что поблизости рыщет Тычинский, и она скрывалась у тёти Даши, отсиживалась в урочище Долгом, скиталась по скирдам. Почти вся деревня была теперь за неё, всей деревней охраняли Евсеевну.

Наступила весна. Она узнала об этом, когда в творило погреба зажурчал растопленный солнцем снег. Вместе с подступающей весной пришла Советская Армия. Она не поверила этому: слишком привыкла ждать.

Она заглядывала в лицо всем высоким военным: не сын ли её, не Алексей? Они с Ниной спрашивали про лётчика — молодого, красивого, геройского.

— А как зовут его? — останавливались солдаты.

— Борисом, только фамилию позабыли спросить.

— Э –э, — улыбались солдаты, — Борисов у нас хватает. А героев, мать, ещё больше...

И когда на митинге командир полка поклонился Евсеевне за все её муки, когда пожал с благодарностью Нинину руку, мать посмотрела на всех собравшихся — на своих, иваносиповских, сдержав слёзы, перевела дух, поклонилась им всем низко в пояс, по –русски:

— Спасибо вам, люди!

И закрыла лицо руками.

А Нина обернулась, моляще поглядела на командира:

— Возьмите меня с собой. Я буду хорошим солдатом.

По дворам ей собрали бельишко. Подарили кофту и юбку. Евсеевна откопала на огороде сапоги. Легкие, парусиновые, те самые... И затопала в них Нина Клочкова. В частях Первого Белорусского фронта дошла до самого Берлина.

Трудно пришлось Евсеевне после войны. И пахала на корове, и сеяла.

Возвратилась Нина из армии возмужалая. Рассудила: «Надо, мама, учиться». Сняв погоны, пошла в Курский техникум советской торговли. Как отличницу направили потом в Харьковский институт.

А мать всё ждала, ждала Алексея. И когда Нина где-то в Белоруссии отыскала могилу брата, павшего смертью храбрых, мать надолго слегла...

А сейчас она живёт в Ярище, среди тех, кто когда-то помог ей и дочери. Она получает письма из Запорожья, каждое лето ожидает Нину с внучкой в деревню на яблоки. Каждый год, когда празднуют День победы, приносит цветы на братскую могилу в память о погибшем сыне...

И когда я рассказываю ей о герое –лётчике Борисе Ивановиче Ковзане, не верит, что тогда, перейдя линию фронта, он жив, не верит, что Нина узнала его по небольшо-

му рисунку в газете. А, поверив, всплескивает руками, и слёзы бегут, бегут по щекам:

— Ах, боже мой, соколик мой ясный... Живой, родимый. Сколько о нём передумала. Как сын мне теперь он. Была бы силушка, полетела б к нему. Скажите, передайте ему, что ждёт его мама, что помнит...

И вот он приехал к ней.

Такое не забывается.

9 мая 1965 года

Русский «маки»

Дух захватило от неожиданой радости, а потом и от гордости, когда в класс принесли телеграмму: «г. Орёл, 37 –я школа. Преподавателю физкультуры Валериану Фёдоровичу Соломатину. Ваш воспитанник Юрий Некрасов завоевал звание чемпиона СССР по метанию молота среди юношей»... И хотя уже на тренировках Юрины результаты не давали повода для пессимизма, в душу тренера всё же закрадывалось беспокойство: а как получится у него там, на Всесоюзных?.. Соломатин специализировал его на «своём» виде, по которому сам был чемпионом и рекордсменом области. Вместе бегали кроссы, шлифовали сложную технику метания. К десятому классу Юра уже поджимал учителя: Соломатин со смутной грустью и возрастающей гордостью следил за своим питомцем. И вот оно — первое место в стране по молоту и второе по диску...

Он стоит посреди зала—сильный, подтянутый. Как-то странно сочетание волевого, ещё молодого лица с совершено седой головой. Гудит спортзал. Каждый занят своим. В дверь заглядывают ребята — выпускники прошлых лет. Сегодня в актовом зале традиционный вечер встречи поколений.

— Заходите. — улыбается им учитель.

Заходят. По привычке рассаживаются на длинной и низкой скамейке. После недавнего гуда стоит тишина, лишь в углу, под худым радиатором, вода звонко взбулькивает в ведро.Капли отсчитывают секунды, минуты, настраивают на разговор о прошлом, о жизни, о том кто и где: Лев Авицук сейчас в Горьком, мастер спорта по военно –прикладному многоборью. Валя Баранова — мастер спорта по лыжам, тренером здесь, в Орле, в «Локомотиве», а Светлана Решетникова— в Перми, мастер спорта по акробатике... Ну, а сколько его ребят по спортобществам, по заводам инструкторами и тренерами, сколько в Смоленском институте физкультуры?

...Он рос безотцовщиной в тамбовской деревне. Красивый, отчаянный, не знавший, куда девать свои силы. Бегал кроссы, сдавал на «ворошиловского стрелка», пахал на юрком «натике» колхозные пустоши, хмелея от слов облетевшей всех песни: «Ой, вы, кони, вы, кони стальные»... А через пару месяцев он, боец Валериан Соломатнн, стоял на плацу в шеренге, и командир дивизии говорил дрогнувшим голосом: «Вероломно... на западные границы Советского Союза...». Война!

И вот он со своим артиллерийским полком в Белоруссии, на Березине. Пал Брест –Литовск, оставили Минск — всё это временно, дай лишь встретиться с бронированным гадом... Так думал старший сержант полковой артиллерийской разведки Валериан Соломатин, безусый юноша девятнадцати лет, который, конечно, не знал ещё, что именно отсюда, с этой реки, протянется и для него путь сначала в сражения, потом и в далёкую Францию.

После очередного «котла» от полка осталось совсем немного. Шли по старой Варшавской дороге, пробирались лесами. Попались брошенные «ЗИСы». Не успели проехать и полукилометра, как из лесу выскочила медсестра — и к нему:

— Сюда, здесь госпиталь...

Свернули — в самом деле, десятки, сотни раненых. На костылях, с перевязанными головами. Ждут и надеются.

— Ребята,—повернулся он к своей команде и слыша, как закипает сердце и ком подбирается к горлу, как поднимается в нём незнакомое прежде чувство ответственности эа многие судьбы, приказал: — Шоферы, за мной!

Они возвратились к брошенным «ЗИСам». Валериан придумал сцепить их попарно, потому что оказалось всего пять шофёров; и везли, везли раненых под бомбами, трудными лесными дорогами, пока не наткнулись на наши части. То был первый командирский опыт Валериана... А потом стояли несколько недель на обороне Днепра, на Соловьёвском плацдарме. И снова «котёл», опять отступление. И по сей день стоит перед глазами, как бежали они на пулемёты. Пуля задела ногу, Валериан упал в окоп. «Хальт!»— раздалось над головой.

Их привезли под Бобруйск, за колючую проволоку. Бежал, его поймали, отправили в другой лагерь куда-то под Могилёв. Везли их, набив в пульман, стоя, без воды и без воздуха.

Он дважды бежал из баронского поместья, и во второй раз ему помог «дойч» –механик, снабдив едой и картой, дав в путь зажигалку. Его провожали «домой», на восток, москвич майор Николай Николаевич, немец –механик... Валериана поймали через сутки, бросили в карцер, а потом — на запад, через всю Германию.

Их привезли в Эльзас –Лотарингию. В «чёрный лагерь». Оттуда — в железорудную шахту Ляндр. Жили в рабочем посёлке, в клубе, приспособленном под тюрьму. С ними работали «вольные» — французы, поляки, итальянцы. И здесь он почувствовал, что такое интернациональная солидарность. С неделю ходил в забой вместе с подрывниками –французами; те делились харчами, тянули за него норму, а

он всё не мог привыкнуть к мысли, что он, русский, будет добывать руду для врага, что вот эти руки будут способствовать войне против его Родины. К концу недели трое русских бежали прямо из карцера, по пути убрав часового. Так началась активная борьба его, Валериана Соломатина, Ивана Недвиги из Донбасса и Николая из Курска.

Они шли ночами. На юг, во Французские Альпы, где, слышали, действовали партизаны. В первой же деревне крестьяне снабдили их продуктами, картой департамента, франками и продовольственными карточками.

Однажды ребята услышали, что «маки» совершили налёт на дорогу, вывели из строя телеграфную линию.

— «Маки»?—выведывал Иван Недвига у встреченной ими крестьянки. — Телеграфную линию?

— О, да, да, месье, — говорила та. — На десяти километрах.

— И где? — с надеждой спрашивал её Иван.

— Под Безансоном, месье... сама видела.

— Под Безансоном? — оторопели ребята и расхохотались. — Так это же мы! Нашли оставленные лесорубами на ночь топоры и пилу, да и хлоп по дороге десять столбов...

Но и до «смирного» департамента Верхняя Сона докатывалось иногда эхо партизанской борьбы. И поиски продолжались. Ходили от деревни к деревне. Спали в лесах. Как-то у замка под деревней Сувени повстречали велосипедиста — местного почтальона, назвавшегося Александром Сонней.

Александр привёл нх к себе. Внёс старенький радиоприёмник, и когда в эфире сквозь треск пурги прорвалась, наконец, русская речь,— сжалось сердце. «От Советского Информбюро...— наливался силой голос Юрия Левитана. — Наши войска овладели важным стратегическим пунктом... Взято в плен»... Они ловили перезвон Кремлёвских курантов

и новый гимн, слышанный ими впервые, и слёзы бежали по их суровым, обветренным лицам.

Он был среднего роста, седоватый, этот симпатичный француз. У него имелась связь с центром и задание вести подпольную работу, помогать бежавшим из концлагерей, собирать их в отряды. «Мы должны ждать, — говорил он Валериану, — пока не доставят оружие». Но оружие всё не доставляли, и ребята измучились в ожидании. Прошёл слух, что в деревне Терней есть оно у одного паренька.

— А ну, покажи, — попросил Валериан «вояку» пятнадцати лет, — что у тебя за пушка?

Тот принёс старинный курковый «пистоль».

— Из него случайно ещё Наполеон не стрелял? — усмехнулся Иван Недвига.

Обидевшись, парнишка спрятал руку с оружием за спину.

— А ну, дай сюда, — приказал Валериан. — Реквизируем в пользу республики.—И чтоб как-то смягчить происшедшее, добавил примиряюще: — Ничего, я тебе за него подарю автомат. Немецкий...

В тот же день с дубиной и «наполеоновским» пистолетом они напали на двух немцев с поста связи по обнаружению самолётов.

К осени их стало шестеро. Среди новичков оказался капитан Советской Армии Алексей Фёдоров, ставший потом другом Валериана и его заместителем. Вскоре Александр устроил им встречу с товарищем Алисой—представителем центра. Это была симпатичная, худенькая блондинка отчаянной смелости. Кто из них знал тогда, что она — польская коммунистка, эмигрировавшая сюда после захвата её страны гитлеровцами, что муж её погиб вместе с Казанова и другими руководителями «партии расстрелянных», что в Париже у неё четырёхлетний сынишка Иван?.. За ночь, на соединение с другими, они отмахали под восемьдесят километров.

Здесь, в заброшенном сарае у деревни Венези, и состоялось объединение групп, создание партизанского отряда, которому присвоили имя Парижской Коммуны. И хотя были постарше его годами и званием — капитаны, даже один подполковник, но за боевые заслуги и трезвость ума командиром отряда стал старший сержант Соломатин.

А мысли сверлило всё то же: добыть оружие. Валериан отправился с Фёдоровым. Винтовка, пистолет и пара «лимонок» — вот их вся огневая мощь. В нескольких километрах от г. Грея обстреляли вражеский «оппель», убили важную птицу. А потом, дай бог ноги — по холмам, болотам, через речушку, оказавшуюся неожиданно бездонной, где Валериан чуть ли не утонул. На том же месте встретили двух немецких связистов: на сей раз трофеи были богаче: винтовка с парабеллумом. А сзади уже слышались гортанные выкрики, ревели машины.

Соседнюю рощицу, которую они едва успели перебежать, уже окружили машины, гремели автоматиые очереди.

...Не было покоя фашистам. Треугольник «Везуль—Дижон—Безансон» стал партизанской зоной: на дорогах устраивались засады, пускались под откос воинские эшелоны. Отряд, гремевший в округе, казался неуловимым, а всё потому, что.совершив операцию, Валериан и Алёша за ночь уводили его километров за восемьдесят. Кому бы пришло в голову искать их в совершенно другом районе? По –прежнему они ночевали в лесах, на земле, под звёздами. В летучих своих лагерях не задерживались больше,чем на неделю. Местные жители удивлялись: «И не болеете?» Утро в отряде начиналось с зарядки, потом шла основательная разминка...

Однажды они сидели в засаде, на лысом холме, у шоссе Комбефонтен—Порт сюр Сон. День был тихий и ясный. Внизу темнело ущелье, а ещё ниже зеленели лоскуты виноградников, в них зрела, наливалась соком солнечная ягода. Здесь были сыны многих народов: сибиряк Гриша и украи-

нец Григорий, белорус Николай и испанец Габриэль, серб Панта и грузин Павел Чхабадзе из Кутаиси...

А через полчаса снайперская пуля сразила украинца Григория. Потом погиб земляк Валериана — Костя из –под Тамбова. И, наконец, стало известно о героической гибели Александра, уничтожившего при аресте патрульных выстрелом из пистолета.

Французы уходили в леса, в отряды Сопротивления. Разгоралась война на рельсах. Вскоре на дороге Везуль— Париж коммунары открыли свой счёт, пустив под откос эшелон с артиллерией. Фашисты арестовали троих жителей деревни Венези, в том числе и хозяйку явочной квартиры учитсльницу мадам Жакко. Около деревни Борге коммунары уничтожили эшелон с танками, следовавший в сторону Ла Манша, приостановили дзнжение почти на неделю. А через несколько дней у деревни Буале сбросили с виадука эшелон, набитый эсэсовцами. Севернее, в районе Нанси, в такт им — слышали они — действовал советский партизанский отряд «Сталинград». Из центра коммунарам доставили взрывчатку. И ещё чаще летели под откос эшелоны с живой силой и боеприпасами.

Вскоре сержант Советской Армии Валериан Соломатнн за храбрость и беззаветную отвагу, проявленную им в сражениях с германской армией, был произведён в чин лейтенанта войск Национального фронта. В приказе было записано: «Во время освободительной войны сражающейся Франции он с примерной отвагой водил свой отряд в бой и, обеспечив дисциплину, сумел завоевать симпатии всего сельского населения, за что имеет право на всеобщую признательность нации».

После дерзкого налёта на расположение немецкой военно –воздушной части, когда даже в фашистской газетёнке опубликовали сообщение о том, что бандиты уничтожили полтора десятка доблестных солдат фюрера и было объявле-

но крупное денежное вознаграждение за голову «блондинки» и «парней со славянскими лицами», в подпольной газете «Шардон», органе Национального фронта департамента Мэрт –э –Мозель, появилась статья о партизанах. «На восточном, фронте, в России, героически сражается французская эскадрилья «Нормандия», а здесь у нас отлично воюют советские ребята из отряда «Парижская Коммуна». Они заставили врагов заговорить о себе: перерезаны железнодорожные пути, взорваны водокачки. Они выслеживают бошей, устраивают засады, нападают и преследуют фашистов. Среди них есть женщина — Алиса, она обеспечивает им тесную связь с патриотами. Много говорят о командире Валериане. Это здоровый парень, которого боятся боши. Русские защищают крестьян, препятствуют реквизиции, иногда крестьяне уходят с ними в леса.

Наши друзья, мы приветствуем вас от имени наших французских товарищей, павших в России, и от имени нашей Родины».

Разросся отряд коммунаров, сформировали ещё один отряд — «Родина», тоже под командованием Валериана; поблизости дислоцировались французские стрелки. Бегать от немцев никто теперь не собирался. Коммунары разбили постоянный лагерь у Анжири, все в округе называли её «русской деревней». На Востоке наступала Советская Армия. Партизаны оседлали важный участок и не давали врагу метаться, перебрасывать по железной дороге войска. Последним и самым кровопролитным для коммунаров был бой с карателями...

В Нанси ехали на трофейных машинах. Городами и деревнями. Улицы были запружены ликующим, освобождённым народом. Валериан стоял под развёрнутым знаменем, на котором золотом по алому фону было вышито на двух языках гордое имя отряда — «Парижская Коммуна».

...В последние годы Валериана Фёдоровича несколько раз вызывали в Москву, в Советский комитет ветеранов войны. На приём в честь участников французского Сопротивления, на встречу с президентом де Голлсм. И в память об этих встречах — в блокнотике Соломатина адреса «сопротивленцев». Не забывает Валериан партизанского друга Алёшу, наведывается к нему в Москве. Не под его ли воздействием, впечатлением от пережитого Соломатин решил тогда стать спортсменом, а потом и воспитывать молодёжь здоровой и сильной?

Следопыты с Урала, комсомольцы штаба «Поиск» из Подмосковья, пятигорские школьники, интернационалисты из ужгородского клуба «Мир», члены отряда «Будущих воинов н друзей Советской Армии» из г. Мингечаура... Просят фотографии военных времён, воспоминания о боевых эпизодах, просто поздравляют с праздниками, и он отвечает, встречается с молодёжью. Недавно выступал в пединституте, рассказывал о боях своих коммунаров во Франции, а в окно смотрелась орловская улица Нормандия—Неман, двухэтажный особнячок, с мемориальной доской, на которой написано: «Здесь летом 1943 года размещался штаб французскойэскадрильи»...

Они идут в актовый зал с Соломатиным. Проходят длинным коридором, по сторонам — под стеклом — Почётные грамоты, десятки кубков, завоёванных на городскнх, областных, всероссийских соревнованиях многими поколениями тридцатой и оставленных в школе навечно. Потом они говорили с трибуны о жизни и учёбе, о том, кем многие стали и кем ещё станут. И Соломатин влюблённо следил за своими орлятами...

Первым в школе спортзал зажигает огни и гасит последним. Валериан Фёдорович здесь уже в семь утра. Проводит тренировку с теми, у кого нет сегодня по расписанию уроков физвоспнтания. После обеда небольшой перерыв и

—до позднего вечера. Все занимаются одновременно: н спортивные секции, и группы спортшколы облоно, члены сборной школы и области. Пока Валериан Фёдорович тренирует в спортзале баскетболистов, спринтеры совершенствуют технику в коридоре второго этажа, метатели работают со штангой на первом, средневики накручивают свои километры по полевым дорогам. Всё идёт заведённым порядком.

Он учит их самостоятельности: определять нагрузку по самочувствию, по здоровью, по силам, учит самим вести тренировки и даже уроки. Памятен эпизод, когда к Соломатину пришла комиссия, а его, как на грех, скрутил радикулит, тогда под его присмотром уроки в третьих провели восьмиклассники. Без сучка, без задоринки. Недаром некоторые из его юных учителей сейчас в пединституте... Гудит спортзал. Разминаются самые маленькие — из группы общефизической подготовки. Путь в «высшее общество» для них начинается уже с пятого класса. Он занимается с ними дважды в неделю, отбирает перспективных, постепенно подключает к разрядникам.

Растут его ребятишки, увеличиваются нагрузки. Каждый работает по индивидуальному плану. Куда же сейчас учителю без знаний в области физиологии и биомеханики? Потребовалось—прошёл курс физкультурного института. Кончают школу одни, на смену приходят другие. Но, как и прежде, на базе тридцатой формируется сборная области по лёгкой атлетике, в которой соломатинцев порой оказывается половина. Работают, учатся, служат вармии, но нет –нет да и забегут к Валериану Фёдоровичу попросить у него шиповки или, краснея, позвать на свадьбу. Давно ли Юрий Некрасов приглашал его на октябрины, а теперь его Серёжка, смотри, уже первоклассник. Юра говорит: «К вам, Валериан Фёдорович, на выучку».

Ещё одним сильным человеком станет больше на нашей земле.

5 марта 1970 года

«Сидор»

Иван Ефимович Терехов жил на нашей улице в Малоархангельске, неподалёку тут, по соседству, в соседнем квартале. Работал он шофёром в местной пожарной команде. Его дело было гасить кое-когда вспыхивающие у нас по городу и району пожары. Дело привычное: мчаться что есть духу на помощь людям в машине с цистерной, наполненной водой. Как-то раз Иван Ефимович шёл мимо, присел на лавочку возле нашего дома. Мы и разговорились, и он рассказал от души, как в войну оказался шофёром при штабе Жукова. Строг был маршал. На совещании, бывало, муха пролетит– слышно. Не моргнув глазом, стоят, бывало, генералы навытяжку, пока Жуков идёт к торцу стола, на своё законное место.

Но не это запомнилось мне, колыхнуло всего меня, не то время, когда мы уже побеждали, а самое начало войны. Первые её дни на границе. Вот об этом и захотелось мне пересказать, то, что услышал я от Ивана Ефимовича Терехова– классного водителя, военного шофёра, ветерана войны.

* * *

Их выстроили на длинном плацу — крепких, осадистых русских мастеровых, в ладонях которых ещё держались запахи камня и дерева, ржавого железа, извёстки. Поскрипывая ремнями, бодро ходил перед строем молоденький взводный:

— Земляки, ребята? Орловские? — Посерьёзнев вдруг, кивнул чубатой головой на зубчатую кромку леса.— Там и будем строить, понимаете сами, объекты...

Понимали ребята. Там, за лесом, проходила по речке граница, там горела, металась в огне Европа, стальной вал накатывался на Восток. Понимали ребята: неспроста оторва-

ли их — кузнецов, бетонщиков, плотников — от мирного дела, от семьи, от жен и детей, неспроста привезли на границу. И тревожно было, и жутко от такого соседства, неизвестно, как ещё проживешь –то завтрашний день.

Но вся жуть ушла вместе с началом работ.

Иван возил на ЗИСе из карьера щебёнку и камень, сбрасывал перед лесом, и не его было дело, куда шёл его груз, на какие –такие доты и дзоты. Пообвыкнув, он перестал чувствовать себя мобилизованным — не всё ли равно, где крутить баранку? С дисциплиной в стройбате было не так уж строго; как и на гражданке, здесь платили за рейсы деньги, а по правде — не зарабатывал Иван по стольку на гражданке.

Порой, лежа после отбоя на нарах, Иван мысленно сосчитывал заработанное — выходило уже на корову и даже больше, и тогда он щурился, хмыкал, довольный: «Ничего, теперь бы ещё на хатёнку»,— и, расслабившись, воображал, как висит преспокойно в каптёрке его новый брезентовый «сидор» — вещмешок, поднабитый червонцами, вкрученными в тонкую кашемировую шаль. Эту шаль он купил в подарок матери. И с тех пор не мог уж не думать о доме — поскорей бы к себе, на Орловщину, поскорей! Выцветало и блекло всё остальное перед этим острым желанием, уходили вглубь смутные страхи за завтрашний день.

А граница дышала, как зверь,— тяжко и сипло. Чуяли ребята: оживает ночами тот берег — подползают к воде лазутчики в пятнистых халатах, вырастают к рассвету у поймы рощицы из кудрявых берёз...

Всю неделю спали одетыми. Раза по два –три за ночь вскакивали по тревоге, ошалелые, мчались за оружием к «козлам», торопливо выравнивались на плацу. И хоть после до самого утра на душе было мутно и зыбко, хоть ворчали, поругивали за эти тревоги начальство, но никто не то, чтобы вслух, а и про себя вряд ли назвал это страшное слово, кото-

рое давно висело над всеми, о котором боялись даже подумать,— война.

Она грянула воскресной ночью, когда, наконец, разрешили раздеться, когда казарма забылась в густом предрассветном сне. Она грохнула, словно треснула и обвалилась часть неба. Люди метались по плацу в нижнем белье, а бельё отливало розовым и даже кровавым от огненных снарядных полос, протягивающихся над головой. За казармой заклокотала длинная очередь, следом — вторая.

— Автоматчики! — закричал молоденький взводный. И бросился к ближнему ЗИСу. Люди посыпались в кузов. Несколько машин рванулись в ворота.

— За мной! — отчаянно махал винтовкой комроты. — За мной!! — И бежал с кучкой бойцов за казарму занимать оборону.

Иван стоял онемелый, не соображая спросонья, не разбираясь в происходящем. Очнувшись, лихорадочно, не попадая в штанины, натянул галифе, качнулся к своему ЗИСу, сиротливо прижавшемуся к каменной стенке, и замер. Молнией пронзило: «А сидор?»...

Каптёрка была совсем рядом. Как на грех, «сидор» не попадался. Иван тыкался в чужие вещмешки. Озлившись, срывал их с гвоздей и швырял наземь и топтал ногами, бешено вертя белками, искал свой, привычный, пузатый брезентовый «сидор». Он увидел его, когда по потолку запрыгали блики, когда в каптёрке от снаряда загорелось крыльцо: висел, как обычно, в дальнем углу его новый зелёный, брезентовый «сидор».

Через минуту ЗИС прыгнул в ворота, исчез в темноте. Иван вцепился в баранку, едва различая перед собой серость асфальта, слабо отливающего жидким рассветом. Асфальт слегка зарозовел — Иван оторвал глаза от летящей навстречу дороги, поднял чуть вверх: облака сделались красными, слева полыхал пограничный городок. Иван вылетел на него.

Увидел развилок и, не зная куда, не успев осмыслить, что будет потом, рванул баранку на дорогу правее. Подальше от взрывов, от снарядов, от пламени. На Восток, на Восток...

Проскочил луговину, вклинился в лес. Пламя и выстрелы были уже за спиной. «У –ух ты»,— смахнул он рукавом пот, льющийся со лба прямо на руки, на баранку. Почуял у колен «сидор», подумал устало, но радостно: «А всё же выкрутился ты, Иван»... И сразу же всё, что пережил он за эти десять минут, сделалось вдруг не таким уж большим и значительным. И все эти взрывы, огонь и первые ответные выстрелы стали, как сон; он так и не понял ещё, что всё это вместе и была война. «Это ненадолго, — успокаивал он себя, слабый после страшного напряжения. — Отобьём нарушителей — вернёмся в казармы...»

— Стой! — выросли на дороге фигуры. Иван осадил машину. Увидел военных — на петлицах кубики, шпалы: полковник и лейтенант. По обочинам чувствовалось скопление людей, приглушённые голоса, позвякивание лопат: видимо, рыли окопы.

— Стой! — повторил полковник, но уже значительно тише.— Разворачивайся!

В кузов вскочил лейтенант с пистолетом:

— В город! К штабу!

Городок полыхал. ЗИС перескакивал через воронки, через горящие брёвна, падающие со второго этажа на брусчатку, пробивал завалы из железа и кирпича. У штаба они остановились, лейтенант пулей взлетел по лестнице. Показался в дверях с чемоданом. Рядом ахнул снаряд, лейтенант упал. Иван увидел на лестнице помертвевшую женщину с живым белым свертком в руках и у её колен мальчишку в матроске, подхватил его, ринулся к выходу:

— За мной!

ЗИС петлял меж горящих развалин. Улиц как не бывало — только огонь и развалины. Чудом выбрались на знакомый развилок. Сзади трещали выстрелы, туго рвались гранаты.

ЗИС летел на Восток. Подобравшись, сжавшись в один нервный узел, рядом с Иваном сидела женщина. Какая красивая. Ребёнок вздрагивал у неё на руках, а тот, что побольше, уткнувшись в плечо матери, смотрел на Ивана грустно, доверчиво. И такой тёплой волной окатило Ивана, так стало больно ему за мыкающих горе детишек, за эту враз расстроившуюся семью («где-то сейчас глава их семейства, пограничник — полковник?»), так стало тяжко, обидно за свою и за их судьбу, что обмякло Иваново сердце, навернулись на глаза слёзы. Он отвернулся, чтоб незаметно стряхнуть их, и... обмер: слева в брезжущей серости, над густомолочной гладью тумана наперерез им ползли тёмные башни с крестами.

— Танки! — вырвалось у Ивана. А у самого оборвались руки и ноги. «Проскочить. Проскочить. Проскочить», — колотилось Иваново сердце. В каком –нибудь полукилометре маячил спасительный лес, в него, завиваясь, уходила дорога. «Проскочить. Проскочить. Проскочить», — отдавало в ушах. А ЗИС словно замер, прижавшись к асфальту. Нога не слушается, пляшет — выплясывает на акселераторе: т –д –д –д –д... т –д –д –д... «Что делать? Что делать?» — прошибает Ивана холодный пот, и юркие струйки бегут по спине. А башни, рванувшись (заметили!), идут всё быстрее и хлещут смертельным пламенем, и впереди кромсают землю снаряды. И женщина накрывает собой белый сверток, и мальчишка глядит на него, на Ивана, грустно, доверчиво.

«Проскочить. Проскочить. Проскочить». — Иван кладёт правую руку на прыгающую коленку, что есть силы давит рукой вниз, упирая ногу в педаль акселератора. ЗИС подпрыгивает, рвётся вперед. Иван крутит баранку левой. Танки уплывают, уплывают, уплывают назад. Навстречу летят вековые сосны...

Они едут медленно по лесной дороге, проложенной по просеке, отдыхая от только что пережитого. Из –за сосен

поднимается солнце — круглое, большое, спокойное. Такое обычное.

— А ведь сегодня оно будет долго, — поворачивается Иван к женщине.

— Да,— оживляется та, — сегодня самый большой день в году.

Они выехали на большак, влились в общий поток беженцев. Шли дети, старики, женщины. Шли быстро, потому что ещё были силы, потому что это был только первый день их пути. Шли, побросав всё в квартирах, захватив самое необходимое. Один старичок в пенсне с клинообразной бородкой, возможно, профессор, нёс зачем –то стенные часы. Они били через каждые четверть часа, и мелодичные звоны были до дикости глупы здесь, на этом шоссе, в этом людском потоке; и люди вздрагивали от звонов, напоминающих время, их квартиры, вчерашние планы.

Шли, толкая перед собой детские коляски. Шли, надев на себя в жару зимнее пальто, освободив руки, чтобы нести ребятишек.

Иван чувствовал себя слабой, бессильной песчинкой, которую увлекал с собой этот поток, эта стихия движения, всеобщий страх перед тем, что творилось там, на границе. С полным кузовом стариков, ребятишек попытался ехать быстрее, свернул на обочину.

Сзади зашли самолёты. Они летели вдоль ленты шоссе, летели так низко, что различались маслянистые пятна на свастике, и глазастые шлемы лётчиков, и даже, казалось, их узкие, в улыбке поджатые, губы. А люди на шоссе не бежали, не прятались, ещё не обученные войной. И только, когда, развернувшись, самолёты ринулись вниз, когда заиграли, качая крыльями, над безоружной толпой, когда хлестнуло из пулемётов и строчки фонтанчиков брызнули по асфальту и когда упали первые подстреленные, люди бросились кто куда.

Дзинькнуло в ветровое стекло, вскрикнул и захрипел рядом ребёнок. Кровавое пятно растеклось по белому свертку. Ребёнок был ещё жив. Кто-то сказал, что неподалеку в селе должен быть медпункт. Иван свернул на просёлок и гнал, гнал, не щадя, машину, подпрыгивая, подлетая на кочках. Скорее, скорее! И только постанывал ребёнок, застыла в отчаянии мать, и мальчишка смотрел на Ивана грустно, доверчиво.

И вдруг мотор зачихал, машина остановилась — бензин кончился, стало тихо. Ребёнок уже не стонал. И только в кузове отсчитывали время стенные часы в руках старичка с клинообразной бородкой, возможно, профессора, пенсне которого с золотой дужкой тускло смотрело в небо.

Их хоронили вместе, ребёнка и старика. Под развесистым ясенем выбили шоферским ведром могилу. Старика так и оставили в обнимку с часами, ребёночка — в белой простынке. И когда мать упала в последний раз наземь, Иван, не зная, чем помочь этой женщине, как утешить её, постоял, потоптался, вытащил из кабины ЗИСа свой брезентовый «сидор», вывернул его за углы, вывалил наземь шаль кашемировую, которую мечтал, возвратившись домой, набросить на плечи старенькой матери, закрыл этой шалью лица погибших. Комья земли мягко упали на шаль, зашуршал сыпучий песок. Вскоре под ясенем вырос свежетемнеющий холмик.

Потом все шли по тропам, просёлкам. Шли на Восток. На одном плече у Ивана болтался похудевший «сидор», на другом — сидел пятилетний Андрюшка.

Когда в одной деревушке едва не напоролись на немецкий десант, они стали бояться посёлков и деревень. Шли лесами. Ели малину и ежевику, пили ржавую болотную воду.

«Какая красивая женщина! — смотрел на спутницу сбоку Иван украдкой, не без волнения. — Какие глаза, пыш-

ные чёрные волосы. Должно быть, артистка». Заметил, как тёмные, голодные круги начинают расходиться под глазами Андрюшки, как Ольга Сергеевна всё чаще опирается на берёзы и сосны, решил: «Надо достать где-то хлеба...»

С тех пор, как поулёгся первый страх перед немцами и первая паника сменилась тягучей тревогой за судьбы тех, с кем он был на шоссе, за свою судьбу, за судьбу Ольги Сергеевны и Андрюшки, с тех пор, как снова обрёл способность думать и рассуждать, Иван спрашивал себя бесконечно: «Почему так нелепо всё вышло? Разве не ждали нападенья фашистов? Разве не строил он сам, своими руками подземные ангары для самолётов, дзотами –дотами разве не укрепляли границу?»

И душу Ивана начинало бередить сознание какой –то неловкости за то, что его самого не оказалось в бою, что его место, хоть он всего лишь стройбатовец, там, на границе, что вместо него, схватившись в смертельной схватке с фашистом, лежит в растерзанном окопе кто-то другой, может, муж её, Ольги Сергеевны, Андрюшкин отец. Нет, он обязан вывести эту семью из окружения, выйти с ними к своим.

Вечерело. Они лежали на смолистых сосновых лапах, уставшие после трудного дня пути. Верховой ветер гудел, гудел, раскачивая могучие сосны. «Кого и за что они любят, такие красавицы? — смотрел Иван ввысь и чувствовал Ольгу Сергеевну совсем близко, где-то слева, на хвойных лапах. — Какой её муж — лихой рубака и песельник? Девушки любят таких... Может, он ещё жив? Отстреливается где-нибудь из последних сил...»

Сосны качались, шумели, нагоняли тяжкую дрёму, и Ивану чудилось, что не в ржаво –болотных лесах Белоруссии, а в глубинной России играет деревьями ветер, что идёт он, гринёвский парень, золотыми полями и дубравами с невестой, и мать долго стоит на родимой околице и всё шепчет вслед: «Будьте счастливы, дети...»

Он лежал и слушал, как подсвистывает во сне на хвойной постели Андрюшка, как поёт где-то рядом серебристый ручей. Будто и не было взрывов, самолётов со свастикой, мелодичных звонов под ясенем.

Начинало светать. Где-то слабо вскрикнул петух. «Деревня», — обрадовался Иван и стал дожидаться утра.

Они стояли на холмистой опушке, а вниз уходила дорога. По обе стороны гати синее начинало столбиться из болотных оконцев и, приподнявшись, растекаться по низине плотным туманом. Вдали, утонув в молоке выше окон, по крытым щепою крышам угадывались избы.

— Ждите, здесь,— коротко бросил Иван. — Пойду на разведку.

У крайней избы отбивал косу хозяин — сильный, в гимнастерке мужчина. Тонкие звуки глуховато, тоскующе неслись по деревне. Иван мысленно примерился, как бы пришлась ему эта коса. «В самый раз пришлась бы. И –эх, в самый раз!..»

— Здорово, мил человек, — как можно приветливее обратился к мужчине Иван.

— Здорово, — буркнул хозяин, полоснув глазищами из –под косматых бровей.

— Хлебушка не будет продажного?

— Много вас тут...

— За деньги, хозяин. — Иван вытащил для убедительности из «сидора» целую пачку червонцев.

— Убери, мусор. Теперь они ни к чему.

Подошли Ольга Сергеевна и Андрюшка.

— Дай, говорю, хлеба ребёнку, — горячился Иван.— Третий день маковой росинки во рту не держали.

— Проходи, проходи.

— Даже мальцу? — опешил Иван. И его осенило. — Ах, ты из бывших? Немцев ждёшь, свол –лочь?! — И увидел

литые плечи, волосатую грудь. — Не в армии, гражданин, почему?

— Оно и ты, гляжу, воюешь подле юбки.

Иван как-то сник и расслабился. Что было ответить, чем оправдаться? Да, он бежал, потому что бежали другие. Он бежал тогда, но не побежал бы сейчас. Он теперь шёл к оружию, к армии, шёл и выводил к своим семью командира. И сознание этого подняло, поддержало Ивана. Он напружинился, подобравшись, и, ощутив вдруг всю разницу между собою и этим — дезертиром, радостно, почти ликуя, крикнул, захлебнувшись от хриплого крика:

— Родину предаешь, шкур –ра?! — И, повернувшись, зашагал прочь.

Они постучались в избу на околице. Увидев его — в красноармейской форме, советского — забегала, захлопотала старушка. С печи, из чулана вывалилась ребятня — человек семь, мал мала меньше — и смотрела на голодных, измученных, и, приохивая, плакала над Андрюшкой старуха, утирала морщинно –печёные щеки рукой, совала им на дорогу сала и коржиков, приговаривала:

— Ах ты, боже ж мой, вы народа не бойтесь. Заходите в деревни, люди накормят, напоят, укроют от ворога.

И, чтобы хоть чем –то ответить на щедрость её, приласкать ребятишек, у которых «отец бился тоже где-то на фронте», Иван решительно скинул с плеча свой брезентовый «сидор», взглянул искоса на Ольгу Сергеевну, выложил на стол тугие пачки червонцев:

— На, мать, пригодятся. Ещё будет в этих краях наша власть.

Они не боялись теперь деревушек — заходили за хлебом, молоком и за солью. И когда в одной деревушке увидели в магазине открытые двери и продавца за прилавком, а на полках засиженные мухами пачки горчицы, дошку из жере-

бёнка — серую от толстого слоя пыли, задохнулись от радости: «Неужели конец пути? Неужели выбрались?»

— Да, — сказала женщина –продавец. — Немцев сдерживают на узловой станции. А до соседней — километров двенадцать.

Он купил зачем –то Ольге Сергеевне эту дошку («чтобы не мёрзнуть вам больше рассветами»), а Андрюшке — парусиновые ботинки и шапку и, тряхнув своим опустевшим «сидором», оставив спутников в ближней избе, пошёл по деревне искать сельсовет.

На станцию их провожала пышноволосая, остроглазая девушка, дочь сельсоветского председателя. Осталось немного до частей Красной Армии. Иван чувствовал, как волнение сжигает его, срывает с места, заставляет бежать навстречу железной дороге. Но он сдерживался, играл желваками, молчал. Теперь он не чувствовал себя песчинкой, как в ту страшную ночь нападения. Много дали ему эти июньские дни.

На путях под парами стоял эшелон. По перрону ходил военный патруль. Ольга Сергеевна подошла к патрулю, протянула свои документы. Все вытянулись, отдали честь.

— А этот? — кивнул лейтенант на Ивана.

— Сопровождает нас, — ответила Ольга Сергеевна.

Седой комендант, в чине батальонного комиссара, оказался другом мужа Ольги Сергеевны. И только здесь, только перед ним она дала, наконец, волю слезам и сквозь всхлипы, сквозь плач рассказала ему обо всём.

— Спасибо, товарищ, — сказал комиссар и протянул руку Ивану. Иван, смутившись, повернулся совсем не по форме, швырнул за плечо свой брезентовый «сидор». За дверью вдруг вспомнил, что так ведь и не спросил фамилию у Ольги Сергеевны, махнул устало рукой: «Э, ладно. Встретимся — живы будем — после войны». И зашагал на сбор-

ный пункт, туда, где формировались из окруженцев роты и батальоны.

6 июня 1965 года

Утёс

Есть на Волге утёс... Неколебимый и вечный, вросший в русскую землю. Таким неодолимым утёсом стал для врага в суровые годы Отечественной славный город на Волге.

Когда думаешь о значении битвы на Волге, как не вспомнить небольшой эпизод из фильма о Сталинграде. Помните? Снарядом где-то перебита телефонная линия. Но батальон не может без связи. Наладить её посылают шофёра Минутку. Под ураганным огнём он находит обрыв, но, тяжело раненный, падает. Слабеющими руками хочет соединить концы провода, но руки уже не слушаются его. И тогда он сжимает обрывки зубами и умирает. А связь существует, идут через Минутку команды, стоит Сталинград, врагу не удастся разрезать Волгу...

У нас в Орле живёт герой –сталинградец Андрей Осипович Хозяинов —морской пехотинец. Его история чем –то похожа на историю шофёра Минутки. Как и Минутка, зубами вцепился он в землю на стыке 62 –й н 64 –й армий, вбить клин между которыми стремились фашисты. Пока оставались живы матросы, элеватор был крепостью, стоял, соединяя две наших армии. Как тракторный, как знаменитый «дом Павлова», как Мамаев курган.

«Морские дьяволы»

Вечером он прибыл, наконец, в отпуск домой, и не успела мать надивиться на сына в чёрной матросской форменке, не успела навздыхаться на него, повзрослевшего, не успела утром испечь домашних сахарных коржиков, как прибежала соседка:

— Радио включите, радио!!!

Включили. Суровый голос чеканил:

— Вероломно... Без объявления войны....

Так и не разобрав чемодана, Андрей снова собрался в путь к себе на Северный флот. Его пулемётный взвод был в составе береговой обороны. Ждали опасность с моря, а она надвинулась с суши: сухопутная армия не смогла сдержать натиск вражеских войск, откатывалась к главной базе. И когда до порта оставалось совсем немного, командование флотом отдало приказ: «Североморцы, на берег, на защиту главбазы!»

И с кораблей, с островных гарнизонов, с береговой обороны пришли матросы в морскую пехоту.

В отряде капитана Старовойтова Андрей принял боевое крещение: первые атаки, первые смерти товарищей, оборона заполярных высот... А потом из отрядов сформировали бригаду морских пехотинцев и после небольшого учения отправили на Волгу.

Их провезли окружным путем, выгрузили где-то на небольшой станции. И теперь они шли прямо на Запад. По бурой заволжской степи. По ковылю и солончакам. На переправе стонали раненые, рычали моторы, покачивались на волне баржи и канонерские лодки. Грузились на них прямо с марша.

– С Северного, ребята? – кивнул на матросские бескозырки рулевой бронекатера.

– Как видишь.

– Недавно переправляли бригаду балтийцев, раньше черноморцев, тихоокеанцев. – Рулевой посмотрел на пылающий город:– Вон он какой… Трусов, браток, там не любят.

Североморцев бросили туда, где истекали кровью гвардейцы полковника Дубянского, на стык 62 –й и 64 –й армий. В район элеватора. К самому элеватору пробился

лишь пулемётный взвод Андрея Хозяинова – два десятка матросов с ручным и двумя станковыми пулемётами, с двумя противотанковыми ружьями. Когда на рассвете североморцы выросли перед главным входом, раздался встревоженный окрик:

— Стой! Кто идёт?

— Свои, ребята, полундра.

С десяток измученных, израненных бойцов гарнизона узнали в людях, одетых в непривычную чёрную форму, матросов, пришедших на помощь. А уже через полчаса Хозяинов расставил по этажам пулемёты. А ещё через час с высоты элеватора увидел, что с тыла, от Волги, от полотна железной дороги на них ползут танки, за ними машины с орудиями на прицепе. Сжалось сердце: значит, отрезаны, окружены. Так вот почему не вернулся радист, посланный в батальон с донесением — Хозяинов быстро переставил расчёты, гарнизон занял круговую оборону. На элеватор шла немецкая танкетка под белым флагом. Развернулась. Из люка вылез офицер, заговорил резко и властно:

— Сопротивление бесполезно, предлагаем сдаться на хороших условиях. Матросы с ненавистью смотрели на сытое, холёное лицо. Наверно, из штабников. Может, из прусских баронов? Так что ему надо здесь, на русской земле?

— А катитесь вы все на лёгком катере... к боговой матери! — выругался высокий русый матрос — пулемётчик. Вскоре над элеватором повисла немецкая «рама» — самолёт –корректировщик. От водокачки и речки Царицы полезли танки и автоматчики.

...Не Вильгельмом ли Гофманом был тот офицер – парламентёр? Тот самый Гофман из 267 –го пехотного полка, что записал в своём дневнике перед тем, как быть убитым на улицах города, такие строчки:

«20 сентября. Бой за элеватор продолжается, Русские ведут огонь со всех сторон. Фельдфебель Нушке сегодня был убит, когда перебегал улицу. Бедняга, у него трое детей.

22 сентября. Сопротивление русских в здании элеватора сломлено. Наши вышли к Волге. В элеваторе найдено около сорока трупов русских. Среди них половина в морской форме — морские дьяволы. Захвачен один пленный, тяжелораненый, который не может говорить или притворяется. Весь наш батальон по численности меньше штатной роты. Таких жестоких боев наши старые солдаты не помнят».

«За Волгой для нас земли нет!»

Целую неделю держались защитники элеватора, оттягивая на себя силы врага. Неделю кромешного ада. Тихоокеанец старшина 1 –й статьи В. Зайцев сказал тогда свои знаменитые слова: «За Волгой для нас земли нет!» Для североморцев его слова стали клятвой.

Вот некоторые из дней обороны.

18 сентября. Отбито девять атак. Горит само небо над элеватором. С «рамы» фашисты бросают листовки: «Сдавайтесь». Сгорая, они опускаются пеплом, их не принимает земля.

19 сентября. Вот уже несколько суток люди без воды. Ночами моряки выползают из элеватора и грызут росную траву. Последние капли берегут для пулемётов.

20 сентября. Подошло двенадцать танков. Противотанковые ружья уже без боеприпасов, гранат тоже нет. Танки расстреливают элеватор в упор. Один «максим» вместе с пулемётчиком разорвало снарядом, другому осколком погнуло ствол. Надежда лишь на ручной пулемёт да на… кулаки.

Это была предпоследняя ночь обороны. Предательская тишина, немцы тоже устали. Пошатываясь, Хозяинов брёл по этажам, освещаемым взрывами. Звенело в ушах, красные

круги плыли перед глазами. Поднялся на верхние огневые точки, куда днём забирались матросы, чтобы бить фашистов на выбор. Боеспособных почти не было. У развороченного окна лежал тяжелораненый — высокий русоволосый матрос –пулемётчик. Кровь пузырилась на губах: «Пить»... Очнулся. Посмотрел на Хозяинова, попросил в последний раз показать ему звёзды. А где они, звёзды, в огненном небе? Хозяинов повернул пулемётчика лицом к пролому, к невидимым звёздам, положил бескозырку на грудь, бережно расправил ленточки с золотыми буквами «Северный флот».

Андрей стоял у пролома. «Это конец. Ещё завтрашний день и...». Не было ни сожаления, ни слёз. Всё сгорело внутри. Осталась сухая, как порох, ненависть. Живым он, конечно, не сдастся... Где-то, переливаясь, нежно бурчала вода. Живая вода! Но растрескавшиеся, воспалённые губы шептали Андрею: «Туда нельзя. Не смей!» Сколько ребят легло навсегда у ручья под водокачкой, стало жертвой фашистского снайпера.

Андрей присёл на колено, вздохнул и при свете горящего города начал писать на каком –то обрывке письмо: может, всё же дойдёт по оказии до адресата?

«Дорогая мама, ты за меня не волнуйся»... Дальше мысли путались, налезали одна на другую, не укладывались на бумагу. И тогда перешёл Андрей к тому пролому, из какого видна была Волга, а на ней взрывы и дым, а в дыму плоты и баржи со свежими полками и ротами, спешащими на подмогу, и продолжил письмо вслух сказанными словами, стал говорить обо всём самом главном, что хотелось сказать ему в этот последний свой час:

«Вот она, Волга! По ней, мама, течёт сейчас наша кровь. Не напрасно, нет!.. Когда –нибудь после Победы по ней опять побегут корабли, а в них будут счастливые люди. Пусть взглянут они на элеватор и вспомнят всех тех, кто стоит сегодня здесь насмерть: нашего лучшего пулемётчика русоволосо-

го Димку, любившего звёзды; радиста, навеки ушедшего на связь с батальоном; гвардейца из бригады Дубянского, бросившегося с котелком к ручейку под водокачкой, чтобы принести воду раненым, и оставшегося там навсегда...»

А на утро снова начался бой. Прижавшись к танкам, вражеская пехота шла на элеватор. Их было много, очень много. Они без конца бросали гранаты – «толкушки» с длинными деревянными ручками; «толкушки» шлепались в сухую пшеницу, иногда кто –нибудь из моряков успевал подхватить её и отправить назад владельцу. Гулко рвались снаряды, от взрывов лопался бетон, пшеница разгоралась всё сильнее. Матросы задыхались от пыли, от угара тошнило. В дыму не было видно ни своих, ни врагов. Били на слух: по шагам, по вражеской речи. И когда уже вовсе не было сил, пришла вдруг подмога: оттуда, с берега Волги, из громкоговорителей долетела песня:

— И стоит тот утёс

В землю русскую врос...

В перерывах между автоматными очередями, между взрывами гранат и снарядов североморцы ловили эти слова, и расправлялись матросские плечи.

Выстояли и этот день, и другой.

Ночью, во время передышки, подсчитали патроны: по два десятка на брата. Человек восемь оставшихся в живых моряков решили пробиваться к своим. Проползли балку и железнодорожное полотно, наткнулись на миномётную батарею. Разметали её и сразу же бросились к воде: пить! Попали под перекрёстный огонь. Контуженный Хозяинов очнулся в плену. Вскоре бежал, попал к своим. Вылечили. Был зачислен в состав отдельной бригады прорыва. Снова воевал командиром пулемётного взвода, прошёл всю войну. Пять раз был ранен, из них несколько раз тяжело. Грудь Хозяинова украшают ордена, но самой главной наградой он считает медаль за оборону города –героя на Волге.

Но помнит мир спасённый.

Сейчас он живёт в Орле, работает в система профтехобразования. Выступает перед школьниками, встречается с другими защитниками волжской твердыни, дружит с гвардейцем из дивизии генерала Родимцева, Ильей Вороновым, живущим у нас на Орловщине. К бывшему командиру морских пулемётчиков обращаются волгоградские пионеры, просят рассказать о героических днях сорок второго. И Андрей Осипович откликается на их просьбы, пишет для школьных музеев воспоминания. А недавно, из Волгограда Андрею Осиповичу прислали шкатулку с горстью священной земли, взятой у элеватора. И отец собирается послать щепотку старшему сыну на Северный флот, туда, где начинал когда-то службу и сам: пусть помнит, что земля наша пахнет железом и кровью.

2 февраля 1968 года

На Сонькином кордоне

Не может быть равнодушия в лесных делах:
народу нашему жить вечно на этой
священной земле.

Л. Леонов «Русский лес»

Если выйти из Димитринска, городка небольшого и давнего, да войти в сосновый розовый бор, побрести ягодной и грибной опушкой на север, попадёшь в край, чудесный своими урочищами и лесными озерами, охотничьими и рыболовными угодьями. Лес всегда волнует русского человека своей очищающей прелестью, своей задумчивой грустью, мудрой статью своей. По дороге в Столбище за Славинским кордоном встретишь старую пасеку, от которой остались

лишь просека да подгнившие колышки, да название это– «пасека». А за «пасекой» – Сонькин кордон. Вправо — Сонькино озеро, дом охотника. Влево — заросшая пойма речушки Неруссы, уходящая невесть куда, а впереди за бесцветным бугром и Столбище — сельцо с белеющим на дальнем холме свежим строением средней школы.

Печёт на открытом июньское солнце, не знает пощады. Юлит подлеском узкая тропка. Юлит да петляет. Вдруг раз — из –за поворота девчонка. В косичках, в бордовой косынке.

– И откуда такая?

– Машенька,– улыбнулась девчонка.– Лесникова дочка. С работы мы, посадки сосновые тяпали.

– А где остальные?

– Да вон они– Наташки. Все трое. Звонченко у нас главный лесничий.

– Где это у вас?

– А у нас в школе, в школьном лесничестве. Мы отцу моему помогаем... Да вы погодите, сейчас я.– Она метнулась под дубнячок, зашелестела прошлогодней листвой.– Сюда, ко мне!– замахала вскоре руками.– Пировать будем.

И впрямь под листвой, на сырой земле– что твой холодильник– оказалась в газете всякая снедь: краюха хлеба, пупрастые огурцы, зелёные стрелы лука и яйца. С утреца по холодку ещё, чтобы дать свободу рукам, девчонки обед свой в дубняке и оставляют. Зато на обратном пути, после трудов праведных, откапывают тайничок, устраивают пиршество...

Подошли все три Наташки. Все трое– друг перед дружкой, что ли,– в легких спортивных трико, в тапочках на босу ногу, и глаза у всех троих вроде схожи– смешливые такие. Только волосы разные: у одной– короткие, воронова крыла, у другой– каштановые, кольцами по самые плечи, а у Звонченко– русая коса, вон куда по спине. У Звонченко же и руководящий жезл– черенковая лопата с ореховым древком. Да и нравом «главный лесничий» спокойнее, слушает в по-

луулыбке, как тараторят подружки. А они– загорелые, бойкие– так и сыплют словами. Обсуждают, сколько протяпали нынче сосновой подсадки, что завтра надо бы на «кабанью» картошку да дозор послать на дорогу в Майский поселок– опять кто-то оставил там костёр незагашенным... Дел хватает, а тут у Звонченко скоро экзамены, не шутка– на аттестат зрелости. Сидят и пируют девчонки, запивают еду ключевой водой и в мыслях своих продолжают– я знаю– идти лесным ходом к своей деревушке, вспоминают, под каким кустом живёт старый ёж, под каким всегда в стойке перед ними знакомый ужонок. А придя в деревню, купаются в лесном озере, загорают на Косвасе — островке, которому сами придумали имя.

– За хлеб –соль спасибо,– говорю я,– где завтра будете?

– На кордоне скажут,– отвечает Наташа Звонченко.– Скажет Тетерев, вот ее батька...Наверно, в Костобобровке…

Знает Наташа: забот у Тетерева хватает, а своих рабочих на кордоне всего ничего. Правда, в иной сезон село помогает людьми, да ведь и на селе есть куда руки приложить. Куда б леснику без ребят. То на Сонькином кордоне сажали вручную сосну — по пнистым проплешинам, не развернуться машине. То весной заготавливали молодняк для посадки, собирали аптеке почки берёзы... И сегодня пораньше, с росой, как вчера обещали. И прямо к Тетереву:

– Вот и мы помогать явились. С кем, дядь Саш, и куда?

– Вон с Исаевной. Всё вам расскажет, — кивает лесник на Завьялову. – А уж лучше неё, старой лесной звеньевой, никто не знает нужд тетеревского обхода; не одно дерево ею посажено, пеленато да выхожено, не одна высадка потом полита...

Закраснелось лето — подступил сенокос –батюшка.

Вышли хороводом в луга, рассыпались по пойме лесной речки Неруссы.Замер весь травостой в ожидании перво-

го взмаха. Благодатно. Задремала на тёплом солнце медянка. Слушает, как дрожит и трепещет на песчаном откосе осина, шумят медногрудые сосны. Опевает в них зорю неумолчный юрок. Услыхала медянка шаги– ввысь над стёжкой кольцом, скользь в кусты– лишь остался на сыпучем песке тонкий след. А пониже, в пойме, бушует зелень, лишь местами июнь пробросил в неё желтизну спелых трав; уходит пойма в позалесную синь — в крапиву, ольшаники, лозняки. А на другой стороне тоже лес и тоже крупняк, и пара, наверно, рыбачьих домиков.

Встала Наташа — главный лесничий с косой за дедком из Столбищ, за Денисом Прокопычем Стряпухиным. Кладёт следом ряд в ряд. «Жвик – жвирик», –напевает коса. «Жвик –жвирик»,– отвечают, склоняя головы, будылья зверобоя и конского щавеля, просто кислый щавель, шалфей и ромашка, пастушья сумка– вся эта пестрота луговой медоносной травы.

– Ты, девк, пятку прижимай, стриги ниже, – замедляет дедок свой ход.– Да вольнее, вольнее води…

Где-то рядом, в Неруссе, плещет о берег вода. Где-то выше блаженствуют в ней бобры –мудрецы, срезав и перекрестив в подпор ей осины. Ниже Нерусса расходится на две протоки и сходится аж у поселка Дружно. Там воды уже много, можно на лодке. А тут везде сушь. В горле тоже. Но пить ни –ни –ни, не то ослабеешь, отстанешь. А ребята ведь смотрят. А мочи уж нет. И Стряпухин всё жмёт, жмёт. Мелькает перед Наташей порепанная,чёрная дедова пятка. Упёрлась в землю– шагнула. И так без конца.

– Шабаш,– поднимает наконец косу Стряпухин и валится в тенёк под крушину.

После перекура опять ходко ходит коса. Теперь уже легче. И солнце за тучкой. Хорошо, когда вот такими шажками меришь землю, когда косой, как ладонью, гладишь ершистую зелень. Хорошо, когда вот так узнаешь каждую складку,

каждую выбоину, вымоину на родимой земле. Слушаешь чутким, напрягшимся телом все её звуки и запахи.

К вечеру девчонки сметали сено в стога, а после пали-ли костёр: дед варил полевой суп –кондёр из глазастого пшена, крошил в варево картошку и ржавое сало– так и вкусней, и лохматее. Наливал, приговаривал:

– Ешь, ешь, пока рот свеж, завянет– ни на что не глянет.

А они шутили в ответ:

– На косьбу ты мастак, а по кухне не то. Не оправдываешь, Стряпухин, фамилии.

А сами добавляли по второй, по третьей тарелке стряпухинского кондёру, и было легко всем и радостно — одному оттого, что коса ещё слушается его уже изработавшихся, сохнущих рук, другим — оттого, что они славно потрудились сегодня, что завтра Тетерев, увидев стога, удивится, похвалит их хотя бы и про себя. И ещё оттого, что рядом шумели сосны. Густело, наливалось звёздами небо, костёр начинал красить в медное лица.

– Так я про что,– затевает старик, раздвигая прутом уголья, подыскивая картошке местечко в самом жару.– Стряпухин –то я по другой линии... Дед, сказывают, у меня был грамотеем. Какое дело, залютует начальник ли– крестьяне к деду: мол, состряпай бумагу. Свершит он бумагу и в центр её. За народ был воительный.

– Да уж герой!– говорит язвительно Наташа– главный лесничий.– Перед всякими слёзы лить.

– А по –моему,– зажигается Машенька,– по –моему, герой– когда с Красным знаменем, в сражениях.

– Это факт, – важно замечает Стряпухин и суёт в костёр за картошкой свои бесчувственные, заскорузлые пальцы.– Только герои не на одних баррикадах... Кто живёт с пользой для людей, тот, скажем, и герой. И кто варево варит, и кто разное бумажное стряпает. А хотите одну, значит, историю? Тоже, скажу, про геройство, про упорство людское.

Годок мой рассказывал. Про то, откуда есть и пошла по земле яблоня сортом антоновка. Так вот годка того звали Антоном. И отца его, и деда, и прадеда, и всех далеко –далеко... Они –то, говорят, и ведут оттуда, издалёка, сорт ни с чем не сравнительных, самых лучших в мире на дух и на вкус этих яблок. Так, гляди, и пристало к ним в людях имя такое– антоновка...

Дотлевает закат. Тишина. Слышно лишь комариное пение над пасущейся в пойме лошадью, да в самой Неруссе, будто бабы вальками по белью, изредка ухают боками о воду гуляющие сазаны. Сосны сомкнулись над костром, и качаются наши тени на розовых листьях, стволах. Качается длинный стряпухинский нос с горбинкой, как у чайника, только краем повёрнутый вниз, и кажется мне, что и сазаны эти, и костёр, и ребята, и сам старый Прокопыч,– всё это едино, величественно, нескончаемо и загадочно. Как жизнь. Как природа.

– Так вот,– катает старик в ладонях картофелину только что из огня,– забрали жандармы в девятьсот пятом сына Антона да загнали в Сибирь. Долго ль, коротко ль– дошла от него домой весточка: нету, дескать, в Сибири ни хрена– ни груши, ни яблони. Всполошился дед: как ето так, нету? Быть того не должно. Да так, говорят, нету, не растёт...

Притихли Наташки, затаилась и лесникова дочь Машенька. Лежит на локтях, подперев ладонями щёки. И я смотрю в полымя и представляю сибирского узника таким же косматым, как наши тени на соснах, как вот этот рыжий огонь, в котором столько глубинной силы, тепла.

– До самой смерти своей мудрил дед с семенами да саженцами: всё сорт особый для Сибири искал, всё наши, тутошние, приспосабливал. Да так и не успел.– Одну за другой выкатывает картошины Стряпухин из жара.— Не успел дед. А перед смертью наказал сыну: «Ищи теперь ты, Антон!»

Он и ищет. Не одну сотню саженцев произвел на свет от дедова корня. Да всё не то... А в сорок первом, когда немец нагрянул, пустил по ветру весь питомник, один прививок оставил. Пошёл отступать Антон за Колпну– корову прививком вместо лозины погнал: сохранял от ворога тайну, доведись в окруженье попасться... И видал ноне яблоньку возле крыльца у него? Она– с той лозины пошла...

– Тр –р –р,– радостно подала голос в Неруссе лягушка. Лошадь подняла голову и задумалась.

– Брр –ре –ке –ке, куа –кс, куа –кс,– запричитала, заголосила по –разному довольная собой зелёная братия.

– К вёдру,– заметил Прокопыч, расстилая перед собой тряпицу с крупной серой солью.– Сейчас ихний председатель вступит.

И верно: глухо, поддонно, по –кларнетовому забухал лягушиный «председатель». Весь пруд замолчал, прислушался– подладился, подстроился и... повёл вразнобой с новой силой.

– ...Уже второй год рожает,– продолжает старик свою прежнюю мысль. – И какие плоды! Антону, сыну своему, бережёт Антоныч. Приехать в отпуск должен из этого... из Заполярья. Сын агрономом там, по теплицам. Пишет оттудова: так, дескать, и так, земля вечно мёрзлая, не растёт тут ни хрена покамест — ни груши, ни яблони... Вот дед и мудрует, саженец всё приспосабливает. Эх –хе –хе...

Голос Прокопыча глохнет то ли от усталости, то ли от сырости, которую натягивает к полночи с низины.

– А ну придвигайтесь,– командует Прокопыч и кивает на картошку:– Побалуемся.

Мы долго ещё не можем остыть от рассказа косаря. Сидим, не шевелимся.

– Антоныч, конечно, толковый,– наконец поднимается Наташа– главный лесничий.– Вот я школу кончаю...

– Ну дак здесь и оставайся,– поворачивается к ней Прокопыч.– Не улётывай в город. Благородь, землю Антонов. Может, в этом оно и геройство. Не гляди, под пулёметы не надо. Нынче просто работать надо...

– Как сказать,– возразила неожиданно Машенька, дотоле напряженно следившая за разговором.

– Ну, ты у нас известный герой,– провёл ладонью по её торчащим косичкам Прокопыч.– Только, думаю, одна бы и у костра здесь не усидела...

– Ты что, Стряпухин? Серьёзно? Да ты что!– вскочила Машенька, и огляделась: подружки молчали. Голосок её звенел, глаза округлились, расширились, отсвет костровый перебегал по лицу.– Да я хоть куда.,. хоть сейчас... на Чернечик..

Машенька сглотнула слова, всхлипнула от обиды и, схватив куртку, метнулась во тьму.

– Вот скаженная,– улыбнулся вслед ей Прокопыч и пошёл укладываться на ночлег под ракиту.

На зорьке мы с Наташей Звонченко пошли на Чернечик. Дорогу в росной траве указывал тореный след. В ложбинах густились туманы, да так, что начинало капать с деревьев, крупно шлёпать вокруг. Напалась лесная дорога с разбитой колеёй да в заиленных травах.

– Дождичка б,– разбила молчание Нина. – Вот бы траву и умыло.

– А что, давно не был?

– Да нет, был. Но не ливневый. Правда, сено пошло... Да вон Машенька наша. Во –он на берегу у крушины.

Остановились мы– засмотрелись, заслушались.

Чернечик– озеро заповедное. Запустили недавно сюда карпа в два пальца. Шепчут чёрные крушины белым берёзам легенды о том, что стоял тут в лесу когда-то барский домина и что жил в нём дворянин, пожелавший уйти от мирской суеты. Поселился он на этом озере, потому что нет на свете красивее места, нет нагульнее сазана. Слушают зорями эти

рыбацкие сказки чёрно –зелёные воды, подёрнутые кое –где ряской, затянутые в головище озера остролистой кугой, и нет в той воде диковатости, настороженности, а даже в черни её видится что –то прозрачное, светлое, может, от берёзок, дугой склонившихся у самого берега к своему отражённому полукольцу.

– Замерзла?– подходим мы к Машеньке.

– Да нет,– пожала лесникова дочка плечами.– Я браконьеров спугнула. Стою вон за той сибириной, а они с бреднем...

– А что это «сибирина»?

– Да роза же. У нас сибирина да сибирина... Колючая, как морозы в Сибири.

– А ты в Сибири бывала?

– Побываем,– односложно сказала за неё Наташа– главный лесничий.– Руки везде нужны. Теперь туда всё притяжение.

Сидели и всё говорили. Слушал я ребячьи бывальщины и представлял, как прошлым летом помогали ребята лесному народу: косулям и енотам, и лосям, и кабанам.

Уходил я с кордона под вечер. Солнце садилось за лесом. Всё небо было темно, глуховато, и только в одном месте пламенел длинный острый разрыв, хвост у него был в сизоватом налёте. Проголосовав на дороге, я сел на попутную, и тогда огневая стрела на небе тоже задвигалась, полетела, помчалась над лесом в обратную сторону, словно ракета со своим огнедышащим шлейфом. «Пусть многие,– думал я о ребятах,– пойдут дальше иными, не лесными дорогами и станут, возможно, геологами, возможно, поэтами, но до седых своих дней, до конца своей жизни сохранят в себе то, что было засвечено в юности, сохранят в себе краски и запахи русского леса».

21 июля 1978 года

Леонтьевские посадки

Старики рассказывают, за огородами у нас шумели леса. А за этими лесами были ещё леса. И так далеко –далеко, в нескончаемость. А теперь за огородами поле. А за полем ещё поле. И только где-то далеко –далеко на буграх синеет дубовая роща. В ней и курортничает в хвое посёлок — усадьба полустепного лесхоза и живёт известный всей округе лесник — Максимыч. Наслышавшись о нём, о его любви к лесу, о том, что в его обходе, пожалуй, лучшие из всего лесхоза посадки, что с его участка ворон и прута не утянет, я, право, представлял его человеком недюжинного роста и непременно с лепёшками переспелого мха вместо бровей — этаким моховиком. А вошёл человек невысокий, но весь какой –то цепкий, подтянутый, в глубоких глазах прячется крепкий ум. Таких — замечал я — немало в здешних деревнях и посёлках. А и вправду, родом Максимыч из соседней Ясной Поляны. Там — не найти от какого колена — и теряется в прошлом исток его крестьянского рода. Ещё его дед, когда жил под барином, вздумавшим однажды, после поездки к просвещённым господам в знаменитое Моховое, насадить лес в усадьбе своей на манер Шестаковского парка, бывало, ходил за лошадкой, нажимая холстинной грудью на затёртую соху,— сеял лес: бросал в борозду жёлуди, семена липы, сосны, берёзы и ели. А теперь, ишь, какие красавцы — эти посадки, взращённые нелёгким крестьянским трудом...

Попал я сюда удачно — в самое начало весны. Воздух был сыроват, по –мартовски чист, словно стеклянный. Медные груди столетних сосен смотрелись удивительно явственно. Старый снег присел, сделался настом, и разбросанная по нему, видимо, дятлами, сосновая чешуя говорила о том, что метели давно уже не было и, думалось, вряд ли будет. На шиферных коньках егозили синички, санный след облепили ершистые воробьи. На сосне гаркнула крупная птица.

— Грач, однако,— кивнул головою довольный Максимыч. — А намедни потеха была: зимовавшие, гляжу, всполошились, начали справлять прошлогодние гнёзда. А потом поднялись да за лес — возвратились назад с перелётными. Хлебом –солью своих, значит, встречали...

— А почему они зимовали?

— Слабы крылом к осени оказались. Вот и вертелись всю зиму то возле «Заготзерна», то возле жилья. Всякая живность в холод к человеку тулится. К хлебу.

Мы идём тенистым посёлком. По тому, как мягко ставит ногу Максимыч, как с прищуром оглядывает берёзы и сосны, говорит о них ладно и знающе, в нём угадывается хозяин всех этих угодий. Вот контора лесхоза. Вот финские дома для рабочих. Рупор несёт со столба зычный голос, он летит по посёлку, пропадает в ореховых балках; дубы в ответ шелестят прошлогодней листвой. И потому лес кажется смирным, приученным, и нет в нём хмури и первозданности, как в брянских лесах; за белоствольной берёзой здесь так и чувствуешь поле, простор и воздух; да и в самом Максимыч, приглядевшись, улавливаешь что –то от пахаря, что –то крестьянское, не такое уж и удалённое от земли и от хлеба, что примечалось мной в брянских лесниках – моховиках.

У Максимыча трудный обход: леса немного, но урочища друг от друга в семи –восьми километрах с подходящими именами — Дуброва, Волчий Шлях, с прилепившимися к ним поселками и деревнями. Раньше я почему –то думал, что лесник для того и приставлен к лесу, чтоб охранять его от самовольных порубок. Может, потому думал, что детство моё проходило в лихие послевоенные годы, когда каждая палка в крестьянском дворе была дороже всякого золота; и взять –то её было негде, а топить хату надо, строиться тоже надо...

Сумерки навалились сразу. А тут ещё по щекам закосила крупа. Максимыч глубже угнул шею в воротник форменной шинели; пахнуло дымом, и хотя лесхозовская лошадёнка едва трусила, всё равно скоро можно было рассчитывать на местечко у натопленной печки. Вдруг он заметил на свежем следу тёмную порошь: сосновое корьё, иглы. Может, ветром принесло с ближней опушки? Так нет же, ветра сегодня не было. А вчера не было тёмной пороши. Значит, кто-то недавно провёз сосновую плаху. Но кто же? Максимыч начал прикидывать, кто из здешних имеет доступ к лошадям, перебрал всех конюхов, всех возчиков молока.

Сердце Максимыча ёкнуло, когда увидел на следу еловую ветвь. Загорелось всё тело. Хлестнул вожжой Зайчонка — полозья дзынькнули, замелькали дома и хаты. На самом выезде из деревни засёк Максимыч метнувшихся в поле. И мчался за тенью по оврагам, по кочкам, не замечая, что сумерки легли на землю уж плотно, что сани уводят его от деревни всё глуше и глуше в лес.

Максимыч взял в руки кнут и двинулся к ним. Он сразу узнал их. Всех троих. Хмельны, глаза от самогона на выкате.

— Ну, чего прёшь? — осклабился ближний.— Не вишь — ёлки. Внучку ублажить.

— Ордер предъявите! А что это, под ёлкой?

— Слушай, Максимыч! Давай по любви.

— Составим акт и...

— Горяч больно! Да ты только мигни — в галифе, в эти... в шубы оденем. А то валенки, хе –хе, у тебя сто раз подшитые.

— А ну, скидывай плаху.

— Значит, жить надоело?! — наступали все трое.— А ну, Денис, пропиши ему смертную.

В руках у Дениса появилось ружьё. Поплыло вверх, под самое сердце. Кровь бросилась Максимычу в голову.

— На, бей! — рванул он ворот рубахи и шагнул на чёрный зрачок. — Стреляй, сволочь!!

Денис попятился, ветка под левой ногой, хрустнув, просела, отчего ружьё дёрнуло вверх, выстрел рванулся в небо. Прыжок — и Максимыч сидел на стрелявшем...

Это произошло давно, когда Алёнушка–дочка ещё не ходила в школу.

— Да и не одно у меня дело — охрана,— приостанавливается Максимыч и загибает палец за пальцем. — А чистка? А посадка? А гнуть дуги и сани? А метлу вязать? А опытный участок?.. Надо, однако, спешить. Нынче пыль, метель будет — ишь, галки наземь кидаются... Ну, а порубки теперь всё реже. Друзья у леса по деревням завелись. И сам лес не молчит. Зимой по снегу всё читай, как по книге, летом тоже следы. Бывает, промяла колею подвода в самую чащу, а зачем промяла? Или кроны ближних деревьев прижаты, а серёдка меж ними пустует: где дерево? Срежут под комель, упрячут неклеймённый пёнышек в землю, прикроют кочкой, а на весну всё равно видно: попрут из пня побеги, раскроют следы преступления...

Максимыч ведёт меня вглубь, туда, где идёт чистка леса. Утром с топорами и пилами прошли на делянку рабочие. И мы теперь шагаем за ними по глубокому снегу. След в след. Уже не слыхать поселкового радио. У берёзок, выдавшихся в просеку лёгким уступом, Максимыч приостанавливается. Только что улыбавшееся лицо его делается серьёзным, почти суровым. Он решительно сворачивает к берёзкам, бредёт, утопая по пояс. До снежного холмика.

— Вот, — говорит Максимыч, снимая шапку. — Вот здесь лежит он. Герой. Летчик Никитин. А вон, видишь, яма? Его «ИЛ» выбухал в сорок третьем. Девятого мая все фронтовики посёлка сюда собираются...

Вижу я у изголовья могилы почти занесённую снегом воронку, из воронки поднявшуюся берёзу, а на нижних

сучьях свежие ветки вербы, облитые жёлтыми шариками, словно первые весенние цветы. Как попали они на лесную могилу? Вижу я, когда возвращаемся, припорошенные следы. Ни больше, ни меньше — Максимычевы. И представляю, как в дождь ли, пургу ли, завершая обход, как ни устал и ни вымок, Максимыч непременно заходит сюда, на лесную могилу. К герою. К лётчику Никитину. С первой вербой или с первым подснежником.

Мы продолжаем свой путь. Суровые и молчаливые. Послышалось комариное пенье пилы. Выходим на звук. Рабочие пилят ёлки — хилые, перекорёженные, с гнильцой в сердцевине.

— Всё следы войны, — вздыхает Максимыч. — В сорок третьем здесь, говорят, проходил второй эшелон немецкой обороны, в посёлке стоял штаб. Так что ж, разбирались они? Валили ёлку подряд, а пни оставляли по метру. От того и пошла гниль, заразила собой почву. Самосев поднялся — и тот болеет...

Говорит Максимыч о лесе, словно о чём –то родном, наболевшем. Дерево у него — человек. Ель легкомысленна, как соседская дочка: корни все поверху, дунул ветер — и повалило; упал недавно почти весь еловый выводок над верхним прудом. Дуб — мужик основательный, чистый крестьянин. До поры до времени макушкой ни с места, стержнем –корнем всё вниз углубляется. Зато как пойдёт — вон какой махиной станет. Встретит Максимыч в лесу дубовый кряж — непременно вспомнит деда Ермилыча, Семёна Ермилыча Хмылова, нештатного охранника из деревни Гнилуши. Так же кряжист и домовит.

Максимыч лазает по делянке, проверяет, как делают чистку рабочие. Ребята нагнулись над поваленной ивой, затенявшей молодые дубки, раскатывают её бензопилой на плахи. «Дз –звень!!» — взвизгнула пила и захлестала по воздуху.

— Ах ты, чёрт! — выругался один из рабочих. — Снова осколок.— Он разгибает спину, держит ржавый осколок в ладони.

— Дмитрий Никитич! — торопится лесник к нему. — Вы зачем же вон ту осину свалили?

— Да она ж, Максимыч, кривая.

— Ей расти да расти...

— Ну, слепим, составим. Эй, Иван! Клей деревянный найдётся?

— А ты не смейся, — мрачнеет Максимыч. — Загубили зря дерево. Это всё равно, что лесу ногу отпятить. На чём лесу стоять –то, если вот так будем?

Дмитрий Никитич опускает глаза, лицо его багровеет, белой ниткой вытягивается через всё лицо тонкий шрам — тоже след минувшей войны. Мы возвращаемся молча, след в след. Уже опять слыхать поселковое радио. Но никакие силы не разговорят сегодня Максимыча, не снимут камень с души.

Всю ночь окно секла мелкая, водяная шрапнель, и снег захлебнулся, напитался дождём. Под утро, когда всё притишилось, во дворе стало слышно какое –то чмоканье — это, подтаивая, проседал захлебнувшийся снег, и земля втягивала его в себя, отбухая и всхлипывая.

А наутро засвежело, засеверило, глянуло солнце, во двор потянуло духом горькой вербы. Небо разголубелось. Максимыч засобирался на питомник, на опытный участок. Ещё на подходе к опушке мы услышали, как где-то звенит. Неужели ручьи?

— Берёза поёт, — однозначно бросил Максимыч.

В самом деле, пели берёзы. Пела вся опушка, обращённая к солнцу. Покачивались крылья берёз, седоватые от гололёда. Стеклянные веточки, подтаивая, падали, звенели о нижние, увлекали их за собой, и все вместе пели переливчато и хрустально.

На опушке крутилась, вся в серо –жёлтой одежде, овсянка, вторила красногрудому снегирю. Воробей — и тот лихо драл голос на одинокой раките.

— Мелкая живность, а тоже Иван Иваныч, — с лаской заметил Максимыч. — Весной тоже почтения требует... А вот что покрупнее — скажем, енота — повыбили. Ну, да енота не жалко: зайчат, подлец, перевёл. Зайчихе и той, бедной, в весну негде приткнуться с мальвой. Поля перепахивают, так они по опушкам, лугам и овражкам. А тут ещё этот... снот.

— А лоси здесь водятся?

— Ходили... Молодого осинничка зимой поднарежу — подпускают рукой дотянуться. А потом одного по лицензии хлопнули — все ушли в урочища покрупнее. В Мурашиху, в Каменную пустошь...

По лесу дороги не скучны: то на одно глянул, то на другое. Яблоневый сад обнесён толстой липой: вот где, видать, раздолье рабочей пчеле. А за садом зелёный набор всяких диковин. Здесь и веймутова сосна — по пяти иголок в мягкой метёлке, и мохнатые ели, а туда дальше и ильм — редкая разновидность вяза, и ясеневый клён, и сам ясень... Сгрудились породами по откосам прудов. Тут же, на берегу, светлеет аккуратная банька, ютится лесниково хозяйство — рабочие гнут сани и дуги, на повозки делают грядки. Всюду под литыми, красными, будто от солнца, стволами сосен видна рука человека.

Но «козырь» в обходе — питомник и опытный участок, а в нём — тополя. Всех сортов и пород: петровский, бальзамический, волосистоплодный, берлинский... Сажал их Максимыч черенками — однолетками и трёхлетками, на полметра, на метр и почти на два метра. Требовалось узнать, какую породу на какой сажать глубине, чтобы получить самый быстрый прирост. Важное дело для целлюлозной промышленности. День и ночь торчал Лексеич на этой делянке,

чтоб не занесло «дизели» куда зря, чтоб культивировали междурядья под нужным углом, чтобы бабы тяпками не завалили растения. Хлопотное дело, а интересное. И по оврагам тополь лучше других приживается.

А то ведь со стадами просто беда. Стопчут посадку — снова вешние воды крушат свежие склоны. Не один порог обил по этому делу Максимыч, не с одним говорил председателем...

Вечерело. С низинных прудов тянуло синевой и холодом. Где-то там, накрытые сухой листвой, а поверх снегом, лежали вороха желудей, привезённые осенью из Гомельской области, дожидаясь талой земли, чтоб дать рост новой жизни. Их подсадят по пустошам, по лысинам, по большим и малым полянам, и тогда на Максимыча свалятся новые дела и заботы, и будет он, как и всегда, приходить домой после обхода усталый и запоздавший, и будут встречать его под зеленью палисада голубые ставни дорогих окон, будут говорить ему на пороге: «Дома, Максимыч, у тебя всё в порядке. Дочки уж спят, а жена дожидается»... И так сегодня и завтра — весну, лето, годы...

А на праздник Победы лесхозовцы собрались все вместе, пошли на лесную могилу. К лётчику. К герою Никитину. Многие — бывшие фронтовики, многие — сами герои. С орденами и медалями на кителях, где в петлицах дубовые листья. Пришли и сидели, молчали. Инженеры и техники, лесники и рабочие. Бывшие солдаты и командиры. Защитники леса, защитники нашей земли.

Кто-то вспомнил:

— А где же Максимыч?

Максимыч пришёл, слегка запыхавшись; спешил аж из Волчьего Шляха. Принёс, положил Никитину золотые кувшинки. И поплыла над лесом незабытая песня:

Где же вы теперь, друзья –однополчане,
Боевые спутники мои?

Поплыла песня в чистое поле, где ходил трактор. Остановил машину, заглушил на момент мотор человек и прислушался, как шумит лес.

28 мая 1967 года

Третья высота

Много ли человеку надо? Если он полон только самим собой, ему хватит и четырёх комнатных стен, в которых вмещается вся его тихая жизнь. Ну, а если человек живёт широко и просторно, если колоколами гудит в нём наше заботное время, тогда ему нужен весь мир: небо, звёзды, друзья, работа, волнения, поиски...

Таких не запрёшь в четырёх стенах, такие ставят перед собою Эвересты и годами идут к облюбованной высоте. Если б Тамаре Череповой было нужно немного, жизнь её, вероятно, складывалась бы по –иному. И она, вчерашний член кооператива «Путь к рассвету», передовая доярка области, не тряслась бы сегодня в рейсовом автобусе с чемоданом у ног, уезжая работать в отстающее хозяйство.

Когда за Киевским поворотом закружились по сторонам уже совсем неизвестные места, Тамара вдруг поняла, что для неё начинается новая жизнь.

«Новая жизнь»,—вполголоса повторила она и удивилась звучанию этих слов. Так называлось сельхозпредприятие, куда она ехала зоотехником. Тревожно защемило сердце. Тамара впилась взглядом в заднее стекло: знакомую змейку Симферопольского шоссе закрывал горизонт. Она попыталась думать о скорой поездке в техникум, о надвигающихся госэкзаменах и не смогла. Слишком остро вспоминалось прощанье с отцом. Он стоял у автобуса, тихий и покорный, и Тамара через стекло слышала, как дрожали отцовские губы: «Ты смотри там, Томусь... А мы дома тут по-

можем матери, мобилизнёмся...» «Мы»—была женская и мужская половины семьи, включая и восьмилетнего Вовку.

Вчера, после вечерней дойки, она проголосила на шее у Белки, пока не подошла сестрёнка. Веруньке было не понять её слёз. Ведь с этой Белки, с этой коровы, начались Тамарины победы над своим неуменьем, и она взяла первую высоту. И всё это после недель отчаянья, после того, как ночами по локти ломило руки, а в подойнике плескались жалкие литры...

За бугром выросли высокие трубы. Они стремительно надвигались: автобус вкатился в Железногорск. Она быстро отыскала лошадь, присланную за ней из сельхозпредприятия, и без промедленья отправилась в путь. Возница попался на редкость немногословный, и после коротких ответов: «Приедешь—увидишь», — Тамара вовсе перестала расспрашивать его.

Мысли её снова вернулись к дому. Теперь надои запишут на мать. Триста литров молока от коровы за первые два месяца... Что было? Э, да быльём поросло это «было». Для того и себя не жалела, зоотехнику надоедала, в техникум заочницей поступала... А после одного из собраний, когда вся ферма стала надаивать значительно больше других, Тамара первая среди подруг поняла, что взята ещё одна высота...

— Н –но! — отчаянно хлестнул возница Гнедого и разом смахнул Тамарины мысли.

Санки лихо влетели в аллею из вековых елей. Сброшенные ветром иголки посыпались на дорогу.

— Красиво, однако,— кивнула Тамара на трёх сестер, выросших из одного комеля.

Сейчас она думала о том, что ждет её впереди. Теперь нельзя было ни оттянуть этих мыслей, ни заглушить их. Она вспомнила, как возница бросил встречному пешеходу: «Зоотехника везу», — и на душе стало ещё тревожнее.

«Зоотехника» — это о ней... Прежде Тамара знала только своих пятнадцать коров, а сколько их будет теперь? Сколько будет под её началом людей? Правда, она уже узнала кое –что об этом хозяйстве. Ещё там, в производственном управлении, когда «сватали дивчину в сельхозкооператив «Победа». В «Новую жизнь» она напросилась сама, она ехала сюда не на подовые пироги, и оттого быстрее хотелось увидеть деревню где придётся ей теперь работать и жить.

Хальзево вынырнуло из –за пригорка всё разом... Четверть часа спустя в правлении Тамару встречал весь командный состав сельхозкооператива.

— Ну, зоотехник,— почти сразу же после приветствия начал председатель Александр Андреевич Пронькин,— сегодня устраивайся, а завтра берись за дела, за производственный план. Ссуды без него не дают... А ты, Николаич,— обратился он к прежнему зоотехнику Алёшину,— подготовь –ка к сдаче документацию.

— За нами не заржавеет,— рубанул Николаич и покосился на девушку.— Только учти: принимать обратно не буду...

Тамара резко повернулась к своему предшественнику, но сдержалась. Спросила:

— Как с кормами? Поскольку кормовых единиц на корову?

— А –а, — морщась, перебил её Алёшин, — отрубим от скирда два метра соломы на всю ферму, и хорош.

— Без веса?

— А вилы на что? Рука, милая, вес чует, не промахнётся.

— Карбамид даёте?– Никита Николаевич суетливо топчется на месте, шевелит сухими губами.

— Добились! — загорается председатель. — Телята, как мухи, дохнут.

— Пойдёмте, — встаёт Тамара, — посмотрим.

Ферма неподалёку от правленья. На ходу к небольшой группке подстраивается коренастый паренёк.

— В нашем полку прибыло? — Он протягивает девушке руку: — Будем знакомы: Иван Горбунов, бригадир.

Они идут, живо размахивая руками. Тем для разговора находится неожиданно много...

В телятник уже сбился народ. Пришли дежурные доярки, скотники, просто любопытные. Тамара чувствует на себе внимательные взгляды: ждут ответа, почему болеют телятки? «Своих телят ты знала с часа рожденья. А эти, что ты знаешь об этих? Но на тебя сейчас все надежды, твоё слово — закон. А ты одна. И не к кому сбегать за советом.Далеко главный зоотехник Кирсанов, твой добрый Борис Палыч. А они ждут, эти глаза».

— Посторонних прошу не заходить в помещение,— твёрдо говорит Тамара.— В телятнике должна быть чистота. Завтра начнём лечение с биомицина.

Потом они проходят к коровнику. Тёплый, просторный четырёхрядник, но — боже! — сколько же здесь беспорядка. Свежее око всё видит, всё подмечает.

— Доярки собрались, — подходит женщина в тёмном халате, — зоотехника нового кличут, поговорить хотят...

В красном уголке тесно от народу, от пустых фляг. Слышится шёпот среди женщин: «А присланная –то девчонка совсем...» «Вот –те и зоотехник...». «Да уж верно, незавидна росточком»...

Пока держит речь председатель, Тамара краешком глаза косится на экран соревнования.

— А ты не туда глядишь! — перехватив её взгляд, взрывается доярка Александра Климова. — Ты в кормушки глянь, что мы коровам даём...

Серые глаза у Тамары темнеют от гнева.

— А вы посмотрите, что за кормушками у вас: сено под копытами! Да у нас бы на ферме за это...— Запнувшись,

девушка неожиданно остывает:— Я ошиблась, теперь эта ферма и моя. Мы вместе будем бороться за высокие надои.

— А это ты видела?! — Александра поднимает вверх свои руки. Красные, узловатые, распухшие.— Наборолись, хватит с нас...

Тамара тихо смотрит на эти натруженные руки. Что сказать им? Пожалеть? Но жалость никого ещё не делала сильным. А сейчас нужна только сила, только уверенность, чтобы бороться. «Это ты видела?!» «Видела, видела»... — стучит у Тамары в висках.

— Вот, — поднимает она свои руки.– Вот.

Припухлые, жёсткие, сильные руки доярки. Они ещё пахнут парным молоком.

Глаза у доярок делаются мягче, добрее.До самого вечера в красном уголке толпится народ. Толкуют о «ёлочке», об экономии кормов, об учёбе доярок. А под конец заведующий фермой Федор Иванович Иваничкин, слегка конфузясь, спрашивает Тамару:

— Как тебя, дочка, по отчеству величают?

— А зачем? — краснеет она. — Зовите меня просто Тамара. А когда заслужу, узнаете сами...

В сумерках она едва узнаёт дорогу к себе на квартиру. Хальзево провалилось во тьму, и только далеко –далеко на бугре, в Новой Ялте, переливаются электрические огни. Это горят гирляндами вышки, там работают геологи – изыскатели. Такие же неугомонные парни и девчата, каких она видела сегодня в Железногорске, которых, как и её, сорвало с места ветрами. Их много, их гораздо больше, чем тех, которые замкнуты в четырёх стенах.

Сколько же сил нужно Тамаре, чтобы сдвинуть дела тут, вселить в людей уверенность, осветить их душевной энергией? И она найдёт в себе силы. Годами хозяйство тащилось в хвосте, годами трещали планы по животноводству. На чернозёмах должно быть молоко, а не слёзы.Завтра ехать

на дальнис фермы, завтра смотреть корма, завтра составлять производственный план... Завтра начинается взятие третьей высоты — самый трудной, но и самой почётной.

А сегодня первый зоотехник ложится в постель пораньше и, засыпая, слышит за окном озорные частушки.«Видно, девчата сходятся в клуб». Тамара прислушивается, узнаёт голос той шумливой доярки:—Курам смеху на заборе, Стыд –позор, кому сказать: Люди едут из –за моря нам хозяйство поднимать», —и, улыбнувшись, поворачивается к стене.

29 мая 1969 года

Учитель из Льгова

У дороги, на фоне синеющего леса, стоял полосатый столб, сверху вниз на нём было написано: «Льгов». Отсюда просматривалось село, где-то в середине маячила остренькая церквушка, придавая всему своё, неповторимое выражение. Немудрёный этот пейзаж всплывал в памяти, словно старая фотография: так знакомо каждому это место по тургеневским «Запискам охотника».

Восьмилетняя школа, куда я приехал, оказалась бревенчатой и приземистой. В учительской, теснотой своей напоминавшей пенал, мне и пришлось встретиться с преподавателем русского языка и литературы Евгением Дмитриевичем Лаврухиным, о котором давненько ходит молва — о его высоком педагогическом мастерстве, о его неистовой любви к отчему краю. Едва познакомившись, он предложил мне:

— Идёмте, покажу вам церквушку, возле которой Иван Сергеевич встретился с Сучком.

В коридоре, задержавшись у многочисленных литературных стендов, я не мог не отмутить тщательности и любви, с которой они были выполнены. В центре самого боль-

шого и яркого — карандашный рисунок на простой грубой бумаге. Под сильным лицом с шишковатым лбом стояло: «Федот Хорёв, правнук тургеневского Хоря».

— Откуда это? — спросил я.

— Студенты подарили. Были тут из пединститута. Ездил с ними в Хорёвку, показывал лесную дорогу.

Шагаем с Евгением Дмитриевичем садом. Разговор завязывается сам собой. Вот уже четверть века он в школе. Учит ребят языку леса и поля, учит российской словесности, создал даже кружок стихотворцев, выпускает с ребятами альманах...

— И что же, вышел кто –нибудь из ваших в поэты?

— В поэты? — вздохнул Евгений Дмитриевич. — Талант — редкий дар. А вот дух поэзия поднимает... Да, поднимает!

— Сами пишете? — почувствовал я какую –то недосказанность.

— Пишу, — признался Евгений Дмитриевич. — Пишу— и в сундук... Для себя хорошо, а для людей надо писать лучше.

Всё вокруг было монотонным, серовато –рыжим: и голый ивняк, и притрушенные прошлогодней блёклой травой поля, и угрюмый бор по –за речкой Вытебетью. Только молодой соснячок полыхал яркой зеленью.

— Там, — повёл рукойЛаврухин, — там большая излучина. А в излучине — древнее селище. Мы частенько туда с ребятами. Попадаются костяные наконечники, каменные молоты и топоры...

Заморосил весенний холодный дождь — соснячок посерел, горизонт задрожал, поплыл, словно в мареве.

«И мглой волнистою покрыты небеса», — кутаясь в воротник, процитировал мой спутник. Я уже заметил за ним эту особенность: говорить стихами. Он знал наизусть, по его словам, «Евгения Онегина», «Демона», сотни стихотворений

Пушкина, Баратынского, Есснина, Бальмонта, Фста, Некрасова... Да не оставлена была им и проза, особенно тургеневская, в чём я успел убедиться, когда мы вступили во Льгов и Лаврухин отметил это известными словами из «Записок охотника»:

«— Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке...»

Подивившись на его недюжинную память, я ещё и ещё жадно оглядывался вокруг. Не отказав себе в удовольствии прочитать заключительные строки из романа «Отцы и дети» о бедном сельском погосте, Лаврухин повёл меня к самой церковенке, заставил прильнуть к щелям в заколоченных ставнях, с полчаса вглядываться туда во внутреннюю полутьму.

— Вы видите? — говорил он восхищённо. — Видите, каков здесь алтарь! Вход, словно простая крестьянская дверь, а не царские врата. Это ли не свидетельство древности церкви?

Купол венчался потемневшим крестом, опиравшимся на опрокинутую луну. На стержне креста, обращенного к востоку, восседал «золотой петушок».

— Зарю опевает, — улыбнулся Лаврухин. — Крест над опрокинутым месяцем — символ победы русских над кочевниками. В честь победы и был поставлен сей храм, и выросло после село...

Спустившись с церковного холмика, подошли мы к плотине, подпиравшей полукольцом спущенный пруд, знаменитый уж тем, что Иван Сергеевич принимал в нём после «кораблекрушения» холодную ванну.

— А там, в огородах, стояла изба Сучка, — показывая, Лаврухин даже привстал. — А вот этот просёлок ведёт через Ельнинский хутор в Хорёвку. А вон то следы двух прежних мельниц, которые имел, вероятно, в виду писатель... Здесь

была ГЭС местного значения. Ток потом стали давать Белые Берега, и пруд забросили...

Середину плотины прорезала речушка. На удивление, она оказалась и полноводной, и не по –болотному чистой. Вода перекатывалась через остатки замшелых шлюзов; дубовые клети создавали тихие заводи, подёрнутые тиной и стеклянистыми льдинками, но протока была свободной и быстрой и, ниспадая, шумела, гремела, как ей и положено, напоминала о времени, о том, что каких –нибудь сто лет назад совсем иные люди смотрели на неё, громовитую…

Скольких ребят провёл этой дорогой учитель, сколько поколений льговцев обязаны ему знанием края! С пятого класса берёт он и ведёт их по привычным местам, открывая необъятное: знания, любовь к земле ,родине, заставляя везде чувствовать что –то своё,тургеневское. И Лаврухин вдруг предстал предо мной с иной стороны. Вспомнил я о крестьянском корне его — в соседнем Мымрино пашут Лаврухины землю; вспомнил тургеневского Сучка — бесправного, забитого всеми крестьянина, переменившего по причуде господ с десяток ремёсел, — вспомнил всё это и подумал: а Лаврухину наши дни дали профессию по призванию, вся его жизнь, все его мысли устремлены к одному: с детства делать человека возвышенней, чище, а через него — чище, возвышенней общество.

В сумерках мы подошли к Лаврухинской обители. Во дворе я успел заметить подприсевшую сараюшку, несколько жидких ракит. Начал рьяно тереть о порог каблуками.

— Пустое, — проходя вперёд, буркнул Лаврухин. — Ржаное поле — ржаной народ.

Шагнули через переднюю, очутились в главной комнате, и сразу бросились в глаза полки с древнекаменными топорами и молотками, объёмистый книжный шкаф, репродукции картин и портретов писателей. На столе в беспорядке лежали газеты, журналы, тетради.

Без пальто Лаврухин показался моложе, на.вид — под пятьдесят. Волосы прямые и тёмные, чуть засвечены на висках, лицо узкое и живое.

— Ну что, — сказал хозяин с мягкой улыбкой, — будем пить чай?

За окном в ночи уж гудело, скреблись о стекло беспокойные ветки. С минуту Евгений Дмитриевич к чему –то прислушивался, затем, откашлявшись, начал:

— Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживёт мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Читал он тихо, протяжно, словно бы пел, весь отдаваясь и ритму, и чувству, заключённому в этих словах.

— Вы знаете, — вдруг перешёл он на прозу. — Я бы, наверно, не стал учителем, если бы не один человек... По соседству, на бывшей барской усадьбе, создали ШКМ — школу крестьянской молодежи. Попал в неё от нашей деревни и я. Жили мы все коммуной. Учил нас бывший хозяин усадьбы — старый профессор Владимир Николаевич Хитрово. Революция его не тронула. Уже тогда у него были большие труды по флоре и фауне Киевской и Орловской губерний, бассейна реки Енисей. Зимой он рассказывал нам о животных, природе, а летом мы брали «ключи» — определители птиц и растений — и отправлялись в луга и леса. Каждую былинку он нам по –латыни, по –русски; о каждой птахе — стихи... То был великолепный учитель, поразительной теплоты человек!

Так вот откуда в Лаврухине это знание каждой травинки, эта тяга к земле, желание бродить с ребятишками по родимому краю; от стремления проникнуть в гармонию жизни — любовь к литературе, от необходимости сравнивать — увлечение историей. Вспоминалась беседа с директором одной из соседних школ — бывшим лаврухинским учеником, его слова о высоком призвании человека, сказанные без вся-

кой рисовки, рассказы о ребячьих походах по Орловщине — по фетовским, бунинским, лесковским местам...

Странное чувство рождалось в этой светлице. Я представлял — вот и завтра войдёт он в свой класс, привычно поправит очки, хитровато прищурится: «А название какого рассказа из «Записок охотника» вызывает в памяти сам вид нашей местности?»— и, услышав ответ: «Лес и степь», — удовлетворённо улыбнётся.

Так вот он и живёт: лазает с ребятишками по древним селищам, пропадает в поймах рек или в бору — учит детишек говору поля и леса, легендам, поэзии, слову — многому учит учитель – душа неуёмная, светлая голова. А мальчишки, девчонки уходят. В механизаторы, агрономы, инженеры, в рабочие, лётчики. Но в какую бы высь ни поднялись— помнят землю, разнотравную, мягкую, тёплую. И учителя помнят...

Утром я проснулся от света: склонившись. Лаврухин сидел над тетрадями. За окном ранний воздух был густ, знобок жёсткой синью. Солнце уже просыпалось, отчего и строящаяся белокирпичная школа, и избы слегка розовели. Обдумывая своё житьё, на «золотом петушке» льговской церковенки сидела сонная галка. На околице, где Тургенев оставлял перед охотой кучера Иегудиила, я задержался. От села Девять Дубов, где, по былине, Илья Муромец одолел Соловья –разбойника, петляла сюда кочковатой равниной похудевшая речка Вытебеть. Сбоку хмурился бор.

Полевая дорога уводила к горизонту. Передо мной, насколько хватало взгляда, простиралась широкая степь.

28 июля 1969 года

Зубры Полесья

Модное словечко «агедония» означает неспособность получить удовольствие. Причём часто утрачивает вкус к жизни тот, кто сделал успешную карьеру и может позволить

себе практически всё. Нужно совершать резкие повороты в жизни, ставить перед собой сложные задачи: сесть на диету, выучить японский язык, заняться самбо. Устройте себе праздник: съездите в лес.

* * *

И вот моя рождественская поездка в Орловское Полесье, где был я когда-то ещё в молодости, работая в «Орловском комсомольце». Ездил во Льгов, Ильинское, Булатово, по письму молодых доярок– в Хотимль –Кузьмёновский, Жудро. Много был наслышан я об этом чуде русского леса– полесских зубрах, завезённых из Беловежской пущи и нашедших пристанище в этих местах. Даже драму написал «Последний зубр», представляете? И думал, совпадает ли то, что я нарисовал, с тем, что есть натурально, создано самой природы? Как у Бальзака. Живописует, бывало, он окраину Парижа, где никогда не бывал, поедут туда, глянут– один к одному. Мы не Бальзаки, конечно, мы в этих местах бывали не раз, но давно интерес к новой поездке туда ещё и зубрами подогревается.

В первый день с друзьями из Булатово мы едем на народном автомобиле «Ока» по классическим местам. Побывали в тургеневском Льгове, у реставрированной церкви, помнящей ещё натиск Дикой степи, древнетатарские набеги. Заезжали в Орловское Полесье со стороны Булатово, через речку Вытебеть, проехались по Жудро, по всем его закоулкам, где некогда были торфоразработки, существовала даже узкоколейка. Возвращаясь, обратили внимание на многочисленные курганчики– справа от дороги, залесённые, припорошенные белым снегом. А на них– олени серыми пятнами, лежат себе на снежном насте. Подошли мы поближе, олени с ленцой отвалили в глубь леса. Лёжки свои оставили. Ещё дымясь от живого, лёжки эти навевали мысль о захоронени-

ях в курганах, об извечности борьбы леса со степью– о сечах, бранях, бренных годах истории Древней Руси.

У священных лесных родников, деревянной часовенки, у оборудованной для крещения «иордани» со ступеньками в прозрачную ледяную воду постояли, пошептали про себя тёплые, заветные слова, попили святой водицы у родника «Михалыч». Послушали лес, молчание елей и сосен, высоченных, гибких, колдовски скрипящих осин. И ещё острее вспыхнуло желание встречи с этими царями русского леса– зубрами где-то тут, за бором– перешейком по дороге на Глотово; эти реликтовые «околки» тайги переходят в материковые калужские и брянские леса.

Второй день был главным. К дому около баньки, где мы совершали вечернее омовение, подкатил на козырях здешний егерь Александр Александрович Миронов– по имени Шурик. Вместе учились ребята тут в Булатовской школе, дружат и по сей день. Шурик отменно сложен, улыбчив, с большой, спокойной внутренней силой, с неожиданными сине –голубыми глазами. Он– хозяин этого леса, отец зубров. Считанные единицы их привезли лет десять тому из Беловежской пущи, из голландских, бельгийских зоопарков; зубриное стадо теперь насчитывает 47 голов– мощных, просто литых лесных красавцев, почти каждый до тонны весом. Нет нигде такого стада в Европе! И всё это выхожено, вытащено из смертельной опасности исчезновения рода этим Добрыней Никитичем, здешним егерем. Зубры давно находятся в Красной книге. А кем раньше был этот Добрыня, где работал?

– Шахтёром, на Донбассе уголёк добывал, долбил его, лежа на животе, – улыбается Шурик Миронов, сидя впереди, как бы на облучке. — А пласт там всего 0,7 ширины, полувертикальное бурение.

– Да ты герой! – говорю я и вспоминаю стихи Владимира Цыбина. – «Я работаю, как вельможа. Я

работаю только лёжа».

Смеется этот «вельможа» удивительному сравнению. А рядом с ним другой булатовец родом– Иван Антипин; тоже «вельможа», но наоборот, поднебесный, в монтажной люльке где-то в саратовском Балаково, на Волге, работает, на немыслимой высоте... «А мы монтажники –высотники»... Вот какие рядом со мной ребята!

Булатово вытянулось во всю длину – от Льгова туда, на Мымрино. Напротив за неширокой, петлястой луговой речкой Вытебеть, берущей начало от Девяти Дубов по Муромской дорожке, по которой хаживал некогда Илья Муромец. За белым полотном зимнего пейзажа – длинная зелёная щётка хвойного леса. Это и есть Орловское Полесье, за которым таёжные, партизанские дебри калужских и брянских лесов. Там и живут чудо –богатыри орловского леса– зубры.

– Когда в лесу они– зубры, а когда в прериях– бизоны. По Америке не так давно бродили мильённые стада,– рассказываю я вычитанное из книг.– Всех в борьбе с индейцами постреляли. Так же была уничтожена и знаменитая селлерова корова на Алеутских островах. Хорошо приручалась, могли быть морские фермы...

– Зубры– дети мои,– улыбается Шурик.– Мною выхожены. Я за ними летом километров за двадцать пять в калужские леса на лошадке езжу, возвращаю сюда, в родные места. А зимой они от меня никуда. Глядите, сейчас будут стоять на дороге, встречать.

И вот они сгрудились на санном следу, ждут. Тёмная, бурая масса. Разворачиваются зубры перед лошадкой и трусцой назад к себе на поляну. А поляна точь в точь, какой я описал её в своей драме. Круглая и большая. Посредине– кормушки, дощаник с сеном, сушёной крапивой, висящими вениками– это зверю от весеннего авитаминоза. И всюду следы пребывания зубров. Сказочно, прямо– таки как у

лелей. И тишина. Лишь хвоинки витают в настое воздуха. Русский лес, вековая сосна на поляне– матерь Облога.

– Сейчас мы их позовём,– соскакивает с козырей Шурик, сияя своими сине–голубыми глазами. И берёт колотушку, колотит ею о ствол древа, словно о гонг. Широкий басовитый звук летит по лесам и долам, воздымая в груди глуховатую, глубоко внутреннюю тоску по несбывшемуся, неосуществленному...

– Да вот они!– кричит Ваня Антипин, этот булатовец–«высотник». – Вот они, остальные зубры– лесные братья, выходят из лесу!

След в след, а то веером, как партизаны, возникают семьями –кучками зубры из дебрей.

Тёмные на снегу, мохнатые холки, рыжие бороды. Как львы! Мощный торс, чётко подобран корпус, за ним суховатые ноги для быстрого хода по лесу, телята жмутся к своим матерям.

Ещё раз колотушкой по стволу, ещё! И из дебрей, как боги какие лесные, как привидения, являются ещё и ещё группы зубров – тянутся по семь, по двенадцать особей. Возникая, выступают, вышагивают по грудь в снегу, выбредают на эту поляну – на общий сбор, к своему отцу – Александру Миронову, егерю. Александр Александрович встречает их, хлопочет возле всех и каждого, общается со стадом, ходит по краю. Всё же это звери – сами себе корм добывают в лесу, а тут им только подкормка.

– И не боишься их, а? – говорю я ему в сине –голубые глаза.

– Боялся сначала, – смеётся егерь, возбудясь от присутствия зверя.– Когда было их трое. А потом они же при мне рождались, все теперь дети мои.

Шурик ведёт в руках лошадь, сани-козыри тянутся следом за ней к деревянным кормушкам. Комбикорм из мешка егерь бросает горстями прямо на снег, а «дети» идут

следом и схватывают сду зубами прямо со снегом. И лишь у кормушек, где егерь бросает пучками сено, я замечать начинаю, что сено, крутясь возле «отца», хватают губами одни и те же зубры.

– Элита, да?– говорю я Шурику.– Сателлиты твои?

– Сложная у них иерархия,– поворачивается егерь к стаду во всю глубину поляны. – Такие тут бывают разборки! А вообще у них матриархат. Власть имеют не быки, а самки. Вот она главная– Милка! Молодая, выдвигается в лидеры. А это вот прежний лидер, с отбитым рогом. Видите, Милка от меня её уже оттирает, от кормушки –то. А Милка всё возле меня, передаёт волю мою зубрам всем остальным по инстанции. Умная, сильная, прирожденный лидер. И всё стадо прямо –таки на глазах разворачивается уже в её сторону. Видите, иные к кормушкам так и не подойдут, тут же их «сателлиты» отбросят. Так и будут ходить отброшенные стороной, сохраняя вроде бы независимость, с лесом непорочную связь...

Интересны рассуждения егеря. Действительно, разве не так? Очень похоже на социальную иерархию, почти как у людей. Одни зубры крутятся возле Милки, а другие– подалее ходят, к самому лесу, рассчитывая лишь на себя, на свои плечи литые, да ещё на возможности русского леса. Звери ведь сами себе добывают корм копытами из –под снега или крепкими зубам, сдирают молодую кору с осины, дуба, ольхи, обкусывают макушки подроста. Даже не верится, что такую могучую стать возможно нагулять на таком, казалось бы, скудном корме.

– А как же лошадка?– спрашиваем мы Шурика.– Не боится их?

– Она под моим патронажем– улыбается егерь.– Как и вы, и другие гости. Даже самые высокие люди к нам сюда иногда наезжают. А есть и непрошенные гости, извините, нехорошие люди. В основном из так называемых «дикарей».

Оставляют в лесу всякий мусор, прошлым летом одних только целлофановых бутылок тысяч пять подобрал. А ещё битые стёкла, консервные банки. Нельзя же так, граждане! Это всё –таки лес, уникальная флора и фауна, заповедник, национальное достояние!

– Ну, и как ты, много работы? Трудно бывает?

– Какая же это работа?– улыбается егерь своими сине –голубыми глазами.– Это– служение... Помогают, конечно, другие егеря, лесники. По тонне за лето сена накашивают, возов по пять. Ну и сам в сенокос тружусь без разгибу.

А зубры слышат его голос, прядут ушами. Лес спокоен и мудр, не уйдёшь в сторонку от насущных проблем. Всё, как на ладони, перед зеркалом взгляда Зубра. Когда врёшь, он отводит глаза– стыдно, видать, за тебя. Один только раз взглянул Александр на то, как телилась молодая зубриха, и зарёкся смотреть. Не стало зубрёнка; глаз человеческий порочен для чистоты, естественности зверя, этого царя русского леса. Баллада недр его, мифология фауны, просто сказка, чудо лесное...

Уезжали мы с Зубриной Поляны, а Милка– это Матерь Полесья– бежала следом за Александром Александровичем. А следом за ней– по лесной дороге тянулось всё стадо. Мы приостановились, задержались, и Милка– лидер зубров– смотрела на макушки дерёв, задрав головы с крутыми рогами вверх туда, в звёзды дневные. И пили мы редкими вздохами острый, слаботекущий воздух лесной и думали о Красной книге, о судьбе зубра и человека, леса и человечества.

А когда, выехав из Полесья, мы оказались снова в Булатово и повернулись лицом обратно туда, где только что были, мы снова увидели за извилистой Вытебетью нескончаемо –длинную зелёную щётку русского леса. И как прострелило меня: вот откуда, оказывается, и у Сергея Есенина невероятная поэтичность, ощущение родины, её красоты.

Вот так же в рязанском Константиново у дома его, с крутого откоса Оки видать совершенно языческую тёмную полоску Мещёры, куда накатывались со степи волна за волной степняки. И возникали перед глазами курганы, как и эти булатовские, на которых темнели ещё тёплые лёжки зубров, а по стволам во всю длину обозначены были зубы зубриные. И сквозилась мысль о побеждённой мной в этот рождественский день агедонии. «Камо грядеши», Полесье, зубрами обогатясь?

15 ноября2008 года.

Лебёдушки

Есть один такой день перед молодым бабьим летом, когда бегают к речке: тиха вода — быть этой осени мягкой. Гладят щёки ветра –тиховеи, солнце уже засыпает, холодает утрами. Я стою — ожидаю лебединую стаю, сейчас должна пролететь надо мною, над Зушей, над высоким откосом, на который выходит садами –усадьбами этот маленький, удивительной древности город. Говорят, на пути лебедином и вырос он; говорят, сентябрями вот уже сотни лет он встречает и провожает пролётных, и летят они над жнивьём, на деревнями, по –над деревьями — червонными клёнами, словно грусть, словно песня, душа человечья.

Там, внизу, левобережье — слободка. Там по хатам, под железо и шифер, живут бабы –певуньи. Что за песни знают они, что за дивные давние песни! Дай лишь выпадет времечко, поуправятся в поле — вытащат из сундуков залежалые сарафаны — панёвы да соберутся к кому –либо в хату, взвеселятся –забудутся, да и заведут, подперев щёку жёсткими пальцами. Только слушай. Главная песнь — про лебёдушек...

Зажигаются окна. Отражаются в розовой речке. По воде докатилось тонко, прерывисто:

Зачем цвели обман –цветы?

Зачем закат... горел... такой?

— Глаша Трелёва, — встрепенувшись, глядит Калидулова в сторону голоса.

Томкий голос ударяется в берег, утекает вниз по течению — за бетонный мост, к ГЭС:

Зачем цвели обман –цветы?

И сладко так, трудно дышать: густ воздух от антоновских яблок. Вдали откликнулся ещё один голос — грудной, слегка приглушённый. Голоса сходятся, расходятся, вдвоём ведут чисто и широко.

Слетаются лебёдушки, собираются после лета на спевку. На щёку упала паутинка –тенетник. Сдув её, слушает сумерки Калидулова... И вся она, невысокая, стройная, в той серединной поре, когда так красивы русские женщины, когда в глазах угадывается и ум, и желанья, и чувства, а щёки способны вспыхнуть румянцем, но порывы уже в глубине, и движения ровны, спокойны. Плавно, что под короной, несёт она русую голову.

Как слышится, видится отсюда,— Заречье, Зуша на километры. Да вон на вершке жива ещё хатка певца, знаменитого ныне на всю Россию.

— Да и гора, на которой стоим, — обращаясь лицом ко мне, сбрасывает Калидулова косынку на шею,— называется Певчей. Когда-то темнел тут острог, рядом было острожное кладбище. Я, бывало, наслушаюсь тут и ведь знаю, что сказки, что ведь ветры это гудят по откосу в гнёздах стрижиных. А вот хожу и приглядываюсь, и прислушиваюсь: в самом деле ль поёт под ногами земля?..

— Так и ходите, значит, по песням?

— У нас песен здесь море Хвалынское. Каков хор по слободским хатам! А в Тюково! У тюковцев и записали «Ле-

бёдушек». Сколько помнят, певали её — эту песню, хороводили по округе — в здешних селениях. И в каждом — со своими цветами, оттенками. Поёт баба, как бог на душу положит, тянет из своего бесконечного сердца.

Подошли Глаша Трелёва и Варя Котельникова, подоспели другие девчата:

— Алевтина Иванна, голубушка! Так за лето соскучились.

И, взглянув друг на друга, приосанились да привстали, перебирая мелко, поплыли вокруг Калидуловой, завели, запели «Лебёдушек»:

Вдоль по морю, вдоль по морю,
Вдоль по морю, морю синему...

Как всё это издревле привычно, как близко, — этот ход лебединый, и эти лица.

— Родные мои, — шепчет Алевтина Ивановна. — Родные...

Они поднимаются на второй этаж. Скрипуча деревянная лестница. Грузен в углу кованый голубоватый сундук. Здесь их приданое: платья атласные, сафьяновые сапоги, короны все в бисере. Сами шили и вышивали, украшали жемчугом платья...

Сколько радости, не видались целое лето. Когда поутихли расспросы, Калидулова увидела новеньких:

— Как зовут тебя?

— Любочка.

Молодая, любимая, — и вижу я, как, показывая Любочке ход лебединый, поплыла она, поплыла, взмахнула крылами. Девушка угловато потянулась за ней. Грянул хор, хлестнул синей волной, а в волнах

Плывёт стая, плывёт стая лебединая...

Что –то упало в душу, сердце остановилось...

Ухо Калидуловой чутко держит мелодию, а в синей волне колышутся годы — что было, что будет... Всяко быва-

ло; когда жёны оставались на спевки, аспидничали дома мужья. Опускались крылья в такие дни у «лебёдушек».

— Мой –то вчера пришел выпимши,— затевала одна.

— Целый день, — говорит мой, — ты в своих ихахошках, а у нас дети.

— А мой пока с шуткой...

Слушала такие речи подружек Алевтина Ивановна: а что могла? Спасибо, у самой муж обходительный:

— Вот ты, Алюша, перед зеркалом часто.

— А разве тебе не нравится, что жена у тебя красиво одета, причёсана, видна на людях?

Всё отцом её утешалось, устраивалось,— такой уж он человек. А сам из большого крестьянского рода в соседнем селе. На семейный стол клали, бывало, двадцать две ложки. Одних детей в семье учили скрипке, других — баяну, но всех одинаково — песне. По воскресеньям все рассаживались под ракитой и пели. «Звонарёвы поют», — узнавали издалёка.

Покидая село, староста хора оставил его — молодого, безусого — вместо себя. И тут же, на маслену, у ледяной горки, церковные певчие закатили такое, такой устроили праздник! Сколько лет тому. И теперь вот они все поют и играют — музыканты, преподаватели, в хорах... Поют, поют Звонарёвы!..

И вот «лебёдушки» выступают в Москве — девчата новосильские в концертном зале имени автора «Лебединого озера».

Ушёл в сторону занавес. В мягком голубоватом подсвете, на холстинном заднике — море. Впереди челны, а в челнах — хор песенный, выдвигается с обеих сторон на стремнину. Замерли они на стремнине да чуть шевельнулись, колыхнули синью своих длинных платьев, повели рукой с белой оторочкой — закипело, запенилось. Упал в зал первый звук:

Вдоль по морю, морю синему...

И на зов голосов, из –за низких челнов, выплывают лебеди, лебёдушки –княгинюшки. В снеговых атласных платьях, под коронами, в русых косах до пят. Как сверкнут жемчуга –оксамиты, как качнёт плечом Главная Лебедь,

Что не Марьюшка, что не Марьюшка, свет Ивановна.

Так и стелется, так и стелется хор под лебёдушек.

Поёт Алевтина Ивановна, а сама ловит, чуткая, голоса — то вторые, то третьи. Как плывёт Главной Лебедью Любочка — прирожденная Лебедь. Не в крестьянской семье вырастала,— среди лебедей на лесном таинственном озере. Звенит хор, ручьятся сопрано. Алевтине Ивановне грезится лес, лесной берег и озеро, свирельный ручей, хуторок весь в рябинах. Страшно даже подумать, они — лебёдушки, эти крестьянские девушки, сегодня на сцене, где танцуют лебедей знаменитые балерины, в зале самого Петра Ильича...

А мелодия вдруг изменилась, заметалась в тревоге, сквозь сопрано пробились басы:

Отколь взялись, отколь взялись там два сокола.

Гнётся, прогибается белая струйка лебёдушек. Отбить хотят Главную Лебедь соколы. Оба статные, оба пригожие... Один сокол белый, другой сокол чёрный...

И море не море, не озёро, а лесная поляна. Вот-вот оживёт вся опушка, весь хутор, загремит под рябинами свадебное застолье, запоют хуторяне. Ведут перед женихом и невестой хоровод свой лебёдушки. А хор забирает всё выше:

Один сокол синим глазом подморгнёт,

Другой сокол, другой сокол чёрной бровью поведёт.

Кому праздновать, кого выберет Главная Лебедь? Плывут, плывут за нею лебедушки, невестушки – подруженьки...

Ах, да чернобровому подала белу ручку Любочка — Главная Лебедь. Ах, да сердце ему предпочла огневое. Плывут, плывут мимо лебеди, лебёдушки –княгинюшки:

Ах, любовь, любовь, Ах, любовь.

Хоровод застывает. Зал с минуту молчит...

...И опять они дома, в городке своём на откосе, на Зуше. И жизнь течёт так же, как и текла. Женихов лишь под окнами что –то больше стало. Не пройти, не пробиться.

— И твой тут? — проходя через строй, подмигивает Любочке Варя Котельникова. — Уж мы свадьбу споём вам, сыграем...

Смущается Любочка, паренёк озорством прикрывает смущение;

— Мне не к спеху, больно ночи коротки.

И хохот взрывает весь вестибюль. Сгорает, не смея поднять глаз, девчонка. И смотрит на Калидулову, тянется к ней, умоляет: заступница!.. И задумывается Алевтина Ивановна, смотрит в окно, за Зушу. Как ясны, привычны, перемыты словами заботы женщин о доме. Сидится здесь, на спевке, порой допоздна, все поётся, играется, а домой надо... Что же держит всех, спасает нас от всего? Песня, конечно...

Ах, песни эти, что с нами делают песни? Придёт женщина сюда из дому усталая, сникшая, а побудет вместе со всеми, распоётся, расправится и, глядишь, уйдёт домой молодой и красивой, — русская женщина. Как бы ни было нам тяжело, эти песни нам праздник. В человеке всегда найдется местечко для песни...

...И опять я на Певчей горе, на откосе. Под ногами гудит земля. А вверху надо мной, через всю золотую Россию, летят на юг гуси –лебеди. В орешнике шевелят землю, отволглую от туманов и рос, тугие грибы –листопадники. И вечерест Зуша. Повис над ней ясный, трепетный, по – осеннему зябнущий голос:

В заветной тихой рощице к берёзке прислонилася...

Стоит, обняв берёзоньку, полна печали девушка.

– Отчего печаль –то? — подхожу к Глаше Трелёвой, сидящей, обхватив колени, на берегу. — А где же тамада ваша — Алевтина Ивановна?

Глаша смотрит в сторону и молчит. Наконец, отвечает:

— Не поёт она больше... Улетел её лебедь, пока она пела людям. На другое озеро сел...

Вот она, жизнь –то, какие пласты выворачивает.

28 ноября 1968 года

В селе Ильинском

В те времена при Союзе писателе России в Москве существовало Бюро пропаганды художественной литературы. В Орле тоже было оно при писательской организации. И если до того ездил я по литературным местам, будучи в командировках от «Орловского комсомольца» или «Орловской правды», то потом по командировкам я ездил уже от этого Бюро пропаганды в составе писательских групп. И, конечно же, нас тянуло в литературные места Орловщины. На сей раз мы с поэтами Виктором Дронниковым и Львом Котюковым навострились в тургеневский Льгов, это в Хотынецком районе. А попали в село Ильинское, что рядом со Льговом. Как раз происходило тут торжественно –траурное событие, связанное с тем, что механизаторы пахали поле и выпахали останки молодого солдата– рядового Василия Елисеева.

В клеёнке сохранились письма сестры к нему, по ним и узнали его имя, фамилию, что ему восемнадцать лет и что родом он неподалёку– из тульского города Узловая. Видимо, паренёк участвовал в атаке и погиб то ли от мины, снаряда, то ли от авиабомбы. Присыпало землёй паренька, а через столько лет прах его и нашли механизаторы, когда пахали под зябь это поле.

Мы втроём приехали как раз тогда, когда у памятника землякам, погибшим в Отечественную войну, уже собирался народ. Прибыла воинская команда с автоматами– производить салют, отдавать пареньку последние почести. Приехала из Узловой сестра Василия, матери в живых уже не было:

умерла рано, потеряв единственного сыночка. Людей было много: и свои, ильинские, и из соседних сёл, взрослые и школьники, из райвоенкомата, от руководства района. Механизаторы держались особнячком под уже пожелтевшей берёзой, а мы втроём сидели в стороне у ближайшего дома, на брёвнышке.

Подошёл директор школы, сказал:

– Ну что, ребята, скажем слово? Кто скажет? Подумайте.

Сидим, думаем: кому речь держать, ну не речь, а чтоб кратко и в самую точку. Лёва Котюков, кажется, и говорит:

– Вон Лёня скажет, Леонард. Он тут у нас бригадир, у него документы. И знаем, как он может сказать.

Виктор Дронников, у которого отец погиб на войне, в честь его он в числе своих двенадцати программных стихов читал всегда это: «Уже малы отцовские рубахи парням, рождённым в грохоте войны,»– согласился. А что? Два Льва: Лёва и Леонард, Виктор один, зато– победитель.

– Как победитель,– сказал он,– присоединяюсь к Льву.

– От имени всех же надо,– говорю я.– Мы тут все победители. Вон у Лёвы отец– боевой лётчик, живым вернулся с войны.

Кто-то прошёл мимо, щёлкнул фотоаппаратом. И зовут нас уже туда, к памятнику солдатам, к братской могиле, к цветам живым и венкам со всеми алыми лентами, исписанными теми, кто принёс их сюда. Вот уже дали из автоматов салют. Толпа сдвинулась и помертвела. Первой дали слово сестре, потом представителю из военкомата, потом ещё кому-то, а мне, как всегда бывает, последнему. И, как всегда, надо сказать, чтоб прохватило сердце человеческое. Господи! Аж мурашки по коже. Всегда спокоен, а тут не могу. Однако уже набросал строчки в уме. А каким ещё образом скажешь, чтоб кратко и всех взяло, прохватило, как не стихами? Сложились они у меня мгновенно. Как врезались в

память, ни за что не забудешь. Война –то какая– народная, своя для каждого села, для каждого человека и в то же время мировая, для всех.

Отвёл я в сторону микрофон: зачем он? У меня и так голос ничего себе, так скажу на всю эту сельскую местность. Подобрался весь, подтянулся и гордо читаю: рядовому Василию Елисееву.

Елисеевское поле

Пахали поле, выпахав останки
Солдата, погребённого войной.
Дрожали письма на руках крестьянских,
Полуистлели, сделались трухой.
Но имя его всё же сохранили,
Был Елисеев... восемнадцать лет...
На нём же рожь могучую косили,
В любви встречали не один рассвет.
Скорби же, Елисеевское поле!
Простреленная русская земля.
Не будь тебя, ещё какой бы доли
Хлебнули Елисейские поля.

Прочитал и – тишина. Грачи в небе над нами кричат, на юг собираются. Дождь заходит, вроде слезинки капнули. Небо такое со слезами на глазах. А сестра рядового Василия Елисеева приблизилась ко мне, прижалась плечом, так и стоит. А в воздухе ещё пахнет порохом от отстрелявшихся автоматов.Вот таким и запомнилось мне это село Ильинское. Памятное, литературное место, неподалёку тут от тургеневского Льгова. И мы втроём на брёвнышке перед салютом.

А через несколько дней из тульской Узловой позвонили к нам сюда, в Бюро пропаганды художественной литературы, и пригласили меня на городское торжественно –

траурное мероприятие, посвящённое памяти погибшего земляка– молодого солдата, рядового Василия Елисеева, тогда едва закончившего школу и не успевшего даже сфотографироваться на документы, а не то чтобы сыграть свадьбу. Так и ушёл он на войну и погиб поблизости от Узловой, тут у нас, на Орловщине.

Собрание проходило во Дворце города, в главном зале. Что запомнилось мне, так это то, что выступала школьная учительница, которая рассказывала не только об узловчанине– восемнадцатилетнем рядовом Василии Елисееве, но и об уже тогда известном, маститом писателе, тоже жителе Узловой, Владимире Чивилихине. Он только что издал книгу– роман –эссе «Память». Память! Вот что остаётся в нас, живых когда погибают солдаты. Память! Это не только арийцы которые пришли сюда к нам без спроса, чтобы нас убивать. Память! Это и мы издалёка– арии, но не арийцы. Те самые бессмертные арии, ведущие род свой от самой древней книги человечества «Авесты», которой, по сведениям учёных, 25 тысяч лет. Вот столько лет и будут держаться в памяти такие ушедшие от нас герои, которым было тогда, в 43 –м, всего восемнадцать.

Нет сейчас Бюро пропаганды художественной литературы при Орловской писательской организации, а память о нём существует в событиях, в лицах, в нас.

3 ноября 2013 года.

Нас было трое

(впечатления)

Нас было трое, три друга – товарища: Серёжа Пискунов — молодёжный лидер, комсомольский работник, я – очеркист в «Орловском комсомольце» и московский скульптор Валентин Чухаркин – автор скульптурной фигуры героя

–молодогвардейца Серёжи Тюленина, поставленной на его родине– корсаковской земле. Об этом я писал и публиковал всё в том же «Орловском комсомольце».

И вот собрались мы и отправились в туристическую поездку из Орла на Северо –Запад по интересным местам нашей Родины. Главное, стремились мы к Пушкину. Как это не побывать у Пушкина, на псковской земле– в Святогорском храме и в Михайловском? Ну и далее путь лежал у нас по Прибалтике, а потом через Питер в Москву. Распределились роли: Валька– водитель, его же автомобиль, палатка за ним и продукты питания; Серёжа– штурман, у него карта, путеводители, опыт, он уже проехал по этому пути, а моё дело– пиши, оформляй впечатления.

Первое яркое впечатление встретилось нам на Смоленщине. Помню, остановились мы перед шлагбаумом, а шлагбаум– перед мостом, а мост– через Днепр. Узкий он тут ещё, не то, что ниже в Киеве или Днепропетровске. Остановились мы перед шлагбаумом, а тут все вышли из машин, сбились в кучу, стоят перед распахнутой дверью.

– Чего стоим?– вышли и мы.

– Да вон,– кивают нам туда, за дверь.

Смотрим мы, а там телевизор работает, показывают «Семнадцать мгновений весны». Впервые передают сериал: как раз серия про радистку, как её в гестапо пытают. В самом деле, не оторвёшься. До сих пор интересно, хоть сериал этот, наверно, сто раз уже показывали. Вот такое было у нас первое дорожное впечатление. Можно было и дома, а не из автомобиля людям смотреть, да тут перед шлагбаумом, как футбол на стадионе, вместе куда интереснее.

Посмотрели мы на Штирлица, Шеленберга, Мюллера и всех остальных и поехали дальше. К вечеру ступили на псковскую землю, Пушкиным запахло. Солнце уже на закате, пора располагаться на ночёвку, готовить ужин, ставить палатку. Местечко нашли что надо. Называется посёлок

«Ариель», на дорожном знаке так обозначено. Ариель – человек между тем и этим миром…

Чудо как хорошо. На холме бивуак разбили, палатку поставили. Где-то внизочке крыши домов в садах, кони пасутся. И у нас яблоки над палаткой висят, август– месяц.

– Это Пушкин нам привет посылает,– говорю я.– Сам Александр Сергеевич.

Взошла луна. Полноликая. Как нарисованная. Из сказки о царе Салтане. С бровями и глазами зелёными, с тугой косой, свисающей с берёзы прямо на нас. Затеяли костерок, сварили супец. С дымком. Красота, вкуснота, вкуснотища.

Вот такая была у нас увертюра к симфонии. А сама симфония– пушкинские места– были ещё впереди. Храм Святогорский, возле которого Пушкин предан земле, вроде музыкальный театр. Оперы тут бы ставить; когда поют хоралы всякие, служат литургию, такой получается резонанс. Кирпич пустотелый, пустоты дают звуковой эффект.

– Куда, куда вы удалились?– попробовал я свой голос,

– Весны моей златые дни,– поддержал меня Серёжа, Валька стоял молча, не раскрывая рта. Зато потом, уже в Михайловском, где когда-то жил Пушкин с няней Ариной Родионовной, перед аллеей «Анны Керн» из вековых елей, он вдруг, приосанясь, начал читать:

– Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

– Анна Керн из Орла,– заметил я,– урождённая Полторацкая.

– Доску бы ей поставить в Орле, – поднял Серёжа еловую шишку у ног.– На доме, где она родилась.

Побывали в Тригорском. Видели издали речку Сороть. Врезалось всё это в меня навсегда. И дорога к соседям– в

большой помещичий дом, и заросшие тростником лепёшки холмов по болотине. Даже поднялись на один из них, оглядели с высоты девственные места, куда не ступала нога человека. Это водил нас всюду тут наш штурман Серёжа– родом сам из деревни, любил такие места. Маленькая лепёшка, а кажется, всю Россию видать. Оттуда, с тех времён и до нас сюда, на чём мы стояли, стоим и будем стоять.

Финал Пушкинской симфонии проходил у нас на другой вечер, но всё на той же пока ещё псковской земле, где мы остановились на ночёвку на старой мельнице, перед Псковско –Печорской лаврой. Речушка была небольшая, лесная, вода в ней тёмная, таинственная. А брёвна под ногами толстенные, тёсанные топором; глубоко внизу под нами гулко текущие воды. Палатку мы не стали ставить, а постелили постель под крышей прямо на брёвнах.

Вспомнилось опять-таки пушкинское: старый мельник. Воображался в опере он с бородой по пояс, что –то вроде Шаляпина.

– Что это ты, Лео, ничего не записываешь?– спросил Серёжа меня неожиданно.

– А зачем?– усмехнулся я.– Я и так всё помню.

– А он и тогда не записывал,– сказал Валентин,– когда открывали памятник Сергею Тюленину на его родине, на корсаковской земле.– Вот скажи, Лёня,– обратился он ко мне,– как зовут главного зоотехника совхоза, у которого дома мы отмечали открытие памятника?

– Глеб Леонтьевич Марциновский,– отчеканил я.

– Видал– миндал?– усмехнулся Валька.– Такое непривычное сочетание, а ведь помнит.

– Так ведь я писал об этом,– ответил я Валентину.– А что написано пером, то не вырубишь топором.

– Все очерки помнишь?

– Помню.

– Ну, брат, ты и даёшь. Не зря хлеб ешь.

– Я белый не ем,– сказал я.– Только чёрный.

– А –а –а!– крикнул я вниз под нами в глухой провал, в тёмные воды.

– А –а –а –а,– покатилось низом куда-то по речке.

– Мельник нам отвечает, кормилец,– заметил Серёжа.– Молол тут зерно на хлеб– и на чёрный, и на белый. Кому какой. Народ у нас разный, а Пушкин один.

– Ну давайте спать,– повернулся я на другой бок.– А то Вальке завтра опять за руль. Не то сбросит нас куда-нибудь в кювет, вот тогда запоём Арию Мельника... и из Дворжака, и из Римского-Корсакова... Братцы, всё, отключаемся...

С утра, когда день ещё впереди, всё кажется как-то веселее, жизнерадостнее. Серёже, нашему штурману, хотелось проложить путь к границе Псковщины, да и всей России, а Валентину вспомнилось услышанное им ещё студентом о своём институте имени Сурикова– не то правда, не то легенда о том, что где-то тут неподалёку, между двух холмов, находится Псковско –Печорская лавра. А в той лавре настоятелем служит выпускник их Суриковского института, живописец. Проверить бы, а? А не ехать мимо куда-то сразу к границе.

– Ну так об чём речь?– говорю я.– Друзья мои, едем, если женщина просит.

– Ты что?– насторожился Валька.– В своём уме?

– Имя– то какое у тебя,– говорю.– Двойное — мужское, и женское. Посылаю тебе «валентинку». Едем!

Красота –то какая! Да ещё и Русью пахнет. Два холма в зелени, между ними долина, а в долине храмы с золотыми куполами. Между холмами протянулась стена зубчатая, кремлёвская. И всё в свежих, жарких красках, так живописно. Ну, конечно, живописец настоятелем тут, художник, и проверять не надо, в самом деле, выпускник Суриковского института.

– Не жалеешь.,что заехали?– повернулся Валентин к Серёже с улыбкой.

– Да что там? Бесподобно,– улыбнулся Вальке Серёжа.– Только вот что? Где-то слыхал, в войну вроде монахи служили тут немцам.

– Скорее наоборот,– говоря я.– Нашим служили тут священнослужители. Пещеры тут есть глубокие, под храмами. Так в них они скрывали наших то ли разведчиков, то ли партизан. Одним словом, как могли, как умели, тайно воевали с врагом. За Русь святую стояли, неколебимую, вечную...

Поставили в сторонке автомобиль, подошли к главному входу в храм от площади. Было Преображенье, Яблочный Спас. Неудержимо народ втекал в распахнутые ворота храма Спасителя, на паперти которого сидели, прижавшись одна к другой, старушки божьи одуванчики. Завидев нас ещё издали, иные начали плеваться, иные протягивать руки и кланялись в пояс. Серёжа положил перед ними монетки, Валентин, пошарив у себя по карманам, не нашёл ничего, зато я нашёл какую –то купюру, и старушка встала и поклонилась всем троим в пояс.

Из главного храма мы перешли туда, к самой лавре. Храмы за храмами, золочёные купола. Странно было чувствовать, что где-то под нами находятся эти «печоры»– пещеры с мощами, в которых могут иной раз скрываться живые. Слева в уголочке, в тени огромных деревьев, стояла старинная карета. Прочитали табличку: «18 –й век. Карета российской императрицы».

– Интересно, и сколько в неё лошадей впрягали?– кивнул на карету Серёжа.– А у тебя в автомобиле, Валентин, сколько лошадиных сил? Во сколько раз их больше в карете твоей, император?

– Цугом тогда запрягали, одного коня за другим,– усмехнулся Валька.– И штурман ехал тогда не в самой

карете, а впереди на козлах.

Последним нашим пунктом после Печор был Изборск, почти у самой границы с Прибалтикой. Круглая такая крепость. Она стояла на дороге и не пускала во глубину Руси рыцарей Тевтонского ордена, извечно стремящегося на Восток. А мы после Изборска покатили на Запад. Перед нами была Прибалтика. И в первую очередь Рига.

Самое яркое впечатление от неё было даже не в том, что автомобильные гонки проходили под городом мимо кладбища с аккуратными, низко стрижеными газонами. А то, что в музее истории Риги обозначен был такой небезынтересный факт. Оказывается, в городском совете из тридцати его членов двадцать семь были немцы и только три местные.

– Ничего себе, демократия,– усмехнулся Серёжа.

– Зато уже тогда у них был Совет,– сказал Валентин.

– Ну, и что ты скажешь на то, Леонард?

Ничего на это я не сказал, а просто прочитал такие стихи:

– Изборская крепость
На западной точки Руси.
Ну, камень, ну репа!
Кто пробовал– не откусил.

Но ещё интереснее от Риги осталось такое впечатление. Остановились мы где-то в центре, спрашиваем одного прохожего, второго, третьего: как проехать на такую –то улицу, чтобы после попасть на Юрмалу –Рижское взморье? Или молча проходят, или пожимают плечами.

– Что они русского языка не понимают?– удивился Валентин.– Русский язык– наука китайская?

– Да ты что!– пожал плечами Серёжа и повернул нас через два шага за угол на другую улицу.

На табличке углового дома значилось то, что нужно, та самая улица, ведущая к месту через Западную Двину– на Юрмалу, Рижское взморье.

И вот мы на море. На пляже. Длинный, длинный пляж, мягкий– мягкий песок, мелкое– мелкое море. Зашли мы бог знает куда– и всё по грудь тебе, хоть иди пешком в эту самую Швецию. Тёмная тучка возникла на горизонте. Ребята сразу смотались на берег, а я стою, рот разинул, ловлю впечатления. Интересно всё –таки, как это быстро растёт, приближается к нам сюда эта тучка. И вдруг как врежет дождь! И снег сразу откуда-то взялся, град с голубиное яйцо. Я метнулся к берегу по пояс в воде, а град уже с куриное яйцо. Я босиком, голяком по пляжу к машине, а ребята уже накатили рюмку и протягивают мне и давай растирать меня всего полотенцем. Докрасна, до успокоения нервов... Без закуски, конечно, закусили потом... А ведь был, представьте себе, ещё август! Такое-то преображение, вчера был всего –то Яблочный Спас.

Едем от Юрмалы берегом моря. На Восток, на Восток. Вот мы и в другую страну переехали, вернее, в другую республику. По Эстонии едем.

– И как ты догадался?– спросил я Валентина.

– Как?– вместо него ответил Серёжа, наш штурман.– Смотри, какая дорога пошла– всё хуже и хуже.

– Приют убогого чухонца,– попытался отреагировать я.

Проехали небольшой портовый город Пярну, проследовали мимо рыбацких шхун. Оказались где-то за городом, на краю соснового бора. Всё песок да песок, всё пляж да пляж, уходящий далеко в море. Только тут он в зарослях весь, даже в кустарниках. И берег сочится, даже ключ бьёт, тропинка ведёт к ключу. А между соснами столик, кострище. Место, где туристы разбивают палатку.

– Не больно –то отличается от Юрмалы.– сказал Валентин.

– Балтийское море — мелковатое море,– заметил я.– В войну были тут, конечно, подводные лодки, но «щуки», маленькие такие. Однако тоже топили большие суда.

– В перспективе Балтийское море исчезнет,– выразился Серёжа.– Земная плита поднимается, подлезет под Скандинавию, вытеснит воду.

А вода в ключе была замечательная. Пресная почему – то, хотя море было тут рядом, в нескольких шагах от ключа. Вскипятили чайник, сидели за туристическим столом и пили чай с пребольшим удовольствием. А сосны шумели над головой и сыпали прямо в чайник нам вместо заварки длинющие хвойные иголки. Тут, наверное, как и везде по балтийскому берегу, копни поглубже– достанешь до клада, раскопаешь золотистый, прямо –таки солнечный камень янтарь.

Провели времечко мы у костра хорошо. На другой вечер были уже в другой, совсем не похожей на эту, в материковой Эстонии. Наконец, оторвались от моря, ушли подальше от него. И тут обнаружилась совершенно другая картина. Камни –валуны. Между ними куртины полей, а между куртинами, отделёнными друг от друга камнями, как бы это назвать, небольшие «фольварки»– хуторки.

Мы выбрали огромный гранитный камень и приютились под ним. Разожгли костерок. Вскипятили, как всегда, чайник. Выпили за завершение пути. Что там Эстония– камнем перешвырнуть. Скоро Россия, Русь– матушка, Питер...

Сидели от ветерка за гранитным камнем, за валуном, и тихо, тихо вели беседу. О своей малой родине, о центральной России, Руси Серединной.

Вот Чухаркин и говорит:

– Меня занимает всё больше военная тема. Как раз по местам боёв Центрального фронта ставили памятники солдатам. Ну и я к этому подключился. Изучать стал вопрос во всех отношениях... Ну вот это место меня особо интересовало, этот участок... Золотухино, Поныри, Малоархангельск...

Недаром Жуков туда приезжал для организации помощи Центральному фронту. Оказать давление с севера, чтобы немцы не очень –то напирали под Орловским выступом на Рокоссовского.

– Ух, какой ты стратег,– покачал головой Серёга.– Тебя хоть в штаб Рокоссовского.

– Там и так хорошо справлялся генерал –лейтенант Малинин,– парирую я иронию Сергея Пискунова.

– Ну, а ты, Валентин, что скажешь на это?– обратился Серёжа к Чухаркину.

– Ничего,– ответил ему односложно Чухаркин.– Кроме того, что, когда я работал над скульптурной группой на станции Золотухино, заметил одну особенность. На плитах помногу одинаковых фамилий из одной деревни или села. Всю деревню, выходит, выкосили... Больше всего мне понравилась работа во Вторых Понырях– старый солдат с автоматом. Или молодых уже нет, все погибли? Или уже даже старые пошли защищать свою деревню, свой дом, свой край... Видел, Лёня, эту работу?

– Видел,– говорю.– Хотел сделать фото, а он так высоко, не видать лица солдата... Мне очень понравилась скульптура у деревни Васильевки. Солдат в плащ –палатке, развевающейся за спиной, в руке– автомат. Я так и назвал его: Крылатый солдат. И даже стихи написал, подобрал под них музыку. Вернее, так скажу: слова Леонарда Золотарёва на музыку Михаила Ножкина.

Крылатый солдат

Мы слишком долго, слишком долго отступали.
Аж от границы пятились сюда.
И вот мы дома тут, мы дома тут, мы встали,
Мы– серединные, мы были тут всегда.
Малоархангельск– Малый городок.
Жестокий фронт, но мама рядом, близко.
Дай на побывку пустят на часок,
Прильну к груди и– снова в зону риска.
Курган в степи, курган в степи. Гробы и доски.
И нам туда, и нам туда в расцвете лет.

А был ведь хуторок тут, Рокоссовский.
Тут люди жили, а теперь их нет.
Я завтра под Сабурово намечен,
А послезавтра лягу под Панской.
Не бойся, мама, я бессмертен, вечен
В кровавой сатанелости людской.
Запомнюсь я, запомнюсь я, как щит и меч.
Наверно, скажут: был парнишка честный.
А я такой, а я такой,– об чём там речь?–
Так и останусь, мама, неизвестный.
Я в плащ –палатке на крылах взлетаю
Под облака, под самую грозу.
Дай до Берлина после смерти прошагаю,
На пузе до Победы проползу.
Малоархангельск– малый городок.
Мы же свои, святая Русь, святая.
Как что давать, так чуточку, чуток.
Как погибать, так братских тут хватает.
Запомнюсь я, запомнюсь я, как щит и меч.
Наверно, скажут, был парнишка честный.
А я такой, а я такой,– об чём там речь?
Так и останусь, мама, неизвестный.
Один полёт, один полёт, одна семья.
Наверно, скажут, был парнишка честный.
Ах,мама, мамочка, да что там ты и я?
Да весь наш фронт, Центральный фронт,
Центральный фронт, Центральный фронт
Останется тут примечательностью местной.

Посидели так, подумали, услышали в себе отголоски прошедшей войны. Приняли ещё по рюмашке за павших когда-то солдат. Тряхнули головой, жизнь есть жизнь. Поднялись, раздухарились, взбегались вокруг костра. Начали колотить в пустые кастрюли, гоняться друг за другом вокруг этого огромного валуна. Запели песни, стали орать во всю

глотку, беситься оттого, что завтра уже будем смотреть на Исаакиевский собор, увидим Петра на коне.

– Мы в бой поедем на тачанке

И пулемёт с собой возьмём!

Окошко в хуторке, горевшее дотоле спокойно, замигало, замигало во тьме и погасло.

– Услышали нас, испугались,– сбавил голосу Валентин, совсем успокоясь.– Людей в хуторке пугаем.

– Приют убогого чухонца,– перебил я Серёжу.– Отбой, ребята! Давайте стелить тюфяки.

– Прямо на земле? На камне, пока он ещё тёплый от костра.

– И от солнца.

Валентин зашвырнул куда подальше изуродованную кастрюлю. Завтра будем обедать в Питере.

И ещё одно впечатление. На самом выезде из Эстонии оказались два города через речку: Капорье– по эту сторону и Иван –город –по ту. Надо же, как слились Эстония и Россия...

– А может быть, разделились?– заметил Серёжа.

Переехали речку Нарву, попали на питерский берег. И запели мы бодро, переехав на берег России:

– Три танкиста, три весёлых друга,

Экипаж машины боевой.

Дальше, после Питера, конечно, целью нашей поездки была Москва.

10 ноября 2013 года.

Тагино

В другой раз всё так же втроём: Серёжа Пискунов, Валька Чухаркин и я,– ехали мы все на той же машине тут у нас по Орловщине,– в глазуновском Тагино. Валентин вёз в колхоз имени Чапаева бюст Чапаева, а мы с Серёжей были

как бы в охране бюста народного героя, выколоченного, как говорят в скульптурных кругах, в меди. Серёжа, как всегда, впереди с Валентином, а я, как всегда, на заднем сиденье, поближе к Чапаеву в багажнике.

От Глазуновки повернули направо, всё едем и едем. А я где-то близко тут к Лескову в Старом Горохово, помню, всё иду и иду. Рассказываю об этом. Серёжа улыбнулся мне и говорит, как Ильич:

– Верной дорогой идёшь, товарищ.

С теми словами и приехали мы в Тагино. Вместо Ленина, как, бывало, везде в населённых пунктах, даже в монастырском селе Свобода и то во дворе школы стоит бюст Ильича, мы привезли в Тагино Чапаева. Не анекдот про Чапаева, а серьёзно, замечательная работа. И поставили её потом, на пьедестале в ёлках, у правления колхоза, около средней школы. Для воспитания у детей патриотических чувств. Ещё бы! Тагино сыграло не последнюю роль в Отечественной войне, конкретнее, в сражении на Орловско –Курской дуге, а ещё конкретнее, тут на Центральном фронте под командованием Рокоссовского. Именно тут где-то, в окрестностях Тагино, на холмах, где когда-то после гражданской войны обретались бандиты Жердов и Корытин, наши разведчики взяли в качестве «языка» немецкого фельдфебеля, который указал час вражеского наступления 5 июля 1943 года. И это сыграло в стратегии нашей обороны решающую роль.

– Сапёра взяли в плен,– уточняет Серёжа,– и не фельдфебеля немецкого, а итальянца.

– Бенито Мусоллини?– смеюсь я, глядя, Серёже прямо в глаза.

– Да нет, Фернелло Бруно. Всерьёз, итальянец. Были, значит, тут у них и итальянцы.

– Как мы любим, итальянцы, увлекательные танцы,– всё ещё иронизирую я по поводу взятия в плен итальянца.

– Фернелло этот,– не обращая внимания на меня, говорит Серёжа,– дал показания. Вот что сказал: «Солдатам

выдали паёк на пять дней. Следующий будете получать в Курске».

– Ну –ну,– не успокаиваюсь я, слушая это как анекдот в присутствии самого Чапаева.

– Да нет же, нет!– говорит Серёжа.– Серьёзно. Самое главное Фернелло Бруно сказал: «Наступление начинается на рассвете 5 июля. Перед солдатами прочитали приказ Гитлера о наступлении».

– Вот что, братишки,– обращается к нам с Валентином Серёжа,– в своей книге «Солдатский долг» Рокоссовский потом напишет, дословно цитирую:

«Верить или не верить показаниям пленных? Если они говорят правду, надо было уже начинать артиллерийскую контрподготовку. Времени на запрос Ставки не было. Обстановка складывалась так, что промедление могло привести к тяжким последствиям. Присутствовавший при этом Г.К.Жуков, который прибыл к нам накануне вечером, доверил решение этого вопроса мне...»

– Ну, и что на это скажешь ты, Лёня?– повернулся ко мне Валентин.– Как цитату прокомментируешь?

– Да что её комментировать –то?– говорю я.– Как белым днём ясно. Кого запрашивать в Ставке, когда рядом заместитель Верховного Главнокомандующего Жуков. Они с Рокоссовским как раз к генералу Пухову прибыли.

– Ставке сообщают, чтобы известно было,– говорит Серёжа,– самому Верховному. Ну, и начальнику Генштаба Василевскому, а он тут, на дуге, представителем Ставки на Воронежском фронте.

– Что с того,– говорю — что Жуков тут был? Всё равно оставил решение за Рокоссовским, а сам уехал на Западный фронт, в район Калуги. Поближе к Москве, значит, на наиболее важный участок.

Один полёт, один полёт, одна семья…

Наверно, скажут, был солдатик честный.

Ах, мама, мамочка! Да что там ты и я?
Да весь наш фронт, Центральный фронт,
Центральный фронт, Центральный фронт
Останется тут примечательностью местной.

– Как это?– вздохнул Валентин.– Фронт Центральный и с примечательностью местной?

– Да так,– ответил я.– Всё про Прохоровку да про Прохоровку... Конечно, Прохоровка– героическое поле страны. А тут что, где Сабурово?

– Это Слава Клыков поставил часовню там,– сказал Валентин.– Есть на что посмотреть, на кого помолиться.

– А твои, Валентин, солдаты: группа солдат в Золотухино и в центре Белгорода?– говорю я, глядя другу в глаза.– Дело разве в тебе как в авторе, дело ведь в них...

Тем и закончилась эта встреча нас троих тогда в Тагино. Кто знал, что она будет последней? Успели всё же мы сняться на фото. И их теперь нет, а я всё помню и всё смотрю на них, всё говорю им, что слышал и знал. Серёжа с Валентином ушли из жизни в разные годы, а Валентин Чухаркин со Славой Клыковым, кажется, в один. Как и тот достоверный факт, что они вдвоём из одного посёлка– из курских Мармыжей. Как и то, что у них есть известные работы и тут, на Курской земле, и на земле Орловской, в самом Орле (памятник Бунину Клыкова и «Алёша» Чухаркина).

* * *

В Тагино я оказался уже один, без Серёжи и Валентина, когда готовил книгу о Малоархангельске «Глубинка русская моя». Помню, обошёл я со своим фотоаппаратом округу эту всю в памятниках солдатам. Вот оно– Тагино, вот он– Чапаев в ёлках работы Валентина Чухаркина. Вот она– средняя школа. На её пороге меня встретили Минакова Раиса Николаевна– библиотекарь и Булгаков Иван Борисович– учитель труда. Они повели меня по школе, рассказывая о ре-

бятишках которые были на каникулах, об истории своего тагинского околотка. Синяя кофточка в белую полоску Раисы Николаевны мелькала среди зелени цветов, стоящих на полу в нижней рекреации, они вынесены были сюда со всех кабинетов и классов.

– Да вот поливаем с Иваном Борисовичем,– поглаживали они фикусы и рододендроны, герани и китайские розы, плотно жавшиеся друг к другу.– Трудимся тут, пока все в отпуске, на каникулах. Грибы по перелескам пошли, ходят все теперь по грибы, а мы тут сидим, цветы караулим.

– Какие грибы –то?– живо интересуюсь я.– Я ведь тоже грибник. Может, приеду сюда к вам, пройтись по вашим местам.

– Всякие есть,– вступает в разговор Иван Борисович.

Оказывается, он тоже грибник.

– У нас в Рязани грибы с глазами,– кладу руку я ему на плечо.– Их едять, а они глядять... Третья охота, да? Вот не помню, в «Записках охотника» у Тургенева есть что –нибудь про грибы? Или классик охотился только с ружьём?

– У нас тут, в наших местах,– улыбается Раиса Николаевна,– охота бывала не только с фоторужьём, но и с пулемётами, пушками.

– Когда же это ?– удивляюсь я такому переходу с мирной фазы на военную тему.– В Отечественную, что ли?

– А то когда же,– говорит Раиса Николаевна.– Хотите, покажу вам блиндаж Рокоссовского? Был он тут у нас летом в сорок третьем году. Вон на том холме и взяла в плен наша разведка немецкого фельдфебеля...

– Говорят, итальянца какого –то,– не терпится и мне ввернуть своё словцо.– Сапёра Фернелло Бруно.

– Джордано Бруно?– смеётся Иван Борисович.– Этот – то зачем тут у нас оказался?

– Чтобы дать нам важные показания.

– Мы детей своих водим по всей округе, чтобы знали историю своего края, своей малой родины,– говорит Раиса Николаевна.– А то про Бруно будем знать, а про то, что наш великий писатель– земляк родился тут у нас, в нашей округе, будет до фени нам. Дети, пока в школе учатся, как губка, впитывают всё на всю жизнь. Мы в том году с ними в Старое Горохово, к Лескову ходили.

– Что– пешком, далеко тут от вас?– спрашиваю я её, любопытство меня разобрало.

– Да есть какое –то расстояние. Подальше, чем до блиндажа Рокоссовского в Курской области...

И она стала рассказывать, как надо идти и идти. То лесочком, то полем, то берегом Оки. Бери палатку с собой и кастрюлю для супа, побольше хлеба – поменьше конфет и айда к Лескову в Старое Горохово. Вот и будешь потом с ещё большим удовольствием читать про его Левшу, подковавшего аглицкую блоху. И, конечно, про нашего Рокоссовского, про его встречу там, на Эльбе, с командующим 21 –й армейской группы войск британским фельдмаршалом Бернардом Монтгомери в победном 1945 году.

– А Чапаева, – говорю, – как вы думаете, надо помнить? Друзей моих скульптора Валентина Чухаркина, Серёжу Пискунова? Мы Чапаева с ними сюда привезли.

– Вы –то? – улыбнулась из –под ресниц Раиса Николаевна.– Вы –то всегда у нас перед глазами вместе с Чапаевым.

– Чапаев есть Чапаев, – смеётся Иван Борисович.– И это очень серьёзно.

– И опять нас трое, – говорю. – Вы, Раиса Николаевна с Иваном Борисовичем и я... Чапаев, Рокоссовский и кто ещё третий?

– Нет, что вы? – находит она самое крупное яблоко на подоконнике и дарит мне. – Жизнь– вот кто третий, кто был тогда тут у нас... Скажем так:

– Тагино – это Пушкин со своим «Посланием в Сибирь», это Лесков тут неподалёку. Ну и кто ещё третий? Спросите Чапаева, он вам и скажет.

18 августа 2013года.

Пятый океан

Каждый раз, когда я проезжаю рейсовым автобусом в Орёл и из Орла в свой Малоархангельск, я поневоле обращаю внимание на столбик у дороги с вывеской: «Елизаветино» (0,5км). А ведь это было когда-то «Кокорево». И если ныне Елизаветино известно своим мемориалом, братской могилой, в которой захоронены многие погибшие летом 43 – го рядом тут, на Сабуровском поле, то мне этот посёлок более привычен как Кокоревка! И тот край дубовой рощи Мурашиха, куда я любил, бывало, бегать за грибами, назывался кокоревским. Главное, тут жил мой школьный товарищ, с которым я учился до седьмого класса, пока он не уехал куда-то, а вернулся авиационным техником. Я встретил его в Орле на аэродроме за Наугоркой, где в то время базировалась малая авиация. В районы летали пассажирские «кукурузники», санитарные самолёты, да ещё такие, как я, командировочные добирались в отдалённые уголки области.

То, что Миша Гусев рассказал, показалось мне интересным. Всё же первым из малоархангельцев он побывал на другом континенте, да ещё в Африке, известной по Хемингуэю («Зелёные холмы Африки») и по Корнею Ивановичу Чуковскому с его книжкой про Бармалея.

* * *

Мишка лежал под яблоней, задрав голову в небо. В синем бездонии стояли кисейно –перистые облака, в кото-

рых угадывались то горы, то зубчатые замки, то длинная борода Черномора. И Мишка хватался за волшебную бороду, и она несла его над землёй, мягко покачивая на воздушных потоках, и замирало в сладкой истоме мальчишечье сердце, и гнало по телу дикую радость от ощущенья полёта в эфире без руля, без ветрил.

Рядом упало яблоко — Мишка очнулся, отложил «физику» в сторону. Кажется, такое вот яблоко помогло Ньютону открыть закон тяготения Земли? Право, как жаль, что старик не додумался до закона тяготения в небо. Старик был слишком занят Землёй. А Мишке хотелось крыльев, хотелось в лётчики.

«А МИШКА НАШ ПАШЕТ НЕБО...»

Мишка молча бросил в фанерный чемоданишко пару чистых рубах, да сапожную щётку, да подовый ситник в полотенце с бордовыми петухами и, потоптавшись на милой сердцу деревенской околице, запылил по дороге на станцию.

На станции поджидал Мишку школьный «корешок» Аркашка Руссиян. И вот колёса весёлого поезда мчат друзей по России. А навстречу голубое и зелёное, зелёное и голубое. Ах, Россия, Россия, высекают из сердца песню твои километры. Ах, колеса, колеса, что за песню вызывают они.

Любимая, знакомая,
Широкая, зелёная.
Земля родная — родина...

Мишка прилип к окнам вагона. Небо небом, а всё – таки как чертовски красива земля. И с жаром подпевает дружку чернявый Аркашка, кавказская кровь: «И нет версты такой. Посёлка или города, Чтоб был тебе чужой.» Летит, летит поезд. Сутки, другие. У –ух ты, куда заехали — казахстанские степи!.

Училище не готовило лётчиков, дружки стали самолётными техниками—людьми той профессии, о которой в шутку говорили сами курсанты, что она «как раз посерёдке

между землёй и небом». И Мишка тужил недолго — техник так техник, тем лучше. Он любил и небо, и землю и не знал порой, что берёт в душе его верх. Крестьянская тяга к земле шла от поколений, была в нём, наверно, в крови. А небо... Небо рождало совсем новые чувства.

После учёбы снова весёлый поезд. Колёса разматывали километры в обратном порядке.

– До встречи, Аркашка, на аэродромах страны.

– До встречи, Мишка.

Аэродром в Быково. Потом поближе к своим старикам. Мишка слал домой розовые конверты: «Работаю в авиации спецприменений, удобряем с неба поля, хлеба помогаем выращивать...»

А в деревне уже ходили по дворам добрые слухи: «Мишка –то Гусев, ишь, пострелёнок, пашет самолётами небо. Не опорочил своей хлеборобской фамилии». И первому кланялись старому Гусеву мужички, и заходил в хату сам председатель, допытывался, как ему свидеться с Мишкой: «Как –никак свой человек в авиации. Доподлинно расскажет про новое дело».

А Мишка пропадал на задании где-то под Лнвнами. Готовил в полёты свой самолёт, бороздил иногда вместе с лётчиком Монаховым над подталыми от ярого весеннего солнца полями и весьма удивился, когда его вызвали к телефону, сказали:

— Гусев, доверяем тебе ехать в Гвинею, — будете опылять там бананы...

Мишка подумал: «Первоапрельская шутка. Шутит братва». Но нет, голос Иванова — сомнений не было:

— Так как же, товарищ Гусев?

— Есть, командир, в Африку! Поможем гвинейским крестьянам.

АФРИКА ИМЕЕТ ФОРМУ СЕРДЦА

Серебристый воздушный лайнер нёс их над пепельно – серой Атлантикой. Солнце едва угадывалось на горизонте. Оно появилось внезапно, выпрыгнув словно футбольный мяч, и раздробилось в волнах на тысячи мелких осколков. Заломило глаза. Мишка прищурился, кивнул на иллюминатор Юрке Татаринову:

— Маракотова бездна. Погребённая Атлантида.

Океан уже сделался синим. Справа, насколько хватало взгляда, мощная его синева, с белыми шнурами прибоя, переходила в голубоватую мягкость неба. И спорили в красоте величий два океана, два исполина— вода и воздух. А слева разбивала нх спор жёлтая полоска земли — чёрная Африка.

Земля... Ещё звенит в ушах праздничная разноголосица парижского аэродрома Орли, где распрощались с «ТУ –104», последней нашей «территорией». Перезваниваются в душе Кремлёвские куранты, и где-то далеко –далеко голос Кати – Катюши, трёхлетнего сына Серёжки...

Сильнее завыли двигатели — самолёт пошёл на посадку.

— Конакри!

И сразу словно окунулись в парную. Стояли в своих пальто н шапках, оглядывая диковинный мир: голые чёрные ноги, чёрные лица, ослепительные улыбки, — и сгорали от нестерпимой жары и влажности.

— Приберём, братцы, свои заячьи малахайчнкн,— попытался кисло шутить Михаил. — Переходим на обслуживание носовыми платками. — И первый положил себе на голову в синюю клетку платок, купленный в Орле на площади Театральной.

Толпа шевельнулась. Отделился парнишка, пулей взлетел по гладкому стволу кокосовой пальмы к густому вееру листьев.

Потом говорили речи. Мишка едва улавливал взволнованные слова переводчика о том, что гвинейцы наконец до-

бились свободы, но те, что господствовали здесь, хотят задушить молодую республику: вывозят свои капиталы, уходят специалисты, авиакомпании отказываются опрыскивать бананы и ананасы...

— Спасибо, друзья из Москвы, за помощь в такую минуту. — Вождь поднимает вверх правую руку, и крики радости раздаются в толпе африканцев. — Мы принимаем вас горячо, но пусть от этого вам, жителям Севера, будет прохладнее в нашей жаркой стране. Спасибо...

А в толпе снова движение. Выталкивают вперёд парнишку — того, что лазал на пальму. Он подносит каждому из команды лапчатые листья — гулливеровскне, диковинные.

— Надевайте, — показывает. — кладите от солнца на голову.

Гудит –гудит океан. Свежий ветер пахнет рыбой и солью, в порту швартуются корабли.

— А там что? — спрашивает Мишка бойкого чёрного гида, показывая на остров, темнеющий у входа в бухту.

— Янки, — мрачнеет парень. — Железная руда. Рудники.

— Так, — кивает зелёной «шляпой» Мишка.— Эксплуатируют, значит? Понятно.

На другой день ребята едут железной дорогой в Киндию — город в самом сердце страны. А в том, что у Гвинеи горячее сердце, Михаил убедился, как только приехал.

Их разместили в небольшом светлом домике возле хижин с островерхими тростниковыми крышами. Вместо стёкол — деревянные жалюзи, чтобы в комнате вовсе не задохнуться без воздуха. Зато сквозь решётки проникали по ночам гнусы — москиты, от которых не было спасу даже под мелкой сеткой. Мишка лежал на простыне — мокрый от пота, разбитый, с опаской прислушиваясь, как рядом, в совсем натуральных джунглях, ревели дикие звери. Вспоминал, что и

где когда-то читал о суровом «законе джунглей» — праве сильного в жестокости жизни. Только человеческой жизнью здесь правил сейчас новый закон — закон щедрости сердца и гуманизма. Ребята узнали об этом в первую же неделю.

К вечеру после работы возле светлого домика собираются весёлые африканцы. Палят пирамиды костров и на фоне огня и ночи, положив руки друг другу на плечи, выплясывают танцы счастья и радости под бодрящую дробь барабанов и глуховатые звуки долблёных деревянных колод.

Русские показываются в дверях.

— Это для вас. — объясняет жестами уже знакомый парень Селя.

Селя — шофёр, по утрам он возит русских на аэродром, а вечерами привозит обратно. Селя — бывалый парень, он воевал во Вьетнаме, когда Гвинея была колонией, и всегда ненавидел тех, кто заставил его воевать.Но русских он уважает, русские совсем не такие. Селя уже любит Мишку, Мишка любит Селя. У Мишки глаза, полные голубого африканского неба. Селя впервые видит такие глаза. Он хочет сказать, что в этом русском ему нравится всё: и улыбка, и промасленные рабочие руки; у всех русских такие вот руки.

Селя суетится, напрягается и, не находя слов, бросается на помощь к Юрке Татаринову. Мишка выручает из затруднения парня.

—Африка имеет форму сердца, — читает он африканцу строки из книжки стихов, которую привёз с собой из России, и показывает на танцующих, на своё сердце, на сердце Селя.

— Ол –ля –ля! — вскипает Селя в новом восторге.

А наутро машина Селя, как и вчера, сигналит пол окнами и везёт ребят на карликовый аэродром среди джунглей, к самолётам.

Самолётам сегодня плохо: жгучее солнце и частые ливни растрескали и доконали обшивку. Вся команда брошена на ремонт, спешно меняется всё, что пришло в негодность,— надо успеть к сезону работ, когда наступит затяжной просвет между ливнями. Слепит и жжёт африканское солнце, всё пылает внутри у Мишки, кровь ходит толчками, кажется, вот-вот она закипит и выплеснется, как молоко из кастрюли на жарком огне, но работать надо, надо успеть. Помогают гвинейцы.

— Оля – –ля! — вместе с Селя и всей его чернокожей компанией радуются ребята, когда заканчивают очередную машину.

И вот экипажи в небе.

Плывут самолёты над крутолобыми скалами, гигантскими клыками торчащими прямо из джунглей, над пестротой плантаций, ютящихся в пойме Нигера, над с трудом отвоёванной у джунглей землёй. Ложатся сизоватые шлейфы на краснозём — на бананы, ананасы. А крестьянские поля и в ладошку, и в две. и в четыре.

— Аж в глазах рябит.— говорят за ужином лётчики. — Не то, что в России у нас...

Вечером крестьяне принесли в благодарность кокосовые орехи. А наутро ангина свалила второго пилота в экипаже Дубинина.

— Угораздило же тебя. — сердился у постели больного Дубинин. — Заболеть ангиной и где — в Африке... Нет, ты Игорь Ильинский,ты... Чарли Чаплин. Смеёшься, да?

Анатолию было, увы, не до смеха. Он лежал в сильном жару, глядя виновато на всех, не в силах оторвать чугунной головы от подушки.

— Что будем делать? — собрал командир группы ребят на совет. — Без второго пилота нельзя и простаивать нельзя...

Мишка сидел вне себя от волнения. Нет, он не бросил мечтать о небе после училища. Он приглядывался всё это время к самолётным приборам, к действиям лётчиков; иногда, готовя машину к вылету, взбирался на кожаное сиденье, мысленно повторял движения пилота.

«Ну, смелее, смелее. Мишка! Ну, кто ещё вместе стобой знает, что где-то там, внизу, прорубаются сквозь первозданные заросли, пробиваются через многоводные реки поисковые партии студентов –геологов, парней из Московского университета. Ищут золото, бокситы, алмазы во имя дружбы и солидарности, во имя будущего этой страны».

Горячая волна любви к ребятам, которым там действительно трудно, наплывает в Мишкину душу, и, перемежая тёплые слова песни со своими словами, покачивает он над джунглям послушными крыльями: «Привет вам, ребята, — и, развернувшись, самолёт снова тянет за собой сизоватый шлейф вдоль лоскутной поймы Нигера...

А вчера выздоровел Анатолий. А через неделю он да Мишка, да ещё Юрка Татаринов поехали в Конакри встречать прилетающих из Союза «милых своих жёнушек». Теперь Мишка семейный. Но почему –то всё чаше, всё больнее вспоминается Москва и Россия, ещё нетерпеливее они теперь уже вместе с Катюшей ждут самолёты и пароходы с родины, ловят каждую весточку с милого Севера — что там дома, как там Серёжка?

Время тянется медленней, чем всегда. На днях из Конакри привезли газеты и письма ,и синие банки сгущёного молока.

— Посёлок Верховье, — удивлённо прочитала на этикетке Катюша и побежала к ребятам: — Смотрите, смотрите — земляк объявился!

К Октябрьской Катюша приготовила из сгущёнки ряженку. Чудную ряженку — настоящую, русскую. Всей ко-

мандой пришли пить её к Гусевым, всей командой хвалили хозяйку.

А праздник встречали в Советском посольстве. По московскому времени. Включили приёмник, искали Красную площадь. Забивала всё «би –би –си»—чужая речь, жёваные слова... И вдруг сквозь метель и пургу эфира такое родное — Москва, голос Левитана:

—Двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами!

И стояли, задохнувшись от гордости, россияне, маленькая частичка великой державы.

Поднимали тосты со своей, русской «столичной» — за каждую улицу в далёком Орле, за каждый дом, за всех в нём живуших, за каждую липку в парке над ясноокой Окой.

На десерт подавали бананы и ананасы, кто-то по этому случаю разразился целой тирадой:

— Ешь ананасы, рябчиков жуй...

И ели ананасы не какие –нибудь буржуи, фабриканты Путиловы, а простые русские парни. Пели тягучие русские песни, пели любимую его «Катюшу». А Мишка не слышал, не пел, он думал, он хотел сейчас лишь одного — поскорее вернуться к себе на Орловшину, подбросить над головой своего Серёжку, припасть к ледяному ключу под дуплистой ветлой.

А вскоре всю команду отправляли домой, в Москву.

На аэродроме толпа провожающих. Но сегодня сдержанны африканцы — жаль расставаться с друзьями. Подходит притихший Селя, показывает широким жестом на собравшихся, на своё сердце, на сердце Михаила.

— Африка имеет форму сердца?

— Ол –ля –ля! — грустно улыбается Селя и, смешивая языки, выговаривает вместе с французским полурусское слово:

– Оревуар, Мишелька.

– Прощай, друг Селя.

А в России трещали морозы.

— Доставайте, братцы, свои заячьи малахайчики,— шутил Михаил, сходя с ребятами по трапу с «ИЛа» на московскую землю.

Заметала позёмка, жгло шёки. Ну да что там пурга и морозы, когда горит само сердце, когда греет каждый камень на родимой земле. Он с Дубининым сможет повести самолёт. А бездельничать— неудобно перед крестьянами, перед Африкой, стыдно на всю Россию. Что –то большое и сильное разгибает изнутри Михаила, поднимает его над столом:

— Можно мне, командир?

И вот светлокрылая птица над лоскутным одеялом плантаций. Проседает на воздушных «ямах». Но никакая болтанка не выведет из равновесия Мишку. Всего сто метров до вершин высоченных деревьев, а кажется, унесся он в такую подзвёздную высь, что протяни только руку, дотянешься до первой вечерней звезды, похожей на золотую ранетку в отцовском саду. Если бы не мотор. Мишка слышал бы, как свистит в элеронах ветер, как поёт пятый океан свою вечную песню без слов. И слова у Мишки находятся сами:

Под крылом самолёта
О чём –то поёт зелёное море...

Зелёное море... Ни привычных брянских лесов, ни даже сибирской тайги, ни диких африканских джунглей.

— Африканцы, и только!— всплеснули руками в Орле. —Шикарный загарчик...

Бьётся пульс гражданского аэропорта. Уходят в небо работяшие «аннушки», улетают с пассажирами «яки».

Снова будни, работа, работа. Трудом поднимает к солнцу землю свою человек. И земля поднимает его, человека. А до солнца ешё далеко.

Взлётная полоса—не только для самолетов, для Михаила тоже. Она подняла его высоко. Он идёт, счастливый,

мимо ряда безмолвных машин, которые ждут его сильных рук.

— Эй, вы—говорит, улыбаясь, он им, как живым.— Сейчас проверим ваше железное сердце.

— Чего –чего? — поднимает голову из –под машины «африканец» Юра Татаринов.

— А так,— смеётся Гусев и, раскрыв руки небу, заглушая ожившие моторы, кричит во всю мощь своих лёгких:

— От земли вырастаю
До самого Солнца
И бросаю на землю
Улыбки Солнца.

Со взлётной полосы уходят из рук Михаила Гусева в пятый океан самолёты.

21 февраля 1965 года

На вершине Байкала

Байкало –Амурскую магистраль называют магистралью века. Масштаб и значение её огромны. Она пробудит край невероятных природных богатств, даст жизнь новым городам, откроет наиболее краткий торговый путь странам дальневосточной Азии в Европу.

Биография стройки восходит ещё к прошлому веку, когда бурное развитие капитализма в России вызвало необходимость соединить железной дорогой европейскую часть страны с Дальним Востоком. В то время предпочтение было отдано южному варианту, разработанному инженером Прохаско. В результате и явилась миру всем известная магистраль, проходящая из Иркутска южным берегом Байкала и дальше на Улан –Удэ, Читу, Благовещенск. Но мало кто знает, что ещё летом 1881года группа изыскателей под руководством полковника Волошникова вела разработку так назы-

ваемого «северного варианта», производя разведку территории на северном Байкале, между реками Ангарой и Муей.

Развивающаяся экономика Дальнего Востока, военно – стратегические обстоятельства диктовали необходимость создания ещё одного путепровода к Тихому океану. В 1932 году Советское правительство приняло решение о строительстве Байкало –Амурской магистрали. Началось изучение геологических и инженерных условий района, уточнялись старые карты. Были проведены соединительные железнодорожные ветки Бам—Тында, Известковая — Ургал, Волочаевка — Комсомольск –на –Амуре. Работы по изысканию и проектированию магистрали завершились уже, когда велась Великая Отечественная война, потребовавшая от страны напряжения всех её сил и ресурсов. В 1942 году, когда враг подошёл к Сталинграду, Государственный Комитет Обороны для переброски вооружения, боеприпасов и войск постановил построить Волжскую рокаду длиной в 1100 км (от Ульяновска до Сталинграда). Для этой цели были разобраны верхние строения второстепенных железнодорожных участков в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе и на соединительных участках будущей магистрали. Вскоре после нашей победы на Волге Советское правительство приняло меры по возобновлению строительства восточной части БАМа. В послевоенные годы оно продолжалось — от Комсомольска –на –Амуре до реки Амгунь. В связи с возведением Братской ГЭС оживилась западная часть БАМа — стальные рельсы протянулись от Тайшета до реки Лены.

В 1967 году вновь во всём объёме был поднят вопрос о строительстве Байкало –Амурской магистрали. Обсуждалось несколько вариантов, в иных предлагалось связать железнодорожным путём южную Якутию и одновременно миновать районы с высокой сейсмической активностью. Выбрали самый краткий.

Основная часть участка трассы приходится на Бурятию — 624 км. Здесь полный набор всевозможных препятствий: заболоченная пойма Верхней Ангары, вечная мерзлота, базальтовые скалы, хребты, которые надо пересечь с помощью тоннелей. Если на всей трассе их следует пробить 31 км, то на одном этом участке надо будет прорубить тоннель через Байкальский хребет длиной 6,3 км и тоннель через Северо –Муйский хребет длиной 15,3 км. С этой целью и был сформирован Тоннельный отряд №10 Министерства транспортного строительства СССР. Один из самых труднейших участков её, в районе северного Байкала, стал в центре внимания метростроевцев Харькова, Баку, Ленинграда, Москвы.

Автору этих строк удалось побывать в командировке на северном Байкале, преодолеть многие километры живописного Баргузинского тракта, по которому двигалась мощная техника Тоннельного отряда к порту Усть –Баргузин. На теплоходе «Украина», буксировавшем баржу с этой техникой в северную часть Священного моря, пройти большую часть Байкала и прибыть в порт Нижнеангарск, где прямо на пристани расположен штаб Тоннельного отряда № 10, проехать, пройти, пролететь по участкам отряда от устья реки Нижняя Ангара, от посёлка Тында до посёлка Уоян, покрыв сотни километров на барже, вездеходах, вертолётах, самолётах. Неповторимая красота северного Байкала —этой воистину жемчужины нашей природы, туземная флора и фауна, горячие целебные источники, яркие встречи с местными жителями – эвенками, бурятами, русскими не смогли заслонить громады уже совершаемых ныне перемен и того, что произойдет здесь, в этом баснословно богатом краю, в ближайшие годы.

До недавнего времени в Северо –Байкальском районе было 5,5 тысячи жителей, из них около 3 тысяч жили в районном центре — посёлке городского типа Нижнеангарске. Сел и посёлков в районе нет и десятка. На всём 250 –километровом пути к самому дальнему участку Тоннельного отряда, распо-

ложенному у посёлка Уоян, на берегах реки Верхняя Ангара, каравану барж встретились лишь два села — Верхняя Заимка и Кумора. А за посёлком Уоян ещё сотни необжитых, безмолвных километров. Просторы делают здесь людей суровее, сильнее, дружнее. По сторонам каравана барж, вёзших жилые вагончики самым первым строителям БАМа к пристани посёлка Уоян, грозно высились горные хребты со снеговыми вершинами. Речники стремились побыстрее доставить важный и срочный груз, пока не спала большая вода в водной артерии. Дорог здесь нет, а если и есть в посёлках и сёлах, то они никуда не ведут, разве только до ближайшего озера, богатого сигом или хариусом, до лесосеки. Самые первые бамовцы Уоянского участка во главе с Альшиновым заброшены к таёжному озеру Бакуни вертолётом, потом на баржах подошла техника. И вот на смену палаточной романтики посёлка строителей, возникшего в тайге, идёт комфортабельная романтика жилых вагончиков. В этих вагончиках хорошо чувствуешь заботу их создателей о строителях трассы в суровом таёжном краю: современная отделка пластиком, мягкие диваны, шкафы для одежды и книг, кухня с плитой, электронагреватели, вентиляторы. Тут же, на барже, специализированные вагончики: прачечная, медицинский пункт, семитонный подъёмный кран, в трюмах — горючее.

После захода в Кумору и тёплой встречи с ребятами участка, где начальником ленинградец Борис Вениаминович Черфас, после частичной разгрузки горючего и купания в горячих сероводородных ваннах у берегов прекрасного озера Иркана и горы Шаман речной караван продолжает путь в посёлок Уоян. Последний, четвёртый день пути по Верхней Ангаре — и, наконец, вот она, долгожданная цель плавания. Позади долгие, увлекательные беседы в тесном кубрике с уже бывалыми бамовцами, такими, как харьковчанин Юрий Маковоз, который в числе первых переправил немало техники в тайгу, на рабочие участки. Да здравствует желанный берег!

На берегу — радость. Приход теплохода всегда праздник для посёлка, теперь же этот праздник для местных жителей многократно усиливается праздником и встречающих караван строителей трассы. Мальчишки –эвенки бегают по берегу, бросаются в ледяную воду, кричат: «Бам нам делает дорогу, ура!». В стороне уже ждут вездеход, тяжёлые самосвалы, чтобы, сняв с баржи вагончики, потащить их через тайгу в расположение отряда, к озёру Бакуни.

Летнее время, каждый день здесь на вес золота. Кажется, что там, всего в конце мая, на Байкале у Нижнеангарска рыбаки вели подлёдный лов омуля, а уже к двадцатым числам августа в горах снова выпадет снег, резко похолодает, в единственной подводной артерии Верхней Ангаре упадёт вода, надеяться в переброске грузов можно будет лишь на вертолёты. Потому здесь так ценят время. Спускают кран на берег, с его помощью по брусьям сводят вагончики. Их тут же подхватывают самосвалы, вездеход и увозят за посёлок, в тайгу. Команды короткие, ритм рабочий, порядок армейский. Оно и понятно: многие недавно демобилизованные, ещё больше тех, кто прошёл суровую шахтёрскую закалку на Донбассе, в харьковском и московском метрострое.

Сгущаются сумерки. Тайга давит со всех сторон, поневоле вспоминаются рассказы в кубрике о хозяевах здешних дебрей — медведях. Вездеход идёт мерно, держась наплаву, а то утопая в болоте, временами жёстко схватываясь гусеницами за вечную мерзлоту. Сзади покорно тащится вагончик –прачечная.

— Вот здесь, внизу, обнаружился вечный лед,— перекрывая шум мотора, рассказывает начальник участка Осман Белалович Альшинов.— Ребята потом вырубали его кусками и отвозили в лагерный холодильник, где хранятся у нас продукты.

Вытащив вагончик на сухое, оставили его, вернулись за следующим. За ночь через мост на таёжной реке и болото

должно быть перетащено как можно больше вагончиков, чтобы днём не занимать людей, чтобы они снова могли взяться за своё основное дело— вести просеку на Северо – Муйский хребет, Кумору и Уоян. Без автомобильной дороги до Муя невозможно подвести к порталам тяжёлую тоннельную технику, даже тяжёлым вертолётам сделать это не под силу. Потому, как боевой клич, и родился здесь призыв: «Вперёд, к перевалу!».

До глубокой ночи возились на безымянной таёжной реке с вагончиками, а утром, чуть свет, по лагерю опять сыграли подъём. Альшинов ходил и шутил:

— Ну, что ж, играли до рассвета на гитаре, а теперь вставать не хотите?

Лагерь как лагерь. Доска показателей, где сегодня — по истечении первой недели валки леса — должны появиться первые цифры соревнования трёх звеньев.. Тут же на сосне ящик для писем. Чуть подальше кухня, баня. Сквозь могучие сосны просвечивается озеро Бакуни.

Приходит тревожная весть: под тяжёлым трактором рухнул мост через таёжную реку. Правда, его уже вытащили, всё нормально. Срочно формируется бригада на ремонт моста. Значит, до просеки вряд ли дойдут руки сегодня. Снова десант до болота на зиловских самосвалах, свежепахнущих краской, дальше — на вездеходе. Вот он, и мост. Провал почти на треть его полотна. Но он должен срочно вступить в строй. На раздумья считанные секунды. Сваи забивать нельзя — под водой тоже вечная мерзлота. И вот уже зазвенели пилы «Дружба», на воду стал плот, смельчаки полезли в ледяную воду. Все работали, как в бою: споро, на совесть, беззаветно. Каких только национальностей не было в стройбригаде — русские, украинцы, буряты, эвенки, татары. Отличилось звено харьковчанина Заярнюка, вместе с ним великолепно трудился молодой бурят Володя Домбренов.

К вечеру, когда мост был отремонтирован, героям речной эпопеи, которых тут же окрестили «водолазами», продрогшим и усталым, уступили тёплое местечко у горячих отдушин вездехода, а потом рассадили по кабинам самосвалов.

Наутро я спросил: нет ли кого –нибудь на Уоянском участке из моих земляков — орловцев?

— Есть, конечно,— хитровато улыбнулся Альшинов.— Пойдёмте в тайгу.

Вагончики заняли подобающие им места в бамовском лагере, а весь личный состав занимался опять валкой леса, делом, которое грозило стать привычным, пока первопроходцы не доберутся до портала будущего тоннеля. За чёрным, горелым лесом на просеке работало звено вальщиков Юрия Никитина, оно вело дорогу на Кумору. Звено гиганта Заярнюка было нацелено на перевал. Своего земляка — орловца Виктора Башанина, звеньевого следующего звена, я нашёл на просеке, ведущей на Уоян. За неделю пройдено несколько километров. Всего в нескольких метрах от автомобильной дороги проляжет полотно будущей железнодорожной магистрали.

Сидим на пеньке. Виктор рассказывает историю своей жизни. Долгое время он жил в Лужках под Орлом, где и поныне проживает его брат. Отец погиб в боях на Орловско – Курской дуге, мать Анна Ивановна — пенсионерка, сейчас жительница с. Корондаково Мценского района. Виктор часто гостит у неё во время отпуска, помогает ей по дому, любит прекрасные мценские леса, реку Оку с её тихим течением и рыбалкой. Жизнь у него была не простой: после окончания СПТУ в Болхове работал на целине, потом на Памире в геологоразведке, шахтёром — на Донбассе, метростроевцем — в Харькове. Несмотря на сложность характера, все, кто его знает по метрострою, называют Виктора мастером «золотые руки». В его звене и сибиряки, и с Украины. Все в подражание звеньевому– бородачи.

— Бороды спасают нас от комаров,— отшучиваются башанинцы.— Бороды сбреем уже на перевале.

Вечерами в короткие минуты отдыха ребята идут на берег озера Бакуни. Сурога — рыба жадная, берёт просто на волосинку. Целые снизки её, сушёной, протянулись по лагерю.

Проходят дни. На берегу озера выросла вертолётная площадка. На неё опустился вертолёт — привёз начальника Тоннельного отряда Виктора Максимовича Коблякова. Он только что из Москвы, из Кремля, был на приёме у членов правительства.

— Всё нормально, ребята,— смотрит он в вопрошающие глаза своих соратников –бамовцев. — Техника нам отгружается. Самая лучшая, современная, наша отечественная...

БАМ строится, встаёт трасса века, шумит, гудит суровый Северный Байкал.

18 сентября 1980 года

В шукшинских местах

В рукопись, предложенную одному нз издательств, включена новая повесть, прообразом главной героини которой послужила мать В. М. Шукшина — Мария Сергеевна Шукшина –Куксина. С ней писатель поддерживал тесную связь до последних дней её жизни. В предлагаемой главе говорится о духовном единстве сына –художника, матери его со своими земляками, с народом.

x x x

Матерь проснулась рано и поняла, что сегодня должно что –то произойти. Если это что –то не произойдет, сердце, переполненное вчерашним, лопнет. А что человек без серд-

ца, что без человека этот маленький, в кулак, беспокойный комок? Лежала и ждала, но ничего не происходило. В жизни, если подумать, не так уж часто что и происходит.

Поскребли ноготками в окно, Матерь отвела занавесочку: кто бы это? Поруня. Чего тебе спозаранку, клетуха плетёная, душа неуёмная?

— И молчи, и молчи, Матерь. — Поруня не может никак раздышаться. — Артисты прикатили, на «пазике», проследовали в кинотеатр. Дружки твово Сына, средь них, сама видела, тот, Журавлёв. Говорят, вечер памяти будут устраивать, кино, в каком Сын твой сымался в последний разочек, будут крутить...

«Ну вот это что –то и произошло», — подумалось Матери, но после того, что случилось год назад, всё остальное для неё было настолько мелким, что Она и мысли вначале не допустила отнести приезд артистов к событию, но извечное беспокойство натуры, привычка заботиться обо всех, кто бывал с Сыном дома у них, заставили Её побыстрее собраться, выйти на улицу, пойти к кинотеатру.

Вот и нет Его Самого, а как бы рад был, как бы сразу метнулся к ним, приволок бы в дом, не знал бы, где и усадить. «А ну, мама, — засмеялся бы Он и ладонь о ладонь вот так жвык –жвык –жвык, — а ну, мама, испеки –ка любимых драников да поставь чё –нить,—промёрзли ребята, с дороги». Она бы кинулась на кухню, а они бы как засели в Его комнатке на диванчике, как положили бы руки друг другу на плечи, так бы, кажется, и проговорили подряд три дня и три ночи, пока не надоумило кого –нибудь подняться на Плоскун –гору, проведать с высоты Схлёстки... «Приехали, миленькие, исполнили завет. Все говорили, мол, приедем, вот тогда поглядишь. Дай чуток дела разгребём, помянём Его,

согласно обычаю», — подумала Матерь, потуже схватывая изнутри пальцами чёрную свою шалинку.

Тут и дошла до кинотеатра. Глянула, а возле него автобус «пазик» стоит, люди крутятся. Объявление вот такое чёрным по красному: вечер памяти Сына... А Журавлёва, друга Сынова, нет. «Где бы быть ему?» — забеспокоилась Матерь и вошла в прохладную глубину кинотеатра, в фойе... Со всех стенок на Неё глянули лица артистов, глаза и глаза. На самом виднушке, над дверьми, кто-то бил молотком, приколачивая портреты: Сына портретах, незнакомый такой — в гимнастёрке и каске, а кругом самолёты летают, танки движутся, земля горит,насмерть люди стоят. «Боже ж ты мой», — замерла Матерь, и тут же тот, кто прибивал всё это, спустился быстро с лестницы к Ней, и Матерь упала к нему на грудь. Щупает, щупает пальцами каждую выемку на плече, на спине, гладит каждую складочку, гнётся на носочках, заглядываст в глаза ему. Ну не Сын ведь, ну знает — не Сын, а вроде с Сыном повидалась.

— Сынок, — сами дергаются плечи Её, — сынок милень –ка –ай, сынок жалконька –а –ай, дай я на тебя погляжу разгляжу, да дай я печальную головушку преклоню к тебе, тоску –кручинушку разволоку.

— Видишь, приехал, мам, как обещал, — падает в Неё взглядом он, — такой же яснооkий, голубые глаза, как у Сына, ласковые и колючие, как ёлки голубые, что у Меркула Игнатьича во дворе, перед окнами в палисаде.

— Ну вот и хорошо, что приехал, вот и ладно, что приехал, не забыл одинокую, стылу –у –ю –ю...

И вот уже со всех Схлёсток потянулся к кинотеатру народ. Шли впервые вот так в кино не для смеха, не для развлеченья — помянуть земляка. Уж помянем, как следует, по

–человечески, коли не предано тело родимой земле. Шли кто в чёрном костюме, косынке, кто с бессмертником в руке— последним, осенним, кто с букетом листьев багряной калины –рябины. Шли, вытягивались, выходили на площадь перед кинотеатром с главной улицы, со всех боковых переулков. Вышли, собрались на площади и удивились, как тесно, стояли локоть в локоть, друг к другу, сколько их ещё в Схлёстках, не развеялись по городам, ещё вот они, здесь, — крепкие, упористые, широкой работной кости. И прежде чем войти в хоромное строение, каждый подумал, что вот и приехали к ним сюда люди ради памяти их земляка, ради них самих, люди эвон откуда, за тысячи вёрст, а ведь что они, ихние Схлёстки, если глянуть с тысячеверстья, — так, какая –то крошка на карте страны, и все они на этой крошке как бы в доме одном, как семья единая. И тогда схлёсткинцы ещё сдвинулись, теснее прижались да так, локоть в локоть, и вкачнулись на первый порожек, в парадную дверь.

В фойе на них, как всегда, глянула репродукция известной, ещё дореволюционной картины: крестьянский хлопчик в лаптях, переросток, смотрит в дверь деревенской школёнки, не решаясь войти. И тут все увидели Сына Матери, земляка, галерею фото из нового фильма.

Схлёсткинцы заходили и молча рассаживались, заполняя зал до самого дальнего ряда, старались не хлопать откидными сиденьями, но нет –нет да где-то срывалось, хлопало, и тогда все поворачивались на неловкого человека, всё нетерпеливее ждали поднятия занавеса. Занавес был тяжёлый, голубовато– серебряный шёлк, в тон Крутуни –реке, гордость администрации, отпалившей за него несусветные денежки.

Все следили за занавесом и потому проморгали, когда на сцену, сразу из обеих боковушек, вышли участники вече-

ра — постановщики, киноактёры, районное начальство — и расселись на стулья со столиками. Зал гудел в ожидании самого главного: когда Сама, Матерь Сына, появится там, на сцене? Но тут получилась заминка. Матерь искали за кулисами, с ног сбились, никак не могли найти, а она в это время сидела в первом ряду и, как все, волновалась: чего они там мешкают? Артист Журавлёв заметил Её и спрыгнул прямо со сцены, проводил осторожно за плечи, усадил за свой столик. И всё началось...

Что он делает с Ней, этот друг Её Сына, артист Журавлёв! Не словами — каменьями огневыми, калёными мечет в материнское сердце. Как сошлись они с Сыном, душа в душу были там, на съёмках этого Его последнего фильма. Сын любил те широкие степи, говорил: «С этих мест отцы мои, пращуры. В четырнадцатом томе «Истории России», по Соловьёву, о них есть местечко. Должны мы знать, какого роду –племени, откуда идём, чтобы видеть, куда нам идти»...

— Он мечтал о Степане Тимофеевиче, Он готовился. Жадный был до знаний, как утка ряску, хватал эти знанья...

Матерь слушает Сына, и плывёт зал перед глазами. Так все вместе схлёсткинцы, так все заодно. Что ни скажет он– вправо качнулись, что ни повторит — качнулись влево, вздохнёт — прямо надвинулись. Лишь в войну, помнит, было так же вот, когда ворог столицу подпёр, тогда письма получали общие от мужей –сыновей да отдельные похоронки. Вот народ, вот глаза и впиваются, и жалкуют, аж глядеть в ответ томко...

Матерь отвлеклась на минутку и слушает каждого, кто говорит со сцены, весь зал перед Ней — свои все, привычные, давние. Каждого знаешь вот от какого колена насквозь. И мать с отцом знаешь, и деда с бабкой, и братьев с сёстра-

ми, тёток с дядьками. Да не просто знаешь, а кто за кем ухаживал, кто кому отказал, кто на дело годен, а кто — скоморошничать. Сколько всего проходит перед глазами — вот они все на ладошке. Поруня в углу с подружками, Меркул Игнатьич и тот ленинградец. Доярки, учителя, механизаторы — народ бывалый, с порепанными руками, с прямотой в душе, свойский. Все они земляки Её, земляки Её Сына, люди всяческих судеб.

Журавлёв шагнул вперёд, голос его оборвался, заставил Матерь снова затрепетать.

—Вот последние слова Её Сына, Вашего земляка: «Благословляю тебя, моя Родина. Будешь ты счастлива, и я буду счастлив с тобой. И если я буду умирать в сознании, то прежде всего вспомню Родину, мать свою и детей».

И тишина. Журавлёв подошёл к Матери, тронул за плечо:

— Может. Вам слово, Вы слово скажете?

Матерь повела взглядом вокруг, закрыла лицо руками:

— Сама живу, а Сыночка –то не –ет.

— Не надо, не надо, — зашумели из зала. — Всё знаем. Знаем обоих и так.

Матерь увидела Его на экране. Поначалу Она даже оторопела: так живо глянул Он с полотна. Мелькали лица, кони, танки, самолёты, взрывы, шло известное отступление по сожжённой солнцем волгодонской степи. Вот, оказывается, как там было, когда Сын ещё был мальчонкой, возил воду с Крутуни в поле на «табачок», когда залезал на тополь, выглядывая отца, хоть раненого, без ноги –руки, но живого. Как Он был сейчас на экране похож на отца, на всю их отцовскую породу, до чего же синими, как волна крутунская, как вода в Дону, были у Сына глаза. И сколько же огня –

полымя в них, сколько боли мечется, отражаясь в них. Вот Он отступает вместе со всеми. Выжженной степью идут, понурясь, наши мужья, детишки наши — сыны –солдатики, оставляя родную землю. Вот Он опёрся рукой о тополь, дальше немочно: надо было погодить сниматься после больницы, надо было передохнуть.

— Эх, да кабы они всё это играли. — шепчет справа от Матери дядька Сына — Маркел Игнатьич, — а то ведь взаправду, всерьёз. И землю эту каменную долбили, и марши – броски по полсотни вёрст в день.

— Всерьёз, ещё как всерьёз, — сжимается Матерь.

Она видит, как после атаки подходит к Сыну друг Его, артист Журавлёв. Валятся на траву у окопа, Сын достаёт кисет, подцепляет вот такую щепоть махорки, Сын имел на неё право... Вот он поворачивается, смотрит с экрана только в Неё, говорит только с Ней, живет лишь для Неё... Сколько же нужно усилий, человеческих мускулов, чтобы сдержать всё это железо, не дать огню разойтись, сжечь вокруг всё живое, уж Она, Матерь, знает, каково это выходить, поставить на ноги, дать дыхание каждому существу, чтобы потом оно могло рыть вот эту траншею.Сын ещё был мальчонкой, а Она печку топила, да попался в хоботье кусок от скворешника, только хотела сунуть его в огонь, как кинется Он за скворешней: здесь же, мамочка, птицы жили…

— Он не играл ролей, Он никогда не играл, — шепчет Матери друг –товарищ Сына артист Журавлёв, и Она видит, как отсвёркивает –пересвёркивает в его взгляде экран. — В нём же, видите, ничего нет актёрского, говорили, опасен для конкурентов.

Сын –Сынок не играл, Он же делал своё крестьянское дело, как пашут землю, как сеют хлеб. Было бы даже нехо-

рошо перед деревней — играть: что Он, скоморох, что ли? Простой трудовой человек.

Мелькают то свет, то тень, шелестит кинолента. Он ходит, Он шутит, ухаживает за девчонкой — батя, вылитый батя. Как сидят перед танковой атакой, говорят о серьёзном и вечном, вроде не будет тут же через десять минут ни огненного смерча, ни вражеских танков, смертей...

Люди впились в экран, в Него туда, в Сына.

— День был трудный, — шепчет Матери Журавлёв. — Допоздна сидели на палубе... катер– наша гостиница... Дон был красновато– дымчатый, в закате дневное сражение. И Он говорил об искусстве, о жизни, как бесконечной цепи, из которой мы вышли и из которой не выпадем, так и останемся в ней особым звеном... Он говорил здорово, хоть и чертовски устал. Люди себя баюкают сказками и тем отдаляют правду. В древнем Новгороде жила легенда о золотом веке, согласно которой прошлое, век ушедший, казался счастливее, чем век настоящий. Но ведь жить и то уже счастье, представляете?!

— Чш –ш –ше, — зашевелились, зашикали на них рядом сидящие.

Сын смотрит с экрана, говорит с экрана только Ей, Матери; жив сейчас, курит, шутит, смеётся, идёт в атаку, сидит на палубе катера, а через мгновенье Его не станет. Всё останется, как и было: эта степь, все эти тысячи тысяч, друзья и враги, человеческое исступление, когда жажда крови ведёт одних к нападенью, порабощенью других, захвату пространств, когда этой жажде противостоит живой, простой человек в гимнастёрке, и только любовь, только долг перед Родиной продолжают держать Его там, на сожжённой земле, дают силы выстоять.

«А ведь они хотели замкнуть колечко, — шепчет друг Сына слева, — со степей этих ударить в Среднюю Азию, оттуда в Индию — одна стрела; через север Африки, по Ближнему Востоку, Роммель с танками — другая стрела... Мы не дали...».

Не дали врагу наши отцы, солдатик в гимнастёрке, на спине седовато –жестяной от пота –соли. И всё на экране движется, и всё живет на ленте, как жило, сохранённое на века, а Его нет...

Сыночек мой любый, мой листик упавший, Ты вот где — в душе материнской, под сердцем. Ты видишь, судьба от меня отвернулась, взяла, отняла самое дорогое — Тебя, но если в последний свой час Ты жил так, как жил, как видим, Матери можно гордиться; зло нас с Тобой пересекло, но я не ропщу, терпелива, да в нас не иссякнет добро, храни его, Сын, во мне своей вечностью, дай мне видеть Тебя, покоя уж не прошу, покоя Матери нет, пока вблизи несчастлив хотя бы один человек. Я иду по земле, я глажу ладонью каждую складку, каждую выемку, выбоину, перебираю каждую травинку, росинку каждую смыкаю в реки, озера –глаза, колосья свиваю в житницы, чтобы всех напоить– накормить, тогда, лишь тогда и в мирные дни не будут коверкать душу разрывы, дымиться на камне алая кровь, и нечеловеческой болью разрываться сострадающее материнское сердце. Сын мой, путь мой остатний уж краток, но я ухожу беспечальная, а всё от сознанья, что, если Ты нужен людям и днесь, и вовеки, не зря явилась миру и я, не зря жила от первого Твоего крика и шага до этих седин, вела Тебя материнской любовью. Я знала не только друзей Твоих, но и врагов, они как змея подколодная, но Ты –то шутил, что готов поставить им памятник, они Тебя заставляют работать и делают Тебя та-

ким, как Ты есть... Сынок мой, я плачу за всё неустройство земное, за всех неустроенных в жизни, добро строится только добром.

— Матерь, — шепчет Ей слева Меркул Игнатьич, — смотри, смотри сюда, ты смотри!

А Матерь уже приподняло: не Он на экране, не Сын! Всё в той же шинеле, всё в той же степи, среди тех людей, а не Он. Спиной к экрану, да все как-то бочком –бочком…

– Не Он, — рванулось из Матери сердце. — Не он!!? — мотнулась сама собой Матерь.

— Не Он – н –н... — прошелестело по залу, как выстрелы, захлопали кресла.

Вот тут Он и оборвался, вот тут и не стало Его.

— Не Он уж, не Он, — шепчет Матери справа артист Журавлёв. — Вот с этого кадра дублёр.

«Дублёр, дублёр… А Сына уж нет, нет с этого кадра, не будет уже никогда. Не пришлёт письма –грамотки, не приедет к Ней в Схлёстки...». Волнение Матери передалось залу, весь зал развернуло сюда, в Её сторону, к Ней, все поняли: только что кончилась жизнь земляка, солдата, художника, Сына сидящей здесь Матери.

И тут вспыхнул свет. И Матерь сидела, а люди все встали в едином порыве, стояли. Потом Матерь подняли на руки и понесли над собой...

28 сентября 1980 года

Мой Друг Саша Логвинов

Вот уже четыре года, как нет Саши Логвинова – моего друга, друга нашей семьи. Трудно представить, что его уже

нет среди нас. Так и стоит передо мной этот неумолимый столбик на Наугорском. «Родился 1 марта 1942 года – умер 1 марта 2010 года». Наконец –то вышла книга его стихов «Я с приокских полей», от которых повеяло духом замечательного поэта –орловца Дмитрия Блынского, на улице которого жил в последнее время Александр Серафимович. По поводу выхода в свет этой книги мой сын написал рецензию –воспоминания о нём, опубликовав в «Орловском вестнике» под названием «Окоём» (Сашино слово). Вот она, эта публикация.

«Окоём».

Я, конечно, прочитал публикацию и подумал, что всё это об Александре Серафимовиче Логвинове как о человеке, поэте. Но ведь Александр Серафимович был ещё и литературным критиком, писал не только о поэтах, но и о прозаиках. А они тогда составляли костяк организации, придавали вес, колорит орловской литературе. Саша писал о них то, чего не знали другие. Александр Серафимович прошёл немалый жизненный путь, имел большой и разнообразный опыт: был научным сотрудником Музея писателей –орловцев; став кандидатом наук, преподавал литературу в Орловском институте искусств.и культуры.

Помню, будучи «гидом» по залу М. М. Пришвина, он «потерял» огрызок пришвинского карандаша. Так Саша с ума сходил от такой потери. А мы, друзья его, утешали Александра Серафимовича, как могли: «Да ты не волнуйся, не убивайся так. Ну мыши съели, ну куда-нибудь закатился. Да мы тебе целый карандаш принесём. Вернее, по одному. Во! Сколько будет у тебя карандашей».

Если без шуток, Александр Серафимович писал всерьёз о таких писателях –орловцах, как Горбов, Зиборов, Алексей Леонов, Сапронов, Мильчаков, о таких видных писате-

лях России, как Василий Фёдоров, Фёдор Абрамов, Валентин Распутин, Василий Белов, Лихоносов, Закруткин и другие. И это всё о писателях –деревенщиках 60 –х годов XX века, и вообще о хороших писателях. Но особой любовью пользовался у него наш классик Иван Алексеевич Бунин. По его творчеству А. С. Логвинов написал даже кандидатскую диссертацию. Одним из первых откликнулся на Бунина как на замечательного прозаика, писателя –орловца, нобелевского лауреата.

О том, что мой друг Саша знал немало о каждом из писателей, говорит хотя бы такой факт. Давно уже признано, что Горбов – автор замечательных повестей (например, «Куриная слепота»), а ведь признан –то он был не сразу. Бывало, не пинал его только ленивый. Но вот в главном литературно –критическом журнале страны «Вопросы литературы» была опубликована положительная рецензия на Горбова, и критику на него как рукой сняло. И сообщил об этом читателю Александр Серафимович Логвинов в своей книге «На стрежне жизни».

Иногда я задумываюсь: «Почему Саша не писал обо мне как о поэте? Ведь знал, что я ещё и поэт». И сам же себе отвечаю: «А потому что, выступая по линии Бюро пропаганды художественной литературы, читал я, конечно, и стихи, но редко их публиковал в газетах, книгах. Больше известен был как прозаик, издавая рассказы и повести. Вот Александр Серафимович и писал обо мне как о прозаике. Тонко, глубоко чувствовал мою прозу, мой русский язык, мою стилистику. И если что, по его мнению, было не так, тут же мог высказать всё напрямую, без обиняков».

Приведём отрывки из его книг по прозе: «На стрежне жизни» (Тула), «Молодые о молодых» («Молодая гвардия»,

Москва), «Нечерноземье – забота общая» (Москва). В этих книгах запечатлено во времени мнение Александра Серафимовича о моих рассказах, повести «Не манна небесная», из моих книг разных лет. Вот первое упоминание у него моего имени в сборнике литературно –критических статей. Вот какой стиль у него. Этакая философская неторопливость и доброта.

Отрывок из статьи Александра Логвинова «Быть человеком».

«Есть у Леонарда Золотарёва рассказ «Ночной председатель» («Берестяные песни», «Современник»), отдалённо напоминающий классический «Ночной разговор» Бунина. И там и здесь отсутствие ярко выраженной событийности. И там и здесь неспешный разговор мужиков о житье –бытье, о редких случаях, пересыпанный искромётной горько –весёлой шуткой. Но как поразительны, как несхожи сами мужики и темы их разговора. Общее у них то, что они орловцы. У Бунина одно убийство громоздится на другое, лавинообразное нарастанис ужаса, катастрофическое падение человеческой нравственности. Светлый тон «Ночного председателя» вселяет гордость за человека. В этом случае можно было бы сказать: пришли иные времена – взошли иные семена.

В естественном течении диалогической речи автору рассказа удалось дать как бы срез духовной сущности современного жителя деревни от обыденных, иногда комичных житейских ситуаций до острых социальных проблем дня, до существа политического климата планеты. Как правильно заметил автор, люди сегодняшнего дня уже не критикуют ради критики, а мудро судят обо всём.

И не только «судят», а и, тонко улавливая потребности времени, предчувствуют масштабность социальных и эко-

номических перемен. Герой повести того же писателя «Не манна небесная» («Костровый пояс», Тула), человек неукротимого духа, отдавший себя до последнего дня людям, одним из первых в работе начинает понимать необходимость комплексной специализации.

Но не социально –экономические и административно – хозяйственные проблемы определяют лицо деревенской прозы, а вопросы психологические, морально –этические, которые выводят авторскую мысль из тисков «околичного» дня к глубокому постижению времени, к вопросам нравственным, имеющим общественное и историческое звучание».

Следующий отрывок из той же книги Александра Логвинова приводится на фоне анализа в основном деревенской прозы Нечерноземья.

«В рассказе Л. Золотарева «Ольговичи» («Костровый пояс», Тула) мы встречаем ситуацию, приближённую к «Бежину лугу». Как и в далекие тургеневские времена, собрались мальчики у костра, присматривая за отяжелевшими от сочной луговой травы и потому смирными бурёнками. Та же сметливость, цепкость, та же природная крестьянская наблюдательность. Один из них, привстав и посмотрев ввысь, замечает: «Снега б, однако, ночью не натянуло». – «Не рановато?»– спрашивают его. «А ветер, гляди, переменился – засеверило, и облака поднялись». Но не о привидениях и лешших у них разговор, а о современной технике, современной науке, походах по местам, которые знакомят их с прошлым родного края. Когда-то здесь жило восточнославянское племя вятичей. Селища, холмы, манящие древними, то величавыми, то гортанными названиями реки, это ручьи, посёлки и города. Здесь сама история, сливаясь с природой, возносит человека на поэтическую высоту, кристаллизуя в нём черты

гражданственности. Да, это дети второй половины XX века, иной нови, люди другого будущего. История окружает их с рождения. Она входит в них памятниками недавних лет и курганами вечной славы.

Ведь срединная полоса России, окраинные точки которой– Москва, Курск, Смоленск, Воронеж – древнейшая земля. Летописные города её – Мценск, Карачев, Кромы…– помнят жаркие схватки с половцами, набатный звон колоколов Киевской Руси. Это они первыми принимали на себя удары кочевников. Это об их крепостные валы разбивались орды завоевателей. И сколько бесчисленных холмов, рек и долин хранят и помнят славу русского оружия, гордый дух русича! Как живое дыхание истории дошли и живут в нас величественные строки «Слова»:

«А куряне славные –

Витязи исправные…»

И не отсюда ли «есть и пошла земля русская», где в борьбе, труде, ежеминутной готовности постоять за землю, себя и других окреп и закалился характер человека –оратая, воина, певца».

Третий отрывок из этой же книги Александра Логвинова. «На страницах современной прозы всё чаще встречаешь столкновение понятий человека пожившего, умудрённого и только начавшего свой путь, которому предстоит освоить опыт прошлого и на основе этого создать новые ценности. Подобная ситуация как раз и дана Леонардом Золотарёвым в рассказе «Перепелиное поле» («Берестяные песни», «Современник», Москва).

Блаженным слывёт среди окружающих за свои странности со стороны «трезвого» взгляда бывший фронтовик Михей, не пошедший «по начальству», а так и оставшийся

рядовым. Натура глубоко поэтическая, с трогательным, бережным отношением ко всему живому, он скромен, незаметен среди людей. Но эта сдержанность не маска равнодушия, освещенная психологией «моя хата с краю» или «после меня хоть потоп». Она признак внутренней силы, верности своим жизненным устоям.

Когда Михей ощущает угрозу тому родному и близкому, что было впитано им с детства, что освещало и радовало его ежедневно, он становится грозен и непримирим. Таким и видит его Минька, молодой, энергичный лафетчик, который вместе с пшеницей подрезает и перепелов, ибо для него прежде всего надо дело делать, а не собирать гнёзда по полю. Так-то оно так! Но без этого серого, беззащитного комочка, взмывшего вверх и часто и весело затрепетавшего, не обеднеет ли, не потускнеет ли и день Миньки? И не птичьи ли чистые, высокие колокольцы, наполнившие звонкой радостью всю округу, удесятеряли силы и гнев Михея, когда на него шли танки? Мелочь ли ярая защита перепелиного царства и горький упрёк Михея бригадиру: «Хозяин ты, Ампилогов, али вредитель? На словах за землю, а на деле? Свёл дубки в косой Леваде – говоришь, на слеги для фермы? А теперича полыми водами высадило на Леваде овраги! Приказал сгрузить прямо в поле селитру – говоришь, ближе к свёкле? А селитру ту в соседний ставок. Вот вода и протухла...» Нет, это не стон блаженного чудака, а хозяина земли, своей судьбы...»

А вот сборник статей о проблемах литературы и культуры, изданный тоже в Москве, уже о самом Александре Серафимовиче Логвинове, а через него и обо мне как о прозаике.

Четвёртый отрывок из этой книги, конкретно из статьи «Нечерноземье и литература» Виктора Синицына. Вот что он пишет об Александре Логвинове. «Куда двигалась молодая

орловская литература? Александр Логвинов считает, что в тот момент молодые орловские литераторы, опровергая опасение об элегических вздохах по уходящей патриархальной старине, пытались понять скрытую силу характера человека, устоявшего как в мировых потрясениях, так и в потрясениях «в пределах одного двора»... Факт остается фактом, и на Орловщине есть имена, есть книги, о которых стоит говорить всерьёз.

В предисловии к сборнику «Костровый пояс» (Тула) Петр Проскурин написал: «У Леонарда Золотарёва есть талант, знание народной жизни, чувствуется богатая языковая одарённость. И это тотчас понимаешь, прочитав хотя бы один его рассказ». Да, прозаик он очень талантливый. Два – три рассказа из этого сборника, а также другого – «Мёд из подснежников», изданного в Туле, что называется, сразу же делают имя человеку в литературе».

Один из рассказов «Дарьюшка – последняя из хуторян» очень сильный. По пронзительности он сродни платоновской прозе, хотя я убеждён, что у Золотарёва были другие литературные корни. В другом рассказе «Грешница» Леонард Золотарёв рисует старенькую, отрешённую от мирской суеты богомолку –монашку, которая ценой собственной жизни спасает другую женщину, многодетную мать – у неё фашисты под пыткой требовали сведения о партизанах – подпольщиках.

По складу своему Леонард Золотарёв, конечно же, писатель –деревенщик... Особняком стоит в его творчестве повесть «Не манна небесная». Мне эта повесть, в отличие от критика Александра Логвинова, очень понравилась. Леонард Золотарёв в данном случае резко изменил «художественный почерк» в повествовании о буднях сегодняшнего села. Алек-

сандр Логвинов утверждает, что повесть грешит чисто очерковой информационностью, но, на мой взгляд, содержание диктует художнику форму. Я понимаю, что Логвинову более по душе «гранёная» чёткость фразы Золотарёва в его истинно народных по духу и материалу рассказах. «Нынче лето сухое до лютости, солнце выпило влагу, в проволоку выдубило траву»– это, конечно, хорошо, просто отлично «сделано»! Но и в повести язык хорош, рисунок физически осязаем: «Нравится Николайчику походка его, нравится он весь со спины,– опущенные неширокие плечи, длинная, тонкая шея, даже пиджак, даже простые в полоску штаны, коричневые матерчатые туфли с кожаными носами». Вот это и есть, по словам критика, способность «уметь двумя –тремя штрихами выявить предмет и дать его объёмно читателю».

Николайчик – главный герой повести. Бывший фронтовик Николай Житков ходит в председателях с того времени, как позвали его письмом своим бабы – возглавить в конец развалившееся хозяйство. Углубленно и пристально вглядывается писатель в характер этого человека, всего себя отдающего людям, делу. Под балагурством орловского мужичка Николайчик прячет в себе и хозяйский, цепкий ум, и чутьё ко всему новому, и свои размашистые хозяйственные планы, когда шуткой и прибауткой, а когда просто напором отстаивая и убеждая людей в правильности своей линии. На благо же всех!

Николайчик у Леонарда Золотарёва – человек творческий, вдохновенный, из которых на Руси давно выходят большие художники и крупные руководители. У меня создалось впечатление, что автор и любит его, и увлечён им, и любуется им в деле, а главное, будто «лепит его, искусно и точно, буквально тут же, на ходу перед моими глазами. И

пожалуйста – освоение современного и такого трудного для иных авторов материала. Вроде бы и образ какой –то традиционный, а – живой!»

* * *

В книге стихов Александра Логвинова «Я с приокских полей» есть две фотографии, где Саша снят вместе со мной, Виктором Рассохиным и шофером районной газеты «Звезда». Мы тогда были в Малоархангельске, жили всей бригадой у нас дома. Помню, утром встали мы и пошли в редакцию, где нам дали машину, и мы отправились к людям, к народу – в село Губкино, где я прежде работал учителем русского языка и литературы. И вот на первом снимке мы на току и с нами губкинский председатель Щукин. А на втором снимке мы с редакционным шофером стоим возле машины. И такие мы тут и разные, и как одно. Мать моя Мария Герасимовна хорошо запомнила каждого. Вспоминала потом: «Встали вы утром, попили чаю и скорее к двери: надо к людям. Ты, сынок, уже во –о –о –н где – возле соседнего дома, около Агарковых. Витя этот, что с бородкой, тоже уже у калитки, А Саша ещё на пороге, только шнурки на ботинках завязывает…»

В самом деле, Саша особо никогда никуда не спешил. Делал всё обстоятельно, с приглядкой. Философом был, с высоты небесной глядел на земное, суетное и только поспешил вот сюда, на «Наугорку», на кладбище, где и все.

Помню вечером зазвонил телефон, я взял трубку:

– А, это ты, Саша?... Дорогой мой друг Саша! Я только что написал мюзикл «Хромая лошадь». В нём есть песня, слова с твоим ощущением жизни. Хочешь,– сказал я,– про-

чту тебе из этого мюзикла эти твои слова: «Идут, идут упрямо мужики…» Записал я их на аудиокассету…

– Валяй,– сказал Саша,– показывай.

Послушал он по телефону меня, мою песню, положил трубку. Ничего не сказал.

А утром позвонили мне, сказали, что Саша в больнице.

Умер мой друг Саша в тот же день, когда и родился. В первый день весны – 1 –го марта.

– Значит, был угоден богам,– сказал я дома жене и сыну.

– И людям,– сказала жена моя Людмила Серафимовна, его названная сестра, и прочитала эту вот «Эпитафию» из этой его последней книги:

« Всё временно
Улыбка и любовь»,

На презентации книги стихов «Я с приокских полей» Александра Серафимовича Логвинова неожиданно мне подумалось, что книга эта, несмотря ни на что, оформлена не так, в обложке ни цвета, ни света. Я вижу Сашины стихи как тонкую, глубокую лирику, как бутон розы, дай распустится, заблагоухает – всё у неё впереди.

15 февраля 2014 года

В парке старинном

Мне не терпелось в парк, в знаменитый Киреевский парк, навеявший некогда лучшие страницы в «Войне и мире» Толстому. И вынесло меня к входу полуподковой, к одиночному дереву, где на лужайке играли дети.

— Не смейте! — вскочил вдруг мальчуган лет восьми — тонкий и русоголовый.— Не смейте трогать её, она делает людям добро!

Не знаю, за какую такую живность горячо вступился мальчишка, но его искреннее желанье добра так и пронзило меня, засветило отсюда каждый мой шаг. Всё теперь было во мне, всё в элегической грусти: давность клёнов и тополей, бледная хилость подлеска, тщетно пытающегося выбраться к солнцу, но довольствующегося пока что лишь бликами. В сумеречных аллеях царили спутанность и запустение. Пруд, в тёмных водах которого ещё с времён войны, говорили, таится Смерть — ржавые мины, затянутые ряской, поросли кугой и тростником. Прислонившись к столетнему тополю, слышишь щекой верховую гулкость ствола, гудение пчёл в долблёной колоде, припрятанной кем –то– по обычаю предков — в развилке мощных суков, и перешёпоты листьев переходят в слова, а гулкость — гудение — в музыку. И ожидаешь чего –то, чего же? У тёмной воды на плотине скамейка. На скамейке забытый кем –то томик стихов: Тютчев. Аромат тонких духов. Знакомые, певучие строки:

Я встретил вас...

И музыка — гулкость сильнее, напевнее, звучит бархатным басом Штоколова; в такт всему поднимается и опускается плоскодонка у берега. Славно, наверно, плыть с шестом в этой лодочке, глядя с воды на просветлённые осенью клёны.

Солнце уже на исходе; по утрам серьёзнеет пруд, и только вершины сосен на карлике –острове, окружённом кугой, ещё держат розовыми стволами заходящее солнце. Налетавшись, грачи хлопочут в своей колонии, устраиваются на ночлег. И текут, всё текут вокруг кленовые листья, обнажая в

былой гущине, в развилье ветвей, гнёзда синичек, малиновок, соек. Как увядающее мило!.. Да, но кем забыт тютчевский томик? Чей в нём аромат? А мысли уносят в ушедшее.

Человек стоит у окна, распахнутого в лунный парк. В человеке всё смутно, отрадно, всё в ликованье, полнится близостью дорогого юного существа. А оно, божество это, рядом, над ним, Андреем Болконским; тоже смотрит в седой мудрый парк, отражённым зачарована светом. Безотчётно в такой миг желанье любви... Человек должен любить, должен искать человека, того, кто способен поднять в нем великие глуби, зажечь, озарить на годы всю его жизнь. Угадать, не пройти, озарить — озариться любовью. В наши дни, когда властно железо, когда людей столько, сколько нет в парке листвы, очень важно найти человека, чтобы вместе — рука в руке — высветлять путь себе и другим... Она, конечно, придёт сейчас за забытым тютчевским томиком,— трепетная, зачарованная луной, Наташа Ростова. Пусть прочтёт, подчеркну ей вот это — самое нужное, важное:

Я встретил вас...

Каблучки затокали неожиданно рядом, по деревянному стоку, я едва успел скрыться в акациях. Обрадовавшись, она взяла тютчевский томик и тут же заметила пометки мои на странице. Улыбнулась. И огляделась. Она была хороша. Серые глаза опушались густыми ресницами, вольные темно –русые волосы ниспадали на плечи и оттеняли светлое платье; и вся она, живая и лёгкая, была так знакома, привычна, словно видена мною и раньше.

А назавтра я занял пост в акации чуточку раньше и видел, как уходила она. Оставив — теперь уже, вероятно, нарочно — на скамье тютчевский томик, она протокала каблучками по деревянному стоку и скрылась за поворотом. И

вновь этот томик лежал у меня на ладони, вновь держались в нём тонкие запахи, возбуждали былое. Я подчеркнул ещё строчку и положил на скамью:

И то же в вас очарованье...

На этот раз она уже не улыбалась. С минуту чутко прислушивалась к гаму мальчишек, гонявших мяч поблизости на стадионе, провожала рассеянным взглядом прохожих и задумчиво смотрела, как догорает на соснах закат.

Наблюдая за ней, я пытался представить всю её жизнь: босоногое детство, подруг её, первую, последнюю тайну, и что –то большое и тёплое колыхалось в груди моей. На сей раз в оставленном томике было подчёркнуто:

Бывает день, бывает час,
Когда повеет вдруг весною...

Не знаю, но мне показалось тогда от всех этих звуков, от всех этих слов, от органных регистров романса, вдруг вломившихся с силой в меня, очень душно, невозможно доле оставаться в акациях. Я вышел из укрытия своего и побрёл куда-то по берегу, по пересохшему гирлу пруда.

Бежит, торопится стёжка куда-то за сосновую кладку. Мимо колодчика, мимо шершавого клёна, опиленного наподобие головы лося; долго ещё лесной зверь следит за мной своим неусыпным зраком. Этот взгляд деревянный, патрон от «мелкашки», найденный у Барсучьей горы, отрезвляют, охлаждают, настораживают меня. Вот она, эта гора, превращённая в тир.

Часть кургана, лицом к тропе, изъязвлена пулями. На макушке плоско и солнечно. Здесь сирень, клён, акации, перевитые хмелем. Дальше спуск к отступившему пруду — хмурый, пологий и влажный. Ни травинки. Деревья с темнеющими стволами и корнями, словно мангровый лес. По-

выше, в комелёк серебристого тополя, уходит барсучья нора. Глинистые края ещё остры, но чернь входа уже заткана паутиной... И я слышу вдруг выстрелы, чую, как пули впиваются в тело горы; эхо ходит от дерева к дереву, по аллеям, которыми вслед за Андреем Болконским когда-то бродил Лев Толстой, улетает за пруд к той скамейке, к тютчевским строчкам, к Её белому платью. «Тир. Неужели он нужен именно здесь?»

А назавтра я уже не пришёл. Не пришёл сюда и через день. А когда пришёл — похудевший и строгий,— то не стал забираться в акации: сел на скамью и стал ждать урочного часа. Она подошла мягко, неслышно и стала напротив, и протянула раскрытый тютчевский томик, и, вспыхнув, отвернулась порывисто. Синим горело в нём:

Слёзы людские, о слёзы людские,
Льётесь вы ранней и поздней порой...
Льётесь безвестные, льётесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые.
Льётесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной.

Я взял ладонь её — она была легка и послушна. Мы шли, и вялые листья стекали у нас по плечам. Сквозили пустоватые клёны, в несметных, разноколёрных золотах под ногами пышнела земля. И ветер теперь проникал свободней в аллеи и остужал наши лица. В такие минуты кому не захочется показаться талантливым, умным, а у русских — уж так оно есть — всё начинается и кончается словом о родине, о будущем края родного, России.

—Вот парк, знатный парк. Сосны, липы и тополя.— Подстраиваясь под неё, перешёл я на мелкий шаг.— И знавал я одного садовода, так для него нет лучше дерева, чем,

скажем, яблоня. Всё другое ему пустяки. Пустяки перед садом целый липовый парк...

— Как это у тургеневского Базарова, не изъясняйтесь слишком красиво. Не надо.

— Зарастаст пруд. Видите, вон гирло его затянуло уже тростником, островки примкнули к самому берегу... А в Кочетах заиливает толстовский родник. Редеет гамма тонко подобранных крон в Шестаковском парке, пропадает Воронцовский под Глазуновкой.

— Ну и что, по –вашему, парков теперь не сажают?

— Сажают. Конечно, сажают! Да всегда ли умело?.. Не пора ли, пока они ещё целы, всерьёз подумать о них, о старинных? Почаще бы обращаться к ним за советом...

Мы шли аллеей близко друг к другу. Иногда, в темноватых местах, она и вовсе придвигалась ко мне, и тогда даже на расстоянии за её тоненьким ситчиком ощущалось живое тепло. Смотрели на дымящийся пруд, на островные сосны, ловящие стволами закатное солнце, и мне, не остывшему от разговора, всё ещё воображались липы белоколодезьские, кочетовские вязы, шестаковские ясени — все деревья парков старинных, от которых, коль глядеть на них снизу, валится шапка: так высоко они встали над нами, и с годами становятся и мощнее и выше — часовые нашей истории, нашей культуры...

— Вы помните? И то же в вас очаровапье,— оживляется она. — Что означали тогда для вас эти слова?

Да, у нас с ней, оказывается, уже много общего: этот пруд, эта дымка, эти воспоминания. Почему я тогда подчеркнул эту строчку?

— У вас есть сестра?

— Нет.

— Простите. Значит, вы — это вы?.. Сестра милосердия. Как когда-то Наташа Ростова. Наташа встречала Болконского израненным, уже побывавшим в деле, она...

— Сейчас я, наверно, спасла бы князя Андрея.

— Вы?

— Да, — она улыбнулась просто и нежно,и прижала пальцем над ухом тонкую прядку волос— Я работаю в той вон больничке. Прошу завтра с утра на приём.

— Лучше с вечера, как всегда.

Я поискал губами висок, но нашёл тонкие пальцы и прижался к ним — они задрожали и опустились на шею.

— Не надо,— шептала она, глядя в меня большими, потемневшими от волненья глазами. — Не надо.

И сбивалось дыхание: волны вновь и вновь выкатывались на камень, раздвигали сохнущие тростники. И в такт им, скрипя ржавой цепью, поднималась и опускалась лёгкая плоскодонка. Прислонившись к столетнему дереву, слушал щекой я верховую гулкость ствола, и белое платье переходило в туман, туман в сизую дымку, дымка растворялась над прудом. А гулкость сгущалась в мелодию, насыщалась словами, звучала бархатным басом Штоколова:

Я встретил вас...

Душе хотелось чего –то большого и сильного, достойного всего этого, такого родного и близкого. Перед глазами проходила Россия — вся в тальнике, полувесенняя, чуткая, когда прекрасые звуки ещё закованы в почках, готовые вырваться, пролиться миру зелёными шумами, напомнить тебе, что ты сын своей Родины.

Мы и любим своих россиянок за то, что они нам как часть нашей родины, словно корень её стержневой. Один из них вровень с нами — что на ратном кургане, что у огненно

–мирных мартенов. Другие, как Ярославна, делят с нами горькую влагу из шелома. А третьи — да каждый по себе отыщет светильник — нам светят всю жизнь и зовут, вдохновляют...

— Я встретил вас,— сказал я ей, глядя в большие глаза, искренне радуясь, что всё былое уступало во мне место надеждам, а значит, и будущему.

Как и во времена Киреевского и Толстого, перед псовой охотой, в слободе перебрёхивались собаки –зайчатники, горланили, чуя рассвет, петухи. Первые машины со свёклой полоснули фарами по дремотным вершинам сосен. День начинался.

9 февраля 1979 года

Липа вековая

По просёлку, облитому сентябрьским серебреющим солнцем, часто останавливаясь и отдыхая, движется тощий и длинный старик. Ему помогает идти крючковатая палка — давняя спутница его путешествий. Вдаль старик видит явственно, зорко, вблизи дорога ему неожиданна и беспокойна. «Все ямки с тобой пособираем,— беседует он со своей палкой, словно с живым существом.— Каждая нашей будет». Тыкаясь в придорожье, в ещё не просохшую канаву, в бурьян и кустарник, палка тянет его всё вперёд, к горизонту, где на взлобке, подрагивая, разлилось по просёлку водянистое марево. Старик несёт тело бережно, голову держит ровно и прямо; скашивая вбок глаза, жадно ловит широкими ноздрями густой, терпкий воздух с садов и полей.

Красотища какая! Зелено, живо всё ещё — всё дожди да дожди. На что полынь, а и та молодится. Хотя в это время её, бывало, уже собирали да пихали под постели. От блох. А теперь чище жить стали, стоит — не нужна...

Вот на этих мест, лет с полсотни тому, подперев калитку плетнёвую коромыслом, зашагал он, молодой да здоровый, в город. На деньги. Вон тех белых шиферных крыш тогда не было. И посёлка того вон, и сада. И поля теперь гонами в два километра. Жили люди тут, пока ты раскатывал. Не сказать, чтоб боялся работы,— работал. Только чуть что, бывало, мастерок иль топор на плечо и айда в другие места, прощевайте. Помотался от Туркситба до Воркуты. Ни с семьёй, ни с домом так и не получилось, потому –то и звал сам себя, где бы не появлялся, Перекати-Колей. Звал невесело, с горькой усмешкой.

Не имелось у него страстей –привязанностей, кроме как одного: был любитель он книжек и читал их запойно, что попадя; в торбе его, которую звал Перекати-Коля «книжной лавкой», перебывала всякая всячина: по истории древнего мира, по учению Канта или про африканских термитов... Пробовал даже сам пописывать — с коих пор в торбе три толстенных тетради. А в последнее время его волновали стихи. Знакомый паренёк Лёнька Синяев, журналист, подарил ему «Песнь о Гайавате». Интересная штука. Перевёл её с английского русский писатель Иван Алексеевич Бунин, когда в Орле жил и работал в газете. Бережёт старик Лёнькин подарок, завернул даже в целлофан. Увидел как-то на областной карте деревню с названием Бунино, удивился, собрался даже наведать её, а пришлось тащиться сюда вот, к родимому корню, к своей изначальной земле. Остарел, заплошал Перекати-Коля в какой –нибудь год, по утрам уже

невподым, и воды— захворай — подать некому. Да куда, не в артельный же дом как безродственному, к старикам. Вот и шёл теперь ближе к погосту, где лежат отец –матерь...

— Какая деревня? — спросил он рисовальщика – паренька возле пруда, чтобы как-то заговорить с ним, отпустить свою душу.

— А Полозово.

Постоял, посмотрел ему через плечо. Ловко паренёк орудует краской, возникают на бумаге дома под железо и шифер, и спросил, удивясь робости в голосе:

— На заказ, что ли?

— Нет,— сказал паренёк и обернулся. Оглядел старика: — Учусь в Москве на художника... А деревня, дед, сия историческая. С неё писал Шварц — слышал, был такой в прошлом веке? Между прочим,— сыпал парнишка,— жил он тут рядом, в Белом Колодезе, в тридцать один год ходил в академиках, родоначальник русской исторической живописи. Известна его ещё дорепинская картина «Иван Грозный у тела убитого им сына»... Так вот с неё, с этой Полозовой, и написал академик пейзаж к своей картине «Вешний поезд». Сирые хаты, к весне голые слеги... А писалось им с этой же точки.

— Скажите,— вздохнул старик, потоптался на месте, оглядел ещё раз деревню и опять зашагал, застучал по просёлку своей крючковатой палкой.

— А мы –то с тобой, дураки, и не знали,— бранил он её так, для порядка, беззлобно.— Исторический живописец!.. Ты –то, конечно, магнитогорская, а я, гляди, тутошний, мужлановский я...

В это самое время навстречу старику по дороге из Белого Колодезя двигались двое — садовод Семён Семёныч Чубаров и его внук Алёшка. Их автобус полуденным рейсом

в село почему –то не прибыл, и они шли на большак, чтобы сесть на какой –нибудь проходящий. Солнце висело по –над ракитами, оттого на проезжей тенистой плотине было зеленовато и зыбко. Недлинная улица с давними каменными постройками –мезонинами в узорную кладку, с орнаментом, полнилась нынешней жизнью: всезнающими ребятишками, тюлем на окнах, ящиками из –под вермута у магазина, обязательствами у совхозной конторы...

Был самый сезон сбора яблок: белоколодезьский воздух бродил, словно сок отборной антоновки. И Чубаров вдыхал его, тяжелея, хмелея. Иногда блики ложились ему на расстёгнутую у шеи ковбойку, на торчащий из –под неё треугольник тельняшки, как Юпитером, выхватывали на переносице родинку, выделяли смуглость и пористость кожи. И странным было сочетание серебристых висков с тёмными, буйными по –молодому бровями, и тело его было плотно, но сухо, подобрано — такие, говорят, легки на ногу. Он шёл, слегка подаваясь к земле, словно тянули его большие, чугунные руки, и думы его были невеселы. Он представлял, как пройдёт и этот сезон — его последний сезон. Полетят белые мухи, и некуда будет спешить утрами, некуда будет деть эти ставшие враз ненужными руки. Не прибавится дел ни весною, ни осенью. И он станет приходить сюда просто так, на прогулку.

Не ведал Алёшка, что творилось в душе его деда.Был паренёк блондинист и круглолик, с чуть грустнеющим взглядом; губы сочны и крупны — верная примета доброты и покладистости человека, смеялись люди — ими хоть валенки подшивай. Шли Чубаровы каждый эа своим делом: Семён Семёныч — в райсобес насчёт пенсии, Алёшка ехал в город впервые — устраиваться.

Но вот и Мужлановский свёрток. Стоит огромная липа, стоит распушается. Лет сто ей, а может, и двести. Кора её обтрескана, обмыта, обтрёпана ливнями и ветрами. Любит вверх –вниз по ней пробежаться всякое муравьё, особо когда под напором сока лопнет где –либо сладкая кожа; тогда бегут на оказию взводы и батальоны — напрямик через ямы, шершавины...

Когда Чубаров с Алёшкой подошли к липе, старик уже сидел под ней, задумчиво трогал своей крючковатой палкой муравьиную кучку. На развёрнутом вершке лежал кусок сахару. Старик наблюдал, как суетится вокруг него мелкая живность.

— Когда это они всё зачинят? — присаживаясь на обочину, интересуется Семён Семёныч.

— А соберут совещание, составят смету, согласуют с начальством, — посмеивается глазами старик и вздыхает: — Гляди, бьются. И у них это так: кто кого смог, тот того с ног.

— Ишь ты, — косится на него Семён Семёныч, — сам –то, должно, натерпелся, вот и... Как зовут –то тебя?

— Перекати-Коля.

— Так и зовут?.. Мудрёный ты, дед, — сладко вытягивает Чубаров ноги. — А ну, Алёшка, чего там унас?

Алёшка долго роется в сумке, наконец извлекает лепёшки — свойские, пресные, в рубчик, потом появляются малосольные огурцы. Добрый хлебный дух перемешивается со сладковато –укропным, возбуждает слюну, рождает желание провернуть её языком.

— Эх –хе –хе, — отворачивается Перекати-Коля.— А мне вот не естся не пьётся, никак не умрётся. А что, яблок нетти у вас?

— Да ты, дед, ещё справный,— улыбаясь, запускает Алёшка свои крепкие зубы в лепёшку. — Ещё поживёшь, потянешь. А что это в торбе?

— Деньки потянутся — ноги протянутся. С год назад внутренность тверже была, а теперь всё дрожит... А в торбе –то книжка. Во! «Песнь о Гайавате». Слыхал? «Дай коры мне, о берёза! Дай мне, ель, смолы тягучей, дай смолы своей и соку...» А что, яблочка нетти?

— Эх, жисть, — жуя, вздыхает Чубаров и косит в сторону, откуда должен показаться автобус. — Молодой боится, что останется, а старый — околеет.

Перекати-Коля прячет книгу обратно. Сидит молча, глядя прямо перед собой.

— Везу вот Алёшку и свои документы, возвращусь обыдёнкой... На, жевни, — подаёт старику Семён Семёныч лепёшку. — Отрываю от титьки. Нехай там учится справлять телевизоры.

— Эка куда, — оживает Перекати-Коля.

— Десятилетку закончил Алёшка. Хочу, чтоб стал человеком. Вернётся внук мой в деревню, наденет сверкальные очки, сядет в пузово личной машины, ха –ха...

— А как же,— в ответ посмеивается Алёшка.— Сейчас материальная заинтересованность... Только я тебе уже сказал! — твердеет голос Алёшки.— Пойду на художника. Кистью пойду своё брать.

— Ишь ты, Александр Македонский,— удивляется Перекати-Коля.— Кистью города завоёвывать! А скажи мне, чем знамеиито здешнее Полозово? Молчишь? То –то... И я когда-то тоже был во! Усы аж за ухо закидывал. А теперь, гляди, на губе три хворостинки и спину колом поставило.

— Всё гнулся, небось, — буркнул Алёшка под нос себе, но Перекати-Коля услышал.

— Молодой человек! — старик, когда начинал закипать, всегда говорил неспешно, отделяя каждое слово.— Ты, скажу, тебе, ещё что картошка июльская: молода рубашка – то, р –раз и нетти. Губа толста, душа проста... Надо гнуться, не то любого поломает. Жизнь всякого производит восклицательным знаком! А получит человек в зубы — глядишь, загибается, ходит уже вопросительным. Так-то легче. А восклицательных, как гвоздей, вземь по самую шляпку...

— Каждого не загонишь,— тряхнул головой Алёшка.— Новые народятся... Стране нужны не загибшие, а здоровые, сильные!

Муравьи уже заделали вершок и по стариковой палке, прислонённой другим концом к липе, потекли жидкой струйкой к стволу, поползли в шелестящую высь.

Призатихли путники, наблюдая за муравьиной братией, упорно лезущей к солнцу и листьям, туда, где крупнела широкая купа. Иногда полевой ветровей, налетая, задирал её — сверху донизу начинали ходить полосатые волны, солнце вникало в матёрые теми, где и лучилось в бисеринках ещё непросохших утренних рос. Перебивая суету воробьиной компании, ссорящейся на самой макушке, шелестит, шумит липа, ходит волнами над головой — липа, липушка вековая. Лето — осень, осень — лето пройдут, но всё будет здесь, на скрещенье дорог, как и сейчас; муравьи струиться, шептаться над путником купа, но то будут иные люди и времена...

— Интересно узнать, чем всё это кончится,— нарушил молчание Перекати-Коля.— Жилось и не думалось, а пришёл час, жалко, что и ног на койку скоро не заведу... До погоста доберусь вот и лягу с отцом –матерью рядом. И с

бугра всё видать будет, и буду с полями я говорить – разговаривать, коли в жизни не наговорился, и ветра принесут дух мне полынный, ромашковый... Хорошо, Алёшка, по белу свету побродить –поглазеть. Завоёвывай город, а от земли своей ни –ни –ни. Да не шибко бери, а то мигом схрястают, скусят головушку.

— Сирота он у меня,— сказал Чубаров раздумчиво,— боюсь, дюже горяч. Весь какой –то зачитанный. Ищет смысел по книжкам, стало быть, правду жизни.

— Что ты знаешь! — вспыхнул Алёшка.—Сам зарылся в сады, а меня в телемастера!.. Техника будет выращивать сады, убирать урожаи, а людям — заниматься искусством, совершенствовать жизнь.

— На язык ты востёр,— говорил с грустью Чубаров.— А вот когда дело — в кусты. Цельную зиму проучился на механизатора, а как лето — не на трактор, а в город. Художником ему! Не хочешь на этого... телемастера — сам тянись, на копейках. Скотину и ту держат впроголодь, чтобы на зов хозяина шла.

— В бригадиры б тебя, Семён Семёнович,— не унимался Алёшка.— А то управляющим...

— Порядок нужен, куда без него? Чего взмыкался: то тебе не так, это не так...

Перекати-Коля сидел затихший и строгий. Затем, словно вспомнив что –то, снял затёртую шапку, достал из подкладки иголку с ниткой, принялся зашивать дыру на колене. Смахнул муху со лба:

— Мухи, гляжу, пошли злые. Осень же. Не так кусаются, как щелокотно, полозиют вроде как ногтями тебя.

— Куснёт, брат, и до крови,— отозвался равнодушно Чубаров и, задумавшись, долго глядел на дорогу, сады, темневшие на горизонте.

— Да, кровь, брат ты мой, кого только не тянет... — живо подхватил Перекати-Коля.— Помнится, жил я на Днепрострое, так повадился заяц к хозяйке в сад, глодать саженцы. А я возьми да намажь их бычиной кровью. Нашлось вороньё, добела склевало кору...

Так сидели они, рассуждали. Речь то вспыхивала, то затухала. А липа прислушивалась да шевелилась каждым листом, каждою веткой — липа давняя, вековая.

Не дождавшись автобуса, Чубаров с внуком засобирались домой, позвали с собой и Перекати-Колю («а что, не проживёшь нас, не объешь»). Но тот отказался, остался под липой, начал устраиваться на ночлег. И пошли они, дед с внуком, заторопились, чтоб дойти домой засветло, побрели по дороге на Белый Колодезь. Проходили посёлком Кубанью, деревенькой Шишкино, мимо нового клуба. Поспешали липовым парком. Аллеи подводили к церквушке — крепенькой, из красного кирпича, со снесённым куполом, отчего она казалась незавершённой.

Замечательны вокруг были сады, новый цех –красавец по изготовлению соков. Шёл Чубаров, отдыхая душой, радуясь, что идёт с Алёшкой снова садами. Редки были яблони здесь тогда, в сорок третьем. Полтора года стояла передовая, полтора года убивала сады. Здесь Чубаров высадил первый свой саженец, дённо и нощно трудился. Были почётные грамоты, ордена. И вот уберёт урожай да на пенсию. Это его последняя осень в садах. Сады — вот что оставляет он людям. Разве этого мало — сады?..

Подобралась и ночь. Луна ещё не взошла, оттого в парке было глуховато и жутко. Ноги то уходили в пустоту, то спотыкались. При свете звёзд увиделась кладка из светившихся слежек –берёз. На бугре возник чубаровский дом – пятистенник. А позади, в парке, липы всё так же стояли стеной; на одной из них репродуктор сочным, глубоким голосом, с затаённой страстью пел арию Далилы. Голос всё закипал, закипал, взлетал ввысь, проходил над деревьями, утекал далеко –далеко, на Мужлановскпй свёрток, к одинокой липе на перекрёстке, по стволу от макушки спускался вниз к комелю, где приткнулся Перекати-Коля. Он лежал на бушлате, уперев голову в торбу— свою «книжную лавку», и, ещё не остыв, продолжал вспоминать спор Чубарова с внуком Алёшкой.

«Город тебя пережуёт да и выплюнет, — горячился Семён Семёныч».— «А я костистый, кремнистый»,— огрызался Алёшка.

Старик лежал, заложив обе руки под затылок, и глядел вверх, и чуял сквозь липу немигающий свет Полярной звёзды, и губы в такт шелестению листьев шептали:

...Пел мне песнь о Гайавате...
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шёл к добру и правде...

И представлялось ему, что он, Николай Дмитрич, в родимой Мужлановке, на бригадном дворе, пришёл сюда с утречка, пока механизаторы ещё не отправились в поле. Он читает односельчанам, и люди слушают, внемлют ему, как пророку. А облака всё текут и текут, восходя от земли, проникая сквозь неё, как сквозь эту вот липу — липу давнюю, вековую. Были когда-то вон какие писатели — не стало, не станет и его, старика, и тело его исчезнет, сольётся с землей,

но влага душевная, перейдя вот в такие облака, будет плыть над людьми, над полями, над временем, пока не прольётся где-нибудь благодатным потоком.

10 октября 1972 года

И ударили в колокола

Городку накатило тысячу лет. Возник он на Руси ещё до христианства в густых лесных дебрях на пути «из варяг в греки». Через него перекатывались вороги с огнём и мечом, от батыевских полчищ до наёмников Лжедимитрия, и пропадали в вечности. Росли, возвышались другие, соседние города, а Тучневск за тысячу лет едва ли прибавил и тысячу жителей. Как стоял на высоком откосе Десницы –реки чёрной хлебной коврижкой с церковными шпилями, так и остался стоять, созерцая спокойные, зеркально –зелёные воды Десницы. Правда, в последние годы шпилей поуменьшилось, зато выросло длинное белокирпичное здание — филиал одного из столичных заводов.

Местные власти решили придать юбилею тот размах, на который был только способен районный бюджет, при этом ресурсы филиала играли, безусловно, главную роль. В замысле отцов города венцом юбилейных торжеств намечалось стать открытие памятника Бояну. Все тучневцы всерьёз считали его своим земляком. Почти каждый уже первоклассником повторял наизусть строки:

Вещие персты он подымал
И на струны возлагал живые.

На первую встречу с историческим бардом в вечный град спешили его нынешние единомышленники — поэты

соседних городов и весей. Их оказалось не так уж много, всего трое: либо время открытия совпадало с «бархатным сезоном», либо на братию не хватило гладкой бумаги для пригласительных. Эти трое — бородач –мыслитель Матвей Дрынов, предприимчивый Николай Рындин и легковесный Миша Капустин — въезжали в Тучневск на исходе дня, видели впереди «Колхиду» с сосновым ящиком в кузове и, конечно, не подозревали, что прибывают в родной город Бояна почти в одно время с его изваянием.

Как это часто бывает в русских народных сказках, памятник вырос на берегу Десницы –реки всего за ночь. Вернее, его только поставили на пьедестал, подготовленный прежде, и держали пока под полотном. Ветер с реки полоскал складками белой материи и возбуждал интерес. Гости и местные жители уже с утра прохаживались по подчищенному, умытому древнему городу, собирались кучками, схлёстывались в спорах, с нетерпением ждали урочного часа. В это время похожий больше на попа –расстригу, чем на поэта, заматеревший Матвей Дрынов просыпался в отведённой ему резиденции. Лежал и смотрел в потолок, соображая. Ну устроились в номере — помнит. Ну Коля Рындин потащил выступать в райотделе внутренних дел («для налаживания контактов с сенью закона») — помнит. Ну молоденький следователь милиции Вася Несмирнов читал стихи и краснел, словно девушка, — тоже помнит. Вася оказался земляком, из Матвеева города, даже в школе одной учились. Дальше была пустота, чернота, провал, Маракотова бездна...

Они вышли на центральную площадь Тучневска. Городок гудел, словно улей. Народ валом валил к Бояну, но, увидев его в полотне, а дощатую сцену перед ним покамест пустой, рассыпался на множество ручьёв и ручейков. Песни,

смех, подковырки. Кремплины, сапоги –чулки, сапоги на платформе. Где-то пискнула и закатилась гармонь, тут же взвилась частушка. Ринулся на звук Миша Капустин («мёдом его не корми, куплетиста»), Николай Рындин («тоже мне, артист») тут же подсел к девчатам на лавочку, и Матвей не заметил, как остался один. Он прошёл глубже в парк, выбрал глухое местечко, присел.

Отсюда хорошо виден плёс, плавный изгиб Десницы – реки, сквозь деревья едва угадывается белое пятнышко — вознесённый над землёй Боян. Пока скрытый от глаз, пока в покрывале. На берегу приземистые лабазы, остатки крепостного вала, за бойницами голубой, с золотистыми блёстками, купол собора. Чист и прозрачен воздух бабьего лета, листья клёна шуршат, шуршат, шевелятся, как и шуршали когда-то... Матвей сидел в оцепенении и чувствовал себя то самим собой, то Бояном, то снова самим собой, и всё, о чём пели когда-то Бояновы струны, обернулось в нём осязаемой плотью, взвилось и затрепетало.

«О Русская земля! О тебе наши думы и боли, для тебя и живём. Костьми своими стелем тебя из веков и в века. Вон стрелой целит в самое око половчанин –кочевник, вон несут латыняне смерть на кончиках копий. И корчатся в междоусобице княжества, хлыщут сабли кривые по серебру Дона, и вот-вот разметётся — развеется и исчезнет народ, как стирались их тысячи на бессмертном лике степи, но держит его, не даёт пропасть кем –то сказанное впервые, — о Русская земля! И уже воспеты слова –звоны вещими струнами, и уже клонятся, заслоняют их, будто червлёный стяг, сдруженные в дружины, за дружинами стоит, упирается, выкрепает и здравится матушка Русь.

И ведь гусли твои, Боян, не сильнее шума дубрав, и ведь голос твой затопает в шорохе крыльев лебяжьих, да затронь лишь, дыхни словом –звоном где-то под Киевом, а услышат его аж у Великого Новгорода. И ведь очи твои, Боян, давно сгинули, лопнули, выкипели от трахомы, нещадных пожарищ, и ведь водит тебя в ночи малец –поводырь, да рассыпь по дорогам щедрые звоны — не князья, не советники княжеские, а ты, только ты, неподступный, и видишь горевые и светлые дали Руси. Лишь перстами своими на струны — баскаки по –сусличьи ускользают в свою Золотую Орду, псов –рыцарей тянет сталь на дно Чудского озера, и смывает ливнем ливонцев, накрывает снегами поляков, французов. Так и мнится, как Невский или Коловрат, Донской, Пожарский, Кутузов призывают его, ясновидца, перед сражением: А ну вдарь, Боян, в свои вещие струны. А ну глянь в наши судьбы: что там скрыто за тучами туч?»

И плывёт плач Боянов по русским пробитым кольчугам, восславляет Боянова песнь уснувшую и уже пробуждённую жизнь.

«Воспой, Боян, праздник вечного города, каждый день прожитой тысячи лет.

Возговори же, положи в душу слово!»

А люди, мимо Матвея, идут и идут по аллее в ожиданье урочного часа.

Стояч и прозрачен воздух бабьего лета. За валом словно врезалась в небеса колокольня — так явственно всё на ней до малейшего, даже колокола. Говорят, собор стоит на фундаменте древней церквушки, звон которой, может, слышал Боян.

Листок упал на колено, и Матвея слегка подёрнуло от озноба, он встал. Приятели сидели на прежнем месте. Пред-

ложение Дрынова осмотреть колокольню, на которой бывал, по преданью, Боян, было встречено с энтузиазмом.

Прошли к крепостному валу, к Деснице –реке. Через буераки, куски труб и какие –то брёвна подходили к собору. Миша Капустин, зацепившись за доску, чуть не влетел в яму с извёсткой.

— А что если б влетел? — вертел копной тёмных кудрявых волос этот Миша.

— Кто бы тогда куплеты писал? — подковыривал его Коля Рындин.

Подошли к собору, к самой двери. Она была вся в извёстке, рядом высилась горка битого красного кирпича. Из дощатой будки напротив выскочил щекастый маленький человечек. Новая болоньевая курточка и болоньевая фуражка с лакированным козырьком.

— Вы от городских властей? — человечек даже подпрыгнул от радости. — А мы ждём, ждём.

— Мы оттуда, — серьёзно сказал Рындин и серьёзно посмотрел на Матвея. — Мы комиссия отца Дионисия.

— Какого отца? — человечек на миг приостановился, перевёл взгляд на Мишу.

— Ну... это,— опустил глаза Миша Капустин. — От всех отцов сразу... от отцов города.

— А, ну будем знакомы, — суетливо подавал руку каждому маленький человечек. — Прораб Перепёлкин.

— Ну, так что, товарищ прораб, — уже входил в роль Коля Рындин, — начнём без всяких –яких, с объекта? Переделки –перепёлки, недоделки –недо...

— Я бы предложил, — Перепёлкин перевалился с ноги на ногу, заглядывал в глаза каждому, — предложил бы сначала в прорабскую. Документики, ради праздничка и т. д. и т. п.

— А что, указание какое? — спросил было Дрынов, но Коля Рындин уже вёл за рукав Перепёлкина. — Можно, понимаете, и без сокращений, понятно?

Стол в прорабской ломился от яств.

Выходили из прорабской в высочайшем расположении духа, всем хотелось на колокольню. Коля Рындин хлопал по плечу Перепёлкина, говорил, что здесь не в пример другим прорабским участкам дело, пожалуй, поставлено хорошо, но ещё не совсем, можно, конечно, поставить и лучше. Дрынов всё хотел втолковать Перепёлкину, что они никакая не комиссия, а всего –навсего гости города в связи с юбилеем, но Перепёлкину так хотелось, чтобы это была непременно комиссия, и потому он не слушал Матвея. «А, где лучше? В тресте по ремонту памятников мы вроде бы не из последних», — ставил он в тупик Дрынова. «А везде хорошо, — отвечал за Матвея Коля Рындин. — Например, у Куропаткина... слыхал такого?., на ремонте этого... ихнего леса».— «Ты даешь,— улыбался Перепёлкин сочувственно и подмигивал Матвею: — На объект пойдём или так, на слово поверим?» — «На объект, — было сказано строго. — На колокольню».

Поднимались в тёмном и затхлом каменном мешке, по вконец рассохшейся лестнице. Доски под ногами всхлипывали, стонали. Эхо гудело в колодце, затихало где-то внизу. Матвей на минуту представил, что будет, если рухнет под ними всё это гниль ё, и махнул рукой: ладно. И едва поспевал за Перепёлкиным. В спину Матвею противно сопел Миша Капустин, от него пахло кожанкой и ещё чем –то гнилым, нехорошим, капустой, что ли? «Аденоиды, — раздражённо подумал Матвей. — Давно б выдрал, чёртова бочка. От твоих куплетов моль в ушах заведётся, никакой дуст не возь-

мёт». Постепенно Матвеевы мысли обретали устойчивость, переходили на твёрдую юбилейную тему, из глубины подымался Боян, даже лицо воображалось отчетливо, явственно, копия соседский дед Митрофан — пшеничные брови, пшеничные усы, родинка на правой щеке... Вот поэт, из поэтов поэт. Золотое слово, со слезами смешанное...

Пахнуло воздухом, ослепило светом. Колокольня стояла на семи ветрах, кругом так и сквозило. Голуби с шумом бросались вниз, кружились взволнованно, вовсе близко от тех, кто посмел нарушить покой. Весь Тучневск был как на ладони, со всеми своими улочками и закоулками, огородами и курганами, остатками вала и крепости. Далеко в голубые леса уходила Десница –река. Вот с таких сторожевых мест и оглядывали местность бородатые пращуры, дымами подавали сигнал об опасности дальше по линии, до самой Москвы. Колокольня. Колокола. Вот они, большие и малые, бронзовое литьё. В них душа певучая предков, в каждом звуке глубинный смысл... Там, по кромке леса, враги, и тогда удары частят, нагоняют тревогу, обгоняют друг друга, воедино сливаясь, срываются, переходят в набат. И тогда чьё же русское сердце не вздрогнет, не навострит себя мужеством, чья рука не потянется к палице? Там они, те леса. Заколодило стежки –дорожки, блудит путник в измраке дебрей. И вдруг, как из сна, явью дедовой сказки, где-то тут малиновый звон.

Колокольня. Колокольное царство. Главный колокол в рост человека, остальные собратья поменьше — висят на чёрных, дубовых брусах, молчаливо угрюмые, все в пятнах, в голубином помёте, прозеленелые, полусъедены временем буквы. И немые — срезаны все языки. Не получится «русского звона». Где-то там, внизу, уже гудит площадь и тре-

пещет белое полотно, все готово к апофеозу. «Как же так, без Бояна? — мечется Коля Рындин по колокольне. — Сейчас мы что –нить придумаем, голос его подадим». И суёт Перепёлкину ломик железный.

— Это как... по программе? — берёт за локоть его прораб Перепёлкин.

— По программе, по программе, — объясняет Коля Рындин популярно, с применением рук. — Как врежу в главный колокол — бум, так ты вот по этому — динь –линь –динь. Понял? Делаем благовест... Ну –ка, Миша, глянь, чего там па площади? Поползло полотно?

— Поползло, поползло! — закричал Миша.

— Ну, пошли. — Для торжественности Коля Рындин слегка задержался и, поймав настороженный взгляд Матвея, размахнулся, ударил в край главного колокола, сверху посыпались хворостинки и перья.

— Динь –линь –динь, — ответил массивному гулу тонкий колокол Перепёлкина.

Коля Рындин метался по колокольне, показывал, кому за кем вступать. Выходил, получался у них благовест, они это слышали. Гремели, пели своё колокола, Боян с колокольни подавал голос Бояну на площади. Звук главного колокола казался Матвею коричневым, Мишин — синим, этот — зелёным. Стояли люди под древними звонами, вглядывались в изваяние, и не было на площади никого, кто бы до слёз не гордился сегодня эпохальным своим земляком...

Под конец Коля дал команду ударить «всеми наличными средствами» — сделали перезвон. Трезвон ещё долго стоял в воздухе, звенело в ушах.

— Где это ты наловчился? — спросил Матвей удовлетворённого Колю Рындина и слабо слышал свой голос.

— Потомственный музыкант,— смотрел весело Коля.

Собрались спускаться на грешную землю.

— Шуму не будет? — заглядывал вниз Миша Капустин.

— Чего теперь, — утёр Коля Рындин лоб тыльной стороной ладони.

— А вы что, ребята... не по программе? — обеспокоясь, переводил с одного на другого свой взгляд прораб Перепёлкин.

— Ладно, не помирай, — тряхнул головой Матвей Дрынов и улыбнулся прорабу: — Не бойсь, нас поймут. В такой день и не подать голос Бояну?

Шли парком к площади, к памятнику Бояну. В объятия бросился Вася, Василий Несмирнов, следователь.

— Ищу –ищу, где хоть вы пропадаете?

И потащил всех в павильончик на главной аллее.

— Иже еси на небеси,— пропел Рындин и подморгнул Матвею.

— Я пас, ребята, — сдерживал шаг Миша Капустин. — У меня, ребята, желудок.

— А у нас, по –твоему, что — лоханки? — говорил Дрынов сердито. — Давай, брат, не отставай. Русь сегодня гуляет.

Шли, захватив в ширину половину аллеи. Василия толкнул случайно мужчина средних лет, седоватый, в светлом плаще.

— Стоп! — остановил мужчину Василий. — А ты знаешь, кого толкаешь? Кто я?

Мужчина стоял и смотрел на него внимательно, очень внимательно.

— А ты знаешь, кто я? — выговорил, наконец, он спокойно и усмехнулся.

— И знать не хочу.

— То –то и оно, что не знаешь, — теперь уже твёрдо сказал мужчина. — Вот и я тебя тоже знать не хочу. Захочу — сам расскажешь.

И пошёл своей дорогой.

Василий стоял без движения. Побежал догонять ребят.

— Ну, обменялись мнениями? — усмехнулся Миша Капустин.

— А –а, — раздвинул брови Василий и, хохоча, потащил всех к обрыву читать у обрыва стихи.

После вечера поэзии в местном Доме культуры возвратились благополучно на «свою базу», в гостиницу. В номер к ним, в их отсутствие, подселили ещё одного «клиента», уложили дядечку на раскладушке. Администраторша извинялась, просила войти в положение: такая дата, всё у них переполнено, а где-то надо же переночевать человеку, тем более тоже гость города: солидный дядечка, генерал в отставке. Миша Капустин, кровать которого прижали по такому случаю к печке, заворчал было на всех этих «солидных, от которых несолидным хоть в трубу лезь», но Коля Рындин прицыкнул, сказал, что положит его к себе на постель, а его, Мишину койку отдаст генералу. Генерал оказался тот самый, встреченный на аллее,– щупленький, подвижной, ничего мужик. Во –первых, он наотрез отказался от Мишиной койки, во –вторых, так легко и просто вошёл в разговор, что даже Матвей Дрынов, который предпочитал в гостиницах больше внутренние монологи, и тот не заметил, как вскоре втянут был в разговор. Владимир Петрович — так звали нового жителя комнаты — попал в суть, словно в яблочко.

— Шутка ли, почти тридцать лет не быть на родине, — говорил он с волнением. — Тридцать лет! И теперь у меня здесь никого... Ах, какие тут молодцы, какой праздник устроили! Как гремели колокола! Помню с детства. Особенно этот, сиреневый — динь –длинь –динь...

— А вот за колокола надо бы взгреть кой-кого, — упёршись в стену затылком, смотрел Матвей на Николая Рындина с лёгкой улыбкой.

— Как это взгреть? — забеспокоился Владимир Петрович и посмотрел на Матвея внимательно, очень внимательно. — Всё, по –моему, к месту: открыли Бояна, ударили колокола.

— Религия — опиум для народа, — парировал бесстрастно Матвей.

— Э, батеньки –матеньки, позвольте с вами не согласиться, — пропел генерал и даже зажмурился от удовольствия. — Да, не согласиться... Вас, молодые люди, ещё и на свете не было, когда я ходил в комсомольцах. Диспуты, атеистические вечера. Колоколам языки отрезали, даже сбрасывали на землю... В колоколах, батеньки мои, действительно, если глянуть в историю,есть и герои... Колокола, как людей, ссылали в Сибирь...

— Пусть висят, пусть звонят, — сказал Миша задумчиво.

— Нет, зачем же так иронично? — живо обернулся в его сторону Владимир Петрович. Переводил взгляд с Миши на Матвея и обратно на Мишу, оценивал каждого. — Я вот о чём. С уничтожением церкви мы зацепили многое из культуры. Иконы, сами здания, колокола, а это — живопись, архитектура, музыка... Поезжайте в Азию или Европу — вас непременно поведут смотреть пагоду или костёл. А туризм, ба-

теньки мои, сейчас в моде... Есть и нам, конечно, что показать: Байкал, Кавказская ривьера. А им интересно посмотреть, что создано нами, нашим народом, и тут мы им новый аэропорт, новый квартал. Конечно, это интересно. Ну, а что у нас с вами за дух? С чем идём, так сказать, из веков? Вот что, батеньки мои, нам никак нельзя упускать. И для туристов, и для себя. А вы, говорите, колокола... Очень даже было сегодня волнующе. Я орган слушал в Домском соборе — хорошо. Но сегодня так прошибло: полотно скользит, открывается людям Боян, и гремит этот, коричневый: «Бум, бум!». А между ним голубые, сиреневые: «Динь –длинь –динь, тлинь – тинь –тлинь»...

Матвей слушал, соглашался, молчал. Все устали, и все соглашались.

Утром первым с постели схватился Миша Капустин, растолкал Дрынова. Набросили полотенца на шею, прошли на цыпочках к выходу. Пол в коридорчике был цементированный, скользкий, стены в полтора метра, не гостиница — крепость. Окатились ледяной водой до пояса — вмиг слетела дрёма, постепенно снималась тяжесть с темени и висков, очищалась мысль. Что ни говори, а распрекрасное это средство — ледяная вода.

— О чём думаешь? — повернулся Матвей к Мише Капустину.

— Что –то не нравится мне этот генерал, — клацая зубами, ответил Миша Капустин. — Для генерала какой –то неправильный.

— И кто он тебе? — растирал полотенцем тело Матвей.

— Журналист, наверно, — пожал Миша Капустин плечами. — По –моему, так.

Дверь выбросила их металлической пружиной на улицу. У парка они встретили Василия Несмирнова, как раз шёл к ним в гостиницу, теперь уже в форме.

— Ну что, микромайор, ещё звёздочку не поймал, не привесили? — задевал его Николай Рындин, всегда задирает, заноза.

— Последнюю, спасибо, не сняли, — сделал под козырёк Василий и усмехнулся: — Вот что выручило. — И Василий вытащил из кармана газету. — Местная. «Голос Бояна». Видите, сверху крупными буквами «И ударили в колокола».

— Ну что я говорил? — крутанулся на каблуках торжествующе Николай Рындин.

— Высокие гости, в общем, довольны, — сделал бантиком губки Василий и засмеялся. — А отцы города мне пальчиком: это твои, мол, орлы?

— Все довольны, чего ещё? — пожал плечами Матвей Дрынов и двинулся к площади, на которой был открыт теперь уже всем ветрам и взглядам Боян.

Утро разгоралось. Солнце золотилось на листьях, безмятежно голубело небо. Голуби клубились над колокольней, видно, справляли гнёзда. Боян сидел лицом к Деснице –реке, к лесным чащобам и поймам, и словно бы видел сквозь время то, что каждому здесь, у его подножья, далеко дано было видеть. «О Русская земля, — шевелились сухие губы Матвея. –Ты уже за холмом!»

13 октября 1996 года

Богоявленский храм. Эхо по виткам эпох

Богоявленский собор, расположенный на «Стрелке» у слияния Оки и Орлик,– первый храм в Орле, самый старинный, заложен вскоре после основания города в 1566 году. О чём свидетельствует камень у его стен, на котором высечена

эта знаменательная дата. Жива легенда о том, что тут когда-то рос высокий дуб, на нём свил гнездо себе царь птиц – орёл. Когда явились сюда стрельцы Ивана Грозного, чтобы основать крепость – защитницу южной кромы Московского государства, с дуба слетел могучий орёл. «Ну вот! – обрадовались стрельцы,. – Вот и быть тут крепости –городу под названием Орёл!»

К 450 – летию Орла

Опять Орёл мой – город приграничный
Вновь до границы, как рукой подать.
…Сам царь Иван к нам за печатью личной
Указом на крому направил рать

Мол, поищите место, чтобы крепость
Замкнула юг, Москву, её венцы.
И пядь земли, но очень много неба
Увидели тут царские стрельцы.

Гнездо орла на «Стрелке», на дубище…
С тех самых пор легенда и живёт,
Как где-то тут гнездились и гнездится
С Орлом Орлея, на слияньи вод.

Истокам, что в Оку века впадали,
Окрестностям из городов и сел
«Орлеи» летописцы имя дали.
И только крепость (царь сказал) – «Орёл»!

Враг под Москвой! И, жизни не жалея,
Встаём стеной мы насмерть за неё.
Трубят веками наш Орёл с Орлеей
Всё русское, орловское, моё!

В первопрестольной – в облике державы
Опять мой город сам себя обрёл.
Российский герб – он потому двуглавый,
Что со столицей, нашею орлицей,
В союзниках – и наш родной Орёл!

Гляжу, как солнце виснет чечевично
И дальше западает за крому.
Опять Орёл мой – город приграничный,
Проходит грань по сердцу моему.

Гнездо на «Стрелке». Вечер пламенится.
И клёкот орлий где-то за рекой.
А тут – Орёл, а там у нас – столица,
И много –много неба над Окой.

И много ветров прошелестело когда-то над храмом Богоявленским. Много раз корабли проплыли по Оке вверх и вниз, а по Торговым рядам близко тут прошли наши воины – освободители, и с тех пор купола богоявленские не раз освещали всполохи первого салюта. А он всё стоит, этот храм в Орле, пройдя сквозь все испытания. Даже колокола сбрасывали с него, даже театр кукольный тут побывал, в его стенах. А он всё стоит, златоглавый, непоколебимый, оправдывая существованье векового Орла – города –крепости, города воинской славы.

Храм существует, храм живет, храм служит людям, народу нашему православному, самому православию, духу нашему, нашей культуре. Помню, зашёл сюда, а тут идёт служба – Божественная литургия в память о писателе земли русской Иване Алексеевиче Бунине. Точно помню, было это 8 ноября, в День святого Дмитрия Солунского.

– Великому сыну Отечества многая, многая, многая лета, – гремело под церковными сводами.

Вот и ныне, этой весной, как всегда, идёт служба в Богоявленском соборе, стекаются сюда прихожане.

«3 марта 2014 года. Начался Великий пост. Прошла первая служба Великого поста, первый день говенья. И звучала молитва Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего…»

5 марта. Во второй вторник седмицы Великого поста владыка Антоний совершил Великое повечерие с чтением покаяния, канона преподобного Андрея Критского.

5 марта. На Великом повечерии в третий раз читали канон святого Андрея Критского. В чтении приняли участие священнослужители храма при большом стечении молящихся.

9 марта в Неделю Торжества православия прошла Божественная литургия, на которой звучал тропарь «Пречистому образу твоему поклоняемся…»

15 марта чтили Божию Матерь в Державном Её образе и звучал тропарь «Ангелов лицы благоговейно тебе служат…»

16 марта, в День памяти святителя Григория Памака Высокопреосвященнейший архиепископ Орловской и Ливенской епархии Антоний совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе города Орла».

Знают это место орловцы – верующие и любящие хоровое пение, люди преклонных лет и молодые, да и гости

города не пройдут мимо. Вот и я постоял, постоял на подвесном мосту через Орлик, посмотрел на белых лебедей, на уток в кипящих сонмах воды да и пошёл далее, сюда – в эти открытые каждому двери собора. А перед самым входом слегка задержался. «Где же это колокола, что были слева у самой решётки, куда они подевались?» – думаю. А они уже на колокольне, воссоздаваемой над Богоявленским. Осенил себе грудь крестом, вхожу, а тут идёт служба. Священник стоит лицом к алтарю, верующие тоже лицом туда – к Иисусу. Стою и слушаю, вслушиваюсь в слова на фоне божественного распева.

Священник обернулся, перекрестил народ и что –то сказал и меня, конечно, заметил, но не подал виду, а опять к алтарю лицом повернулся, ведёт службу, как и положено, по канону. Ну, и я стою, как и все. В нужных местах накладываю на себя крест, даже кланяюсь слегка, а сам думаю, как бы это мне с батюшкой –то поговорить, порасспросить его об общем нашем и о своём.

Подходит ко мне человек в чёрной длиннополой одежде. Алтарник Владимир. Это тот, кто помогает батюшке во всяких делах при алтаре.

– Хочу,– говорю ему,– со священником поговорить.

– Это отец Сергий службу ведет,– говорит он. – Минут через пятнадцать служба закончится, сможете подойти.

В самом деле, через четверть часа служба заканчивается, и я предстал пред очами отца Сергия. Но люди идут и идут к нему со своими нуждами, и он не оставляет каждого без внимания. Отвечает им справа и слева, улыбается мне, стоящему прямо перед ним. Я жду терпеливо. Уходит лобзавшая руку старушка.

– Подождите пять минут,– говорит мне священник. – Пойду… переоденусь…

Минут через пять он появился в другом – блестящем чёрном длиннополом одеянии с золочёным крестом на груди.

– Отец Сергий,– знакомясь, говорит он мне, слегка подавшись вперёд.

– А в миру?

– Тоже Сергей, Сергей Викторович Гаврюшин.

– Отец Сергий? – улыбаюсь я. – Как у Льва Толстого, повесть есть такая «Отец Сергий».

– Только я,– посерьёзнев, смотрит священник на меня,– в отличие от толстовского типа к членовредительству не склонен…

– Ну что ж,– говорю я. – Может, помещеньице какое – либо найдётся? Чтобы присесть, кое –что записать.

Находится помещеньице. Сидим и беседуем. О жизни, о службе, о себе. Так сказать, о доблести, о подвигах, о славе. Мне интересно, как же всё –таки Сергей Викторович попал в отцы Сергии? Молодой такой, розовощёкий, на лице ни единой морщинки. А мне, уже в преклонных годах, надо, по положению, называть его отцом Сергием. Как же всё – таки попадают в наше время в священники? Однако захожу издалека: кто родители, что закончил, где учился?

– Семья наша офицерская. Вернее, офицером был дед мой Анатолий Петрович, а отец – монтер связи, мама – историк по образованию, работала в школе. Сам я тоже историк, закончил Орловский госуниверситет, специальность: история и религия.

– Знаете такого ученого –историка в университете– Минакова Сергея Тимофеевича?

– Конечно, это наш декан.

– А жена?

– И жена есть у меня… Людмила… пела на клиросе, в церкви. И дети есть. Четверо: два сына – Иван и Филипп, и две дочери: Эмилия и Софья.

– Кто Вас крестил, интересно? – спрашиваю я.

– Отец Мефодий – священник Крестительской церкви.

– Многие его почему –то знают. И в Православной гимназии.

– Учителем был он, потом закончил, что ли, духовную Академию.

В дверь заходит алтарник Владимир. Говорит, что отца Сергия зовёт по важному делу одна супружеская пара. Извинившись, отец Сергий выходит. Появляется минут через десять.

– Ну так как вы попали в священники? – продолжаю я прерванный разговор. – После университета учились ещё где-то на священнослужителя?

– Бабушка меня сподвигла,– отвечает Сергей Викторович. – А мама её поддержала. Учился я в Белгороде.

– В Орле тоже была семинария,– говорю я. – Там, где теперь железнодорожный техникум.

– Да, теперь в Орле семинарии нет,– отвечает Сергей Николаевич. – Только местность вокруг Семинаркой называется. Знаю маленько город, в Орле ведь родился…

Сидим, разговариваем о том да о сём. Больше о храме Богоявленском, кто тут главный, настоятель кто, оказывается, протоиерей Александр. Священников тут четверо, дьяконов– двое.

– Протоиерей – что за духовное звание? – интересуюсь я. – А у Вас какое, Сергей Николаевич?

– У меня –то? – отвечает он. – Я тоже протоиерей. Пятый год служу в храме. А начинал с иерея, потом стал протоиереем.

– А кто у нас на Орловщине духовным званием старший?

– Кто же – архиерей,– отвечает Сергей Николаевич. – Он у нас один на всю область. Владыко наш, преосвящейннейший архиепископ Орловской и Ливенской епархии Антоний…

Сидим и беседуем, как уже совсем близкие люди. И крестились, оказывается, мы у одного священника – отца Мефодия, и историки мы оба по образованию, плюс у меня ещё литература и русский язык. А в окно заглядывает солнышко и высветляет комнатку, напротив – «Троицу» Андрея Рублёва. В приоткрытую дверь видать, как в храм идут и выходят из храма люди; кто крестится загодя ещё перед порогом, а кто уже тут, ступив за порог. Мужчины, сдернув шапку, аккуратно ступают вперёд, проходят далее внутрь храма к Иисусу Христу.

Встаю, прощаясь, смотрю отцу Сергию прямо в глаза. Кланяюсь ему, говорю, искренне радуясь знакомству, тому, что побывал тут, в Богоявленском, прикоснувшись душой к духовному, вечному.

– Желаю успехов Вам, Сергей Викторович, на Вашем поприще. А успехи, знаю, будут у Вас. Вы такой молодой, большой, красивый. Вас, наверно, любят люди.

– А Вы, как у Вас?

– Люблю людей… Искренне желаю Вам счастливого пути, Бог в помощь.

Выхожу из храма и, едва сдерживая дыхание, шепчу, напевая про себя невероятно глубокое, затаённое где-то внутри самого себя:

Три сестры

Путник ты, и я всегда с тобой.
Ты устал от тягот и дорог.
Если вдаль ведёт тебя любовь,
Значит, ты, мой друг, не одинок.

Путник ты, и я всегда с тобой.
Ты устал от всех своих тревог.
Если Верой держится Любовь,
Значит, ты, мой друг не одинок.

Путник ты, и я всегда с тобой.
Ты устал в пути и занемог.
Но живёт Надеждою Любовь,
Значит, ты, мой друг, не одинок.

Путник ты, и я всегда с тобой.
Ты устал от тягот и дорог.
Три сестры сжимают посох твой,
Значит, ты, мой друг, не одинок.

15 февраля 2014 года

ФОТООКНО



Леонард Золотарёв в Орле.



Мы с Героем Советского Союза Б. И. Ковзаном.



Так встречали нас на земле колпнянской, в Ярище, в сентябре 1965 года. Слева направо: автор очерка Леонард Золотарёв, герой-лётчик Борис Иванович Ковзан, следующая - героини очерка Анна Евсеевна Клочкова и её дочь Нина Ивановна Терещенко - крайняя справа, между ними райвоенком Трембач и директор совхоза Давыдов, в прошлом тоже лётчик.



А это мы тогда же в Орле, у редакции «Орловского комсомольца». В переднем ряду (слева направо) Иван Рыжов, Коля Калганов, герой-лётчик Борис Иванович Ковзан в окружении милых дам: Люси Бородиной - Измайловой и Светланы Поляковой. Тут же во втором ряду автор очерка Леонард Золотарёв и крайние справа - сын тоже лётчика,друга Ковзана - Валера Шапочка и Слава Дерюгин.



Апрель 1969 года, в г. Ульяновске, на берегу Волги. Журналисты, приехавшие сюда поездом «Орловский пропагандист». В верхнем ряду (слева направо): третий - Николай Фролов, Александр Макушев, Леонард Золотарёв.



Орловские писатели на Фетовском празднике поэзии в Орле, у входа в Парк культуры и отдыха. Первого июня 1991 года. В верхнем ряду (слева) Леонард Золотарёв, внизу Леонид Моисеев, в том же ряду крайний справа Виктор Дронников.



А это тогда же мы на Фетовском празднике, на родине поэта во мценских Новосёлках. У микрофона - Леонард Золотарёв, за столом президиума второй слева орловский поэт Василий Катанов, Николай Андреевич Володин - тогда глава района и Николай Павлович Юдин - тогда мэр Мценска, писатель - орловец Иван Подсвиров, московский поэт Владимир Соколов и др.



«Орловский комсомолец» на отдыхе. Ночь в окрестностях толстовской Ясной Поляны. Крайний справа наш редактор Геннадий Харитонов, второй слева - художник Слава Пуршев, четвёртый слева - Иван Закаблук, а я в белом свитере, за гармонистом.



“Орловский комсомолец”. Наш боевой отдел комсомольской жизни: слева направо я - очеркист Леонард Золотарёв, репортёр Вася Савкин и зав. отделом Иван Закаблук.



«Орловский комсомолец» слева опять-таки я. Вот как надулся, важный, да? А это наша Люся Бородина, смотрит на меня: «Да ты что?» А Валерий Тальвик на всё это глядит свысока, с лёгкой иронией.



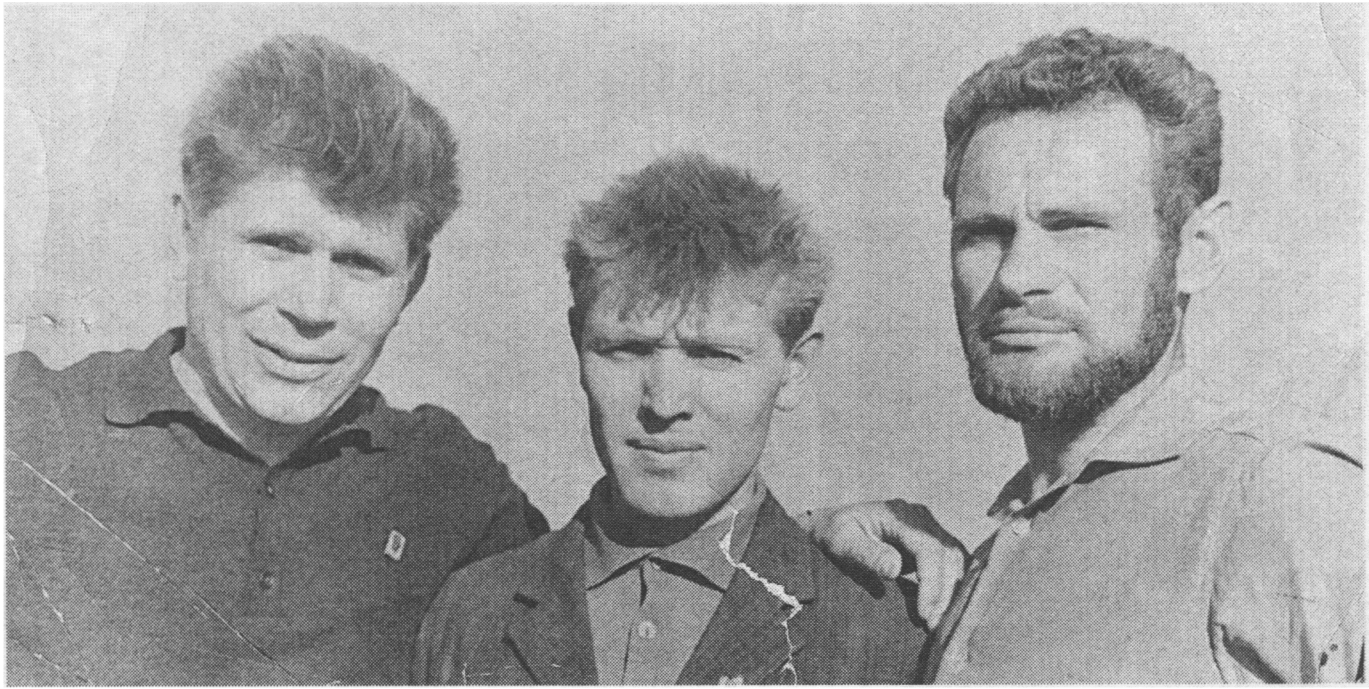
Дело к зиме. Потеплее оделись. «Орловский комсомолец» слева направо: Толик Фокин, Леонард Золотарёв, Виктор Дронников, Юра Трошин - в шапке пирожком.



Зимой, под Новый год. Приехали мы в карачевское Желтоводье за ёлками для коллектива редакции. Мы с желтоводским лесником в брянском лесу.



Уже летом. Мы с моим другом - московским скульптором Валентином Чухаркиным на корсаковской земле - родине молодогвардейца Сергея Тюленина. Первая работа молодого художника и я тут как тут со своим очерком о нём.



«Три танкиста, три весёлых друга - экипаж машины боевой». Слева направо: Леонард Золотарёв, Серёжа Пискунов, Валя Чухаркин во время нашей поездки в пушкинское Михайловское, по Прибалтике. Валентин на автомобиле – за рулём, Серёжа - штурман, а я, как всегда, - очеркист.



С товарищами - в селе Ильинском, что у тургеневского Льгова. Приехали, а там как раз перезахоранивают останки молодого солдата - рядового Василия Елисеева из тульской Узловой. Присели мы на брёвнышко. Кому слово сказать на митинге после воинского салюта? Лёва Котюков (слева) и Витя Дронников (в центре) так решили: - Иди, Михалыч, скажи.



В Малоархангельске у меня дома, у моей матери Марии Герасимовны. Слева направо (в первом ряду): прозаик Иван Подсвиров, мой учитель- скульптор в Малоархангельске Иван Алексеевич Семеновский, поэты Вася Катанов и Толик Шиляев, в верхнем ряду: мы с Женей Зибровым и поэт Витя Дронников. Единственно который, когда был в хорошем настроении, звал меня, как брата, Алёшей.



И снова в Орле, в Парке культуры и отдыха. На Фетовском празднике поэзии. «Как молоды мы были». А сзади сын мой Игорь с женой моей Люсей; они слушали меня вместе с поэтами.



Задумали мы в Малоархангельске провести встречу выпускников - бывших десятиклассников. Как у Дюма, двадцать лет спустя. И осуществили. Вот это: мы с первым моим школьным другом Володей Ефремовым (слева), а между нами Варя Сизова.



В старой школе Малоархангельска, в классе своём бывшем десятом. Слева под книгами наш классный руководитель Николай Борисович Николаев, у шкафа - говорю что-то; на переднем плане - Шурик Денисов, слева от него (не очень выразительно вышло) - Резниченко Лёша. Бойцы вспоминают минувшие дни.



А это уже другой эпизод в Малоархангельске. В поход собрались писатели на редакционной машине куда-нибудь на село. Вот и стою я в Губкино рядом с шофёром «Звёзды», а по краям у нас слева - поэт Виктор Рассохин, а справа - литературный критик, а втайне тоже поэт Саша Логвинов.



На зернотоку тут же в Губкино, где я когда-то работал в школе учителем. Учил детей у этих людей наскоро собравшихся нас послушать. Читаю из своей книжки про них, про Русское поле, про хлеб.



Как только приняли меня в Союз писателей, так журнал «Молодая гвардия» и послал меня на БАМ (1974г.): посмотри, мол, Россию, что ты всё в области своей крутишься? И вот мы на Нижней Ангаре, везём на барже в Тоннельный отряд №10 бамовские вагончики. И я с бамовцами.



Наконец после речки мы на твёрдую землю ступили. Село Кумора называется. Озеро, а справа вулкан. Тепло, наслаждаемся жизнью.



Песню такую услышал я тут: кто не видел Байкала, Чукотки и горного Алтая, тот ничего не видел. На другой год я отправился на Алтай. И вот я в шукшинских Сростках, они по дороге к Горноалтайску. Год после ухода Василия Шукшина. Встретился с его матерью Марией Сергеевной. Она подарила мне фотографии. На этой - Василий Макарович разжигает костёр на горе Пикет, откуда видать с высоты реку Катунь, за ней горный Алтай.



Вот он Василий Макарович Шукшин. Уже известный писатель, артист, кинорежиссёр, дома тут, в своих Сростках, у своей матери.



А это она - его мать, Мария Сергеевна. Как и моя мать, тоже Мария, Мария Герасимовна.



А это они, Шукшины, вместе.



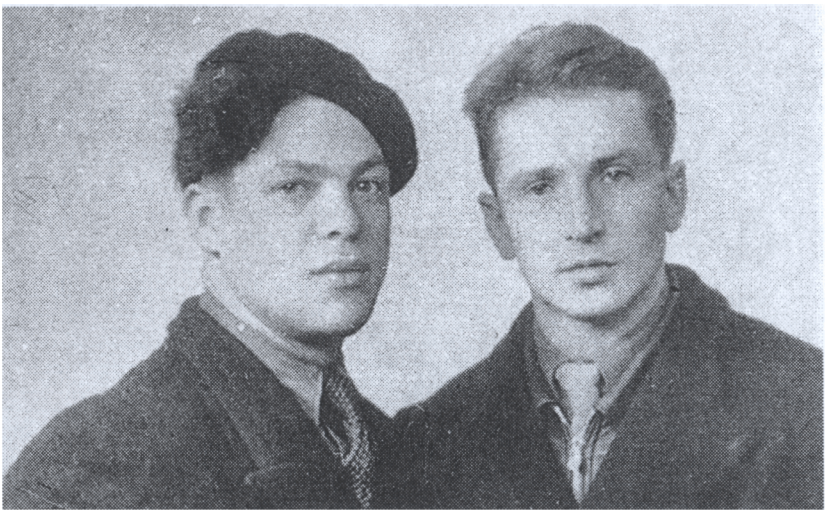
Это Василий Макарович с женой - Лидией Федосеевой-Шукшиной. Во время съёмок кинофильма «Калина красная».



Уникальное фото: Васе Шукшину восемнадцать. Снимок сделан на острове Поповский, через протоку от Сросток.



А это фото у меня на письменном столе под стеклом. Вдохновляет. Вот так люди преодолевают препятствия. Шукшин переплывает быстротекущую ледяную Катунь. Вода голубая, соединяясь с жёлтой Бией, обе создают великую сибирскую Обь. Вот какие есть у нас мужики!



Глубока, широка, война и мир - это наша Россия. На этом фото, двое русских – герои Французского сопротивления. Слева- Валерий Фёдорович Соломатин, командир отряда имени Парижской Коммуны. Из Орла. И из Волгограда - его друг Алёша, воевавший во Франции где-то южнее, но тоже в Альпах. Снимок сделан в газете французского Сопротивления.



Плывет стая лебединая...



О современных французах у нас тут, на Руси. К нам в Синяевский посёлок, что за Мценском, приехали друзья из Франции, среди них Моник Пойяр, из бунинского Грасса. Праздник устроили мы на посёлке. Агроном Виктор Викторович Кузьминов режет на баяне, а мы с Моник поём русские песни.



В нашем поселке Синяевском, на Жановой горке, где за столом сижевали когда-то Лев Толстой с ученым -пчеловодом Абрикосовым



А это первый памятник Пушкину на Орловщине - в Малоархангельске. Памятник сделал учитель И.С.Семеновский, а я идею подал и сюжет: «Здравствуй, племя младое, незнакомое.»



В Малоархангельске есть всё. Это «Алиса» из страны чудес Евлампиева Вячеслава Васильевича, где всё продаётся и покупается, в том числе и хлеб.



В тот день приехал из Белгорода в Малоархангельск мой друг детства - полковник в отставке Николай Кузьмич Мозжухин, зашёл ко мне. Тут и снялись мы у нас во дворе: я, Игорь - сын мой и Николай Мозжухин. Мы тут в городе самого Первого салюта, который стихийно грянул в честь павших героев в июле 1943 года в Малоархангельске.



И тут мы решили это дело отметить, У нас под яблоней. Опять трое, но без меня, зато с женой моей Людмилой Серафимовной.



Справа от нас вид в нашем саду.



И возвращаемся снова в Орёл. У Дома литераторов, на Дворянском гнезде. Слева направо: писатели Алексей Перелыгин, Михаил Турбин, Леонард Золотарёв, Василий Катанов, земляк мой - профессор ОГУ Алексей Архипович Калекин.



Игорь Золотарёв с группой писателей выступает в школе-гимназии №1 г.Малоархангельска.



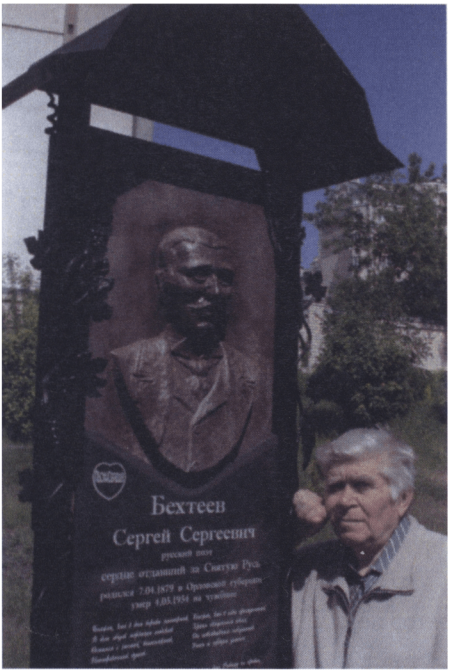
А это, когда проходил в Орле съезд Союза писателей России. Четверо нас тут: Золотарёв Леонард, Рогов Валерий, Загородный Анатолий, Дронников Виктор в ресторане гостиницы «Салют». Иные тут, иные уж далече.



У Дома литераторов в Орле, на ул. Салтыкова-Щедрина. Слева направо: Алла Валентиновна Панченко и мы с Людмилой Серафимовной. Все мы ходим под Фетом.



А тут в Орле под Тургеневым. Слева направо: друг мой - доктор филологических наук, профессор Олег Николаевич Осмоловский и мы с Игорем- сыном моим, тоже учёным из университета, литературным критиком (2003г.).



В монастыре. По дороге к православной школе. Май 2014 г.



А это мы с Курляндской Галиной Борисовной идём под ручку ко мне на юбилей в Доме литераторов.



Пришли мы в дом отдыха «Дубраву» проведать профессора Курляндскую Галину Борисовну. Четверо уселись - Игорь, Людмила Серафимовна, француженка Алина Фифиль, тоже доктор наук и тоже тургеневед. А мне места не хватило. Меня на скамейке тут нет.



В Москве, у Кремля, у Боровицких ворот. К Дню Победы (29 апреля 2004г.), когда нас, орловских журналистов, пригласили на праздник. Мне даже знак в честь 300-летия Российской печати дали. Вот мы впятером и стоим: трое когда-то из «Орловского комсомольца» (я слева, рядом Света Мезенцева и Люся Измайлова-Бородина - та, что держит что-то в руках), между ними Зоя Федотовна Тарабрина и Виктор Михайлович Лебёдкин, работавший работающий тогда в орловской газете «Просторы России».



А это мы все втроём, Золотарёвы, под Медным всадником в Санкт-Петербурге. Орле. Ермолов на коне.



А эта роза в Малоархангельске у нас, в моём гефсиманском саду. Нет какова! Как благоухает, распустясь. Каков вокруг тонкий розовый аромат.

«Ой, роза, ты, роза моя!
Ой, ты, роза белорозовая».

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия **3**
Часть первая **7**
Орловская лавра.Школа при монастыре 7
Земля моя добрая 14
Берестяные песни 17
«Как молоды мы были.» 27
Праздник в Синяевском 34
В роще Платона 39
Демьяныч 43
Нюра– это по –нашенски, по –деревенски 51
Книга — это наше всё 57
У толстовского родника 63
Утро туманное 73
Фетовские соловьи 82
Пушкин в Малоархангельске 91
Седые хлеба 96
Ода русскому хлебу 105
«Алиса» в стране чудес 108
Фауст 113
На Тихой Сосне 120
«Ave maria» 133
Сольвейг 138
Жвущая в камне 146
Пробуждение девонской глины 148
Глинописец 153
Ливенка 163
Часть вторая **173**
Казаки. Дети Солнца. 173
Талант Рокоссовского 182
Мэр нашего города 191
Здравствуй, земля колпнянская! 198
Русские люди 205

Русский «маки» 215
«Сидор» 225
Утёс 236
На Сонькином кордоне 242
Леонтьевские посадки 251
Третья высота 259
Учитель из Льгова 264
Зубры Полесья 269
Лебёдушки 276
В селе Ильинском 282
Нас было трое 285
Тагино 296
Пятый океан 302
На вершине Байкала 312
В шукшинских местах 319
Мой друг Саша Логвинов 328
В парке старинном 338
Липа вековая 345
И ударили в колокола 355
Богоявленский храм. Эхо по векам эпох 367
Фотоокно 376

Для заметок

Для заметок

Леонард Золотарёв

ОРЛОВСКАЯ ЛАВРА

Очерки и рассказы

Подписано в печать 5.06.14. Формат 60Х84 1/16
Печать ризография. Бумага офсетная.
Гарнитура Times. Тираж 300 экз.
Объем 25,5 усл. печ. л. Заказ №133

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО ПФ «Картуш»
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46
E-mail: kartush@orel.ru www.kartush-orel.ru



На Фетовском празднике
в Клеймёново.
Май 2014 года.